АЛЕКСАНДР БЕНУА

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКА

ВОСПОМИНАНИЯ

Том II



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк • 1955

LIFE OF A PAINTER

RECOLLECTIONS

by

Alexander Benois

Vol. II

Printed in U.S.A.

Глава 1

ПЕРВЫЕ ЗРЕЛИЩА

О театрах и иных зрелищах я до пяти лет имел очень смутное понятие, только понаслышке, но этой «наслышки» было у нас в доме достаточно. Разные члены нашей семьи любили, однако, разное. Одни были сторонниками итальянской оперы, другие — французского театра, третьи — цирка и даже оперетки. Менее всего пользовался милостью русский театр. Правда, папочка, когда-то, был большим почитателем Каратыгина и Щепкина, он с восторгом говорил о «Ревизоре» (в Риме он знавал Гоголя) и иногда не без известного умиления рассказывал о своих театральных впечатлениях, но всё это было далекое прошлое, а сам он в мое время в театр ходил редко и то только тогда, когда его «потащат». Любил он чрезвычайно и «Руслана» и «Жизнь за царя», а мелодии из «Аскольдовой могилы» он напевал постоянно, или подбирал их довольно искусно на рояле. Но среди родной молодежи у него не было товарищей по вкусам. Альбер, тот обожал только одного «Фауста» Гуно, а ко всему остальному, несмотря на свою исключительную музыкальность, относился индиферентно, хотя сам мог сочинять блестящие «фантазии» в духе и Листа, и Бетховена, и Шопена. Леонтий (он же Лулу), был страстным завсегдатаем итальянской оперы. У нас была абонементная ложа в Большом театре и он не пропускал ни одного «нашего» вечера, до одури упиваясь пением своих любимцев. Сестры разделяли, но с меньшим увлечением, его вкусы. Среди старшего поколения

«Бабушка Кавос» была опять-таки ярой итальяноманкой, и более сдержанными, но всё же верными почитателями итальянской оперы, были дядя Костя и дядя Сезар. Напротив, дядя Миша Кавос, имевший обо всем свое особое мнение, решался иногда превозносить Серова и ходил на премьеры в «Александринку», похваливая того или другого из русских актеров. Абсолютной и рьяной сторонницей русского театра были лишь тетя Лиза Раевская, да еще мамина горничная Ольга Ивановна Ходенева. Последняя, как я уже рассказывал, бегала по крайней мере раз в неделю в соседний Мариинский театр (где тогда давались русские спектакли) или в дальний Александринский, и от нее я получал подробнейшие отчеты, причем в своих рассказах, она то заливалась до слез от смеха, то становилась мрачной и торжественной.

Нельзя сказать, что моя карьера театрала началась с чего-либо очень эффектного и достойного. Моим первым спектаклем был... собачий театр и увидел то я его не в цирке, а в самой обыкновенной квартире, где-то на Адмиралтейской площади, снятой для того заезжим собачим антрепренером. Мне было не более четырех лет и маме пришлось поэтому меня во время всего спектакля держать в стоячем положении на своих коленях — иначе я бы ничего не увидал через головы сидевших перед нами. Всего я не помню, но четко врезался в память чудесный громадный черный и необычайно умный ньюфаундленд, который лаял нужное количество раз, когда кто-либо из публики вынимал из колоды ту или иную карту. Он же исполнил с хозяином в четыре руки (две руки и две лапы) известный «собачий вальс» на рояле. С тех пор и я выучился играть эту нехитрую пьеску.

Впрочем, пожалуй, я совершаю неточность, называя этот собачий спектакль своим первым. На самом деле первыми представлениями, которыми я забавлялся, были спектакли Петрушки. Но вот тут невозможно уста-

новить, когда я увидал *самый* первый из них, столько их было уже в самом раннем детстве и в столь разных местах я был ими осчастливлен. Помню во всяком случае Петрушку на даче, когда мы еще жили в Кавалерских домах. Уже издали слышится пронзительный визг, хохот и какие-то слова — всё это произносимое Петрушечником через специальную машинку, которую он клал себе за щеку (тот же звук удается воспроизвести, если зажать себе пальцем обе ноздри). Получив разрешение родителей, братья зазывают Петрушку к нам во двор. Быстро расставляются ситцевые пестрые ширмы, «музыкант» кладет свою шарманку на складные козлы, гнусавые, жалобные звуки, производимые ею, настраивают на особый лад и разжигают любопытство. И вот появляется над ширмами крошечный и очень уродливый человечек. У него огромный нос, а на голове остроконечная шапка с красным верхом. Он необычайно подвижной и юркий, ручки у него крохотные, но он ими очень выразительно жестикулирует, свои же тоненькие ножки он ловко перекинул через борт ширмы. Сразу же Петрушка задирает шарманщика глупыми и дерзкими вопросами, на которые тот отвечает с полным равнодушием и даже унынием. Это пролог, а за прологом развертывается сама драма. Петрушка ухаживает за ужасно уродливой Акулиной Петровной, он делает ей предложение, она соглашается и оба совершают род свадебной прогулки, крепко взявшись под ручку. Но является соперник — это бравый усатый городовой, и Акулина видимо дает ему предпочтение. Петрушка в ярости бьет блюстителя порядка, за что попадает в солдаты. Но солдатское учение и дисциплина не даются ему, он продолжает бесчинствовать и, о ужас, убивает своего унтера. Тут является неожиданная интермедия. Ни с того, ни с сего выныривают два, в яркие костюмы разодетых, черномазых арапа. У каждого в руках по палке, которую они ловко подбрасывают вверх, перекидывают друг другу и, наконец, звонко ею же колошматят друг друга по деревянным башкам. Интермедия кончилась. Снова на ширме Петрушка. Он стал еще вертлявее, еще подвижнее, он вступает в дерзкие препира-

тельства с шарманщиком, визжит, хихикает, но сразу наступает роковая развязка. Внезапно рядом с Петрушкой появляется собранная в мохнатый комочек фигурка. Петрушка ею крайне заинтересовывается. Гнусаво он спрашивает музыканта, что это такое, музыкант отвечает: «это барашек». Петрушка в восторге, гладит «ученого, моченого» барашка и садится на него верхом. «Барашек» покорно делает со своим седоком два, три тура по борту ширмы, но затем неожиданно сбрасывает его, выпрямляется и, о ужас, это вовсе не барашек, а сам чорт. Рогатый, весь обросший черными волосами, с крючковатым носом и длинным красным языком, торчащим из зубастой пасти. Чорт бодает Петрушку и безжалостно треплет его, так что ручки и ножки болтаются во все стороны, а затем тащит его в преисподнюю. Еще раза три жалкое тело Петрушки взлетает из каких-то недр высоко, высоко, а затем слышится только его предсмертный вопль и наступает «жуткая» тишина... Шарманщик играет веселый галоп и представление окончено.

Вспоминается еще, как в весеннюю пору и тогда, когда ясная теплынь уже позволяла выставлять двойные зимние рамы и открывать окна, мы смотрели на представление Петрушки, происходившее у нас во дворе. В этих случаях спектакль получал более демократический характер. Мы сидели, как в ложе, на подоконнике, внизу же сбегались к Петрушке дворники, приказчики лавок, а все окна унизывались головами горничных и кухарок. Вероятно, и текст был здесь приноровлен для более низменных вкусов. Иногда обступавшая ширму толпа покатывалась от хохота специфического характера, того хохота, который вызывают «свинства», и в таких случаях братья мои заговорщически переглядывались, а мама — тревожилась, не услыхал бы «de ces choses indécentes» Шуренька. Но Шуренька, если бы и услыхал, то ничего бы не понял, а к тому же «текст» вообще интересовал его мало, а трепетал он исключительно от всех действий и от визга Петрушки.

Рядом с демократическим обликом Петрушки выступает в памяти и аристократический его облик. Пет-

рушка в те годы был обязательным номером на елках и на детских балах. Последние я вообще ненавидел и поднимал скандал, если меня на одно из таких сборищ тащили, но стоило мне обещать, что там будет «Петрушка», как я безропотно отдавался в руки мамы или няньки, позволял себя одевать в новый костюмчик и проделывать сложные операции с моей шевелюрой, а по приезде на место назначения терпеливо давал себя тискать и целовать незнакомым людям, — всё для того только, чтобы насладиться Петрушкой. Зато, как только Петрушка кончался, я требовал, чтобы меня везли домой. Бывало так, что меня за те же тридевять земель отправляли домой под присмотром няньки, тогда как остальные члены семьи оставались в гостях.

Такие светские «Петрушкины» спектакли бывали у дяди Сезара, у С. И. Зарудного, у Оливов, у Жербиных, у родителей Алечки Лепенау. Видал я такие представления десятки раз, но это нисколько не притупляло моего интереса. В элегантных барских квартирах спектакль Петрушки устраивался обыкновенно в дверях гостиной, почти всегда увешанных пышными драпировками и это придавало представлению несравнено более парадный и театральный характер. Да и приглашался для этого спектакля не простой, грязный петрушечник с улицы, а «салонный», чуть ли не во фрак одетый. Ширмы у него были шелковые с бархатным бортиком и золотой бахромой, а шарманщик был гладко выбрит и чисто одет. Инструмент у него был новый с более мягким, менее визгливым звуком и без тех досадных заиканий, которые получались вследствие изношенности валика. Самые куклы были одеты в атлас и в блестящую мишуру. Особенно эффектны были арапы, не облезлые и разбитые, а свеже покрашенные, черные-пречерные. На голове у них торчал пучок страусовых перьев, палка же перевита серебряным позументом. До слез смеялась аудитория на этих спектаклях, веселым задором сияли лица прелестных девочек в розовых открытых платьицах с цветными бантами в распущенных волосах!

В таком театральном доме, как наш, не могло обойтись без домашних спектаклей. Однако, в раннем детстве меня не так интересовало то, что делали большие «для себя», разучив какую-либо пьесу или в виде тут же импровизированных шарад, а получал я огромное удовольствие от всяких кукольных театриков, в которых особенно прелестны были декорации и пестрые костюмы на действующих лицах. Еще доживал свой век тот, сильно усовершенствованный Ишей детский театр, который служил моим братьям, но затем лет шести я получил в подарок и свой собственный, а с течением времени у меня их накопилось несколько. Родственники, зная мою страстишку, один за другим подносили всё новые и новые коробки, в которых были уложены и портал и занавески и целые постановки и труппа вырезанных из бумаги актеров.

Сейчас мода на детские театрики совсем прошла и и лишь у коллекционеров старины можно еще найти разрозненные части этих игрушек доброго старого времени. Но та эпоха, о которой я сейчас рассказываю, переживала настоящий расцвет детских театриков, и в любом магазине игрушек можно было найти их сколько угодно самого разнообразного характера. Персонажи бывали то снабжены небольшими, приклеенными к их ногам, брусочками, придававшими нужную устойчивость (но и неподвижность), то они болтались на проволоках, посредством которых можно было их водить по сцене. В коробке с пьесой «Конек-Горбунок» к таким летучим действующим лицам принадлежали сказочная Кобылица и ее конек, тот же конек с сидящим на нем Иваном-дурачком, Чудо-Юдо-Рыба-Кит, ерш и другие морские жители. Были и такие театрики, которые надлежало изготовлять самому. Покупались все нужные элементы от занавеса до последнего статиста, напечатанные на листах бумаги и раскрашенные; их наклеивали на картон и аккуратно вырезали. За три-четыре рубля можно было купить целый толстый пакет, листов в сорок, немецкой фабрикации, и в этом пакете оказывалось всё нужное и для Вильгельма Телля и для Дон Жуана и для Орлеанской девы и для Фауста, и для Африканки,

и для Ночного сторожа и даже для популярной когда-то пьесы «Die Hosen des Herrn von Bredow». Стиль этих декораций и костюмов был курьезный, «самый оперный», «трубадуристый». Но разве можно было тогда мыслить представление без таких нарочито театральных костюмов, потешность которых я осознал лишь гораздо позже, когда вообще познакомился с историей костюма?

Кроме плоских бумажных куколок, у меня были и марионетки (тоже на проволоках), которые мне привозила бабушка Кавос из Венеции. Это были «совсем как настоящие» человечки-кавалеры в фетровых шляпах и в кафтанах с золотой мишурой, жандарм в треуголке с саблей в руке, Арлекин со своей batte, Полишинель с крошечным фонариком, Коломбина с веером. И все они имели маленькие деревянные или оловянные ладошки и сапожки, которые легко болтались при всяком движении. Иные из этих «венецианцев» прожили у меня десятки лет, а некоторые даже послужили моим детям.

Особо следует выделить «Дойниковские театры», названные так потому, что они изготовлялись специально для игрушечных магазинов фирмы Дойникова. Такой театр представлял собой целое сооружение и занимал довольно много места. Стоил же он вовсе не дорого — всего рублей десять, а скорее и меньше. Был он деревянный, передок был украшен цветистым порталом с золотыми орнаментами и аллегорическими фигурами, сцена была глубокая, в несколько планов, а над сценой возвышалось помещение, куда «уходили» и откуда спускались декорации. Остроумная система позволяла в один миг произвести «чистую перемену» — стоило только дернуть за прилаженную сбоку веревочку. Всё это было сделано добротно прочно и при бережном отношении могло служить годами. Дефектом Дойниковских театров было то, что актеров приходилось водить из-за кулис — на длинных горизонтальных палочках, к которым каждое действующее лицо было приклеено, и это было не очень удобно. Впрочем, стражи, драбанты, группы народа или придворных ставились на всё данное действие и уже фантазии зрителя предоставлялось оживлять эти неподвижные фигурки.

Славились Дойниковские китайские тени. В них служили те же декорации (петербургская улица с каланчой, кондитерская, и красная гостиная), как в театриках, но только здесь декорации были сделаны в виде прозрачных транспарантов, а частых перемен нельзя было делать. Фигурки были частью русского, частью иностранного происхождения. Рядом с французским гренадером или немецким пивоваром действовали и русский городовой, и наши родные мужички-разносчики.

Все эти типы театриков (самый красивый такой театрик я выклянчил себе со скандалом на ёлке у Лепенау) были в моем распоряжении, и когда портился один, то мне дарили новый. Однако около 1878 года папа заказал столяру Адамсону, жившему у нас во флигеле и дававшему мне одно время уроки столярного мастерства, сделать специально для меня сцену, имевшую вид тех «дежурных макеток», которыми пользуются все профессиональные декораторы. Этот «почти настоящий» театр постепенно вытеснил другие — тем более, что папа сам, для начала, снабдил его прекрасными декорациями, из которых мне запомнилась роскошная комната с «настоящими» тюлевыми занавесками, и море, дававшее полную иллюзию дали и шири. В добавление к ним я сам стал сочинять и малевать декорации. С этого и началась — моя личная карьера «театрального деятеля».

К самым сильным впечатлениям театрального характера в детстве я должен отнести спектакли фантошей Томаса Ольдена, появившегося в первый раз в Петербурге, на масляничных балаганах. О Томасе Ольдене ходила уже и раньше молва, будто его кукольный театр не имеет себе равных и прямо чудесен; когда же Ольден предстал перед Петербургской публикой, то весь город заговорил об его куклах, и это было вполне заслужено.

Впоследствии я видел много марионеточных театров, включая кукольные пьесы в венецианском Teatro Minerva, римские Piccoli, и мюнхенского Kasperle, а также изумительный кукольный театр известного карика-

туриста Альбера Гильома, который действовал во время парижской выставки 1900 года. От всего этого у меня остались лучшие воспоминания, но всех их продолжает затмевать Томас Ольден, и я думаю, что в данном случае действует не одно розовое сияние детских лет, но и действительная исключительность этих представлений.

Спектакль начинался с цирковых номеров: с канатной плясуньи, с шутовской возни клоунов, эквилибристов и акробатов. В заключение этих номеров появлялся скелет, который весь на глазах у публики расчленялся и снова складывался, причем на радостях череп принимался звонко щелкать челюстями. Кончался же спектакль Ольдена большой пантомимой «Красавица и чудовище». Декорации этой пьесы мне не понравились, они были слишком расцвечены и сплошь разукрашены блестками, но самое Чудовище было таким страшным, что при его появлении в зале поднимался неистовый панический крик детей. С тех пор прошло больше 70 лет и я всё еще вижу в своем воображении это представление с совершенной отчетливостью, мало того, я могу напеть две или три темки той смешной «американской» музыки, которая сопровождала разные номера, в том числе и «разложение скелета».

Глава 2

БАЛАГАНЫ

В первый раз Ольден со своими куклами появился на масляничном гуляньи — на Балаганах, и это было в 1877 или 1878 году. Однако, балаганы были мне хорошо знакомы уже раньше, да в сущности то, что я видел в балаганных театрах, и должно считаться моими первыми, поистине театральными, впечатлениями. Балаганами назывались специально в короткий срок построенные, большие и маленькие сараи, в которых давались всякие представления. Эти балаганы служили главным атракционом того гулянья, которое «испокон веков», а точнее с XVIII века, являлось в России наиболее значительным народным развлечением, особенно в обеих столицах. Гулянье это соответствовало тому, что в западной Европе называется фуарами, ярмарками. Во многих отношениях наши эти развлечения и были копиями того, что было выработано на Западе, но всё же и всему заморскому был придан у нас специфический «русский дух». На этих гуляньях веселье было более буйного, более стихийного характера. Кроме того, здесь можно было видеть и много своеобразного, местного, чего-то ультра потешного и живописного. Да и пьяных шаталось здесь больше, чем где-либо в Европе и они были более шумные, буйные, а то и страшные. Поголовное пьянство простого люда, остававшегося под вечер настоящим хозяином тех площадей, что отводились под эти забавы, придавало им какой-то прямо таки

демонически-ухарский характер, прекрасно переданный в четвертой картине «Петрушки» Стравинского.

Что мои первые воспоминания о балаганах относятся определенно к Масляной 1874 года, когда мне еще не минуло четырех лет, находит себе подтверждение в том, что в компании тех «больших», которые потащили меня-карапуза на балаганы, был и мой брат Иша, а он скончался как раз осенью того же года. Иша, бывший на десять лет старше меня, проявлял ко мне исключительную нежность, умел возбуждать во мне разные восторги и сам совсем по-детски, делился со мной впечатлениями. Потому и память о нем сохранилась у меня с совершенной ясностью. Я помню, точно это было месяц назад, что как раз в этот далекий, упоительный для меня день моего первого выезда на балаганы Иша бесспрестанно пекся обо мне, поправлял мой башлык, следил за тем, чтобы пальтишко мое было застегнуто, и он же взял меня к себе на колени, когда оказалось, что сидевшая перед нами в театре Егарева публика несколько заслонила от меня сцену.

1874 год был последним (или предпоследним) годом устройства балаганов на Адмиралтейской площади, примыкавшей к площади Зимнего Дворца. Уже на это одно стоит обратить внимание. В те годы, с самого времени царствования Николая Павловича, считающегося таким притеснителем народной самобытности, масляничная ярмарка с ее гомоном и всяческим неистовством, происходила под самыми окнами царской резиденции, что особенно ярко выражало патриархальность всего тогдашнего быта. Затем, в 1875 году, балаганы были перенесены на Царицын Луг, где они устраивались приблизительно до 1896 года... Это удаление от дворца означало, пожалуй, известную опалу, однако и на Царицыном лугу балаганы продолжали пребывать в центре столицы и даже в парадной ее части — у самого Летнего Сада.

Мне именно хочется про Масляницу 1874 года рассказать с самого начала — всё как это было с самого еще утра. Я вижу себя в нашей большой детской, вы-

ходившей тремя окнами на улицу. Она озарена белым отблеском снега, выпавшего за ночь и залита боковыми лучами утреннего солнца. Весело трещат в печке березовые дрова. Осторожно шлепает в своих мягких туфлях нянька, приготовляя всё для моего вставанья. На улице до странности тихо: ни шагов, ни топота копыт, ни грохота колес — всё заглушает густой снежный ковер. Но изредка возникает новое для уха серебристое дребезжание: это приехали «вейки» — чухонцы; это звенят бубенчики, которыми увешана их сбруя. «Если будешь пай, — говорит няня, — то и тебя повезут на вейке по городу кататься, да и на балаганы».

Кто помнит теперь, что такое были вейки? Между тем они, хоть и на короткий срок (всего на неделю) становились очень важным элементом петербургской улицы. Вейками назывались те финны, «чухонцы», которые, по давней поблажке полиции, стекались в Петербург из пригородных деревень в воскресенье перед Масляной и в течение недели возили жителей столицы. Звук их бубенчиков, один вид их желтеньких белогривых и белохвостых сытых и резвых лошадок, сообщал оттенок какого-то шаловливого безумия нашим строгим улицам; погремушки будили аппетит к веселью и являлось желание предаться какой-то чепухе и дурачеству. Дети обожали веек. В программу масленичного праздника входило обязательное пользование ими, хоть прогулка на их низких санках представляла и некоторый риск. С мрачным юмором чухонец норовил подкатить под самые колеса огромных тогдашних четырехместных карет и нередко бывало, что санки перекувыркивались на крутом повороте со скатом. Детям же как раз от таких «авантюр», от этой полусознаваемой опасности, становилось особенно весело. «Вейкины» саночки к тому же были до того низенькими, что и ушибиться, падая с них, было трудно, а сидя в них, можно было без труда касаться рукой земли. Несешься по ухабам, а сам бороздишь снег — точно плывешь в лодке и бороздишь, расплескивая, воду.

Контрастом этой серой деревенщине являлось мас-

ляничное катанье «смолянок». И в этом обычае праздничного выезда воспитанниц Смольного института, сказывалось также нечто патриархальное, придававшее особую прелесть российским нравам того времени. Смолянкам на масленице предоставлялись придворные экипажи с кучерами и лакеями в треуголках и в красных гербовых ливреях. Каждое такое ландо было запряжено четверкой прекрасных белых лошадей. Вереница карет в двадцать, растянувшись внушительным цугом, колесила вокруг отведенной под гульбище площади и из каждой кареты выглядывали веселые, юные лица «благородных девиц», восседавших под присмотром строгих классных дам. Аристократические затворницы лишь издали могли любоваться народным весельем, смотреть на все эти перекидные качели, «американские» горы, на пестро раскрашенные театры — но и это было уже достаточным развлечением в серой, унылой обыденности их пребывания «за монастырской стеной».

Вот мы и приехали на своем вейке-чухонце на площадь, отведенную под гулянье. Перед нами главная балаганная улица. Справа протянулся ряд большущих построек, обшитых только что напиленным, сверкающим на солнце и приятно пахнущим сосновым тесом. С другой стороны более мелкие и более разнокалиберные домики стоят как попало в беспорядке. Большие постройки — это театры, принадлежащие антрепренерам, всем давно известные фамилии которых значатся саженными буквами на стенах каждого балагана. Вот Малафеев, вот Егарев, там дальше Берг, Лейферт. Но пятый балаганщик, отдавая долг новым веяниям, скрыл свою персону под девизом педагогического привкуса, — свой театр он назвал: «Развлечение и польза».

И среди мелких домишек имеется несколько плохоньких театров, но главным образом площадь на этой стороне занята каруселями, катальными горами и бесчисленными лавчонками, в которых можно покупать разные лакомства: пряники, орешки, стрючки, леденцы. мятные лепешки, семечки, а также баранки, сайки, калачи. Особенно бросается в глаза несколько в стороне

стоящий большой сарай с торчащей из него тонкой дымящей трубой. На нем, под гигантской, широко улыбающейся рожей, заимствованной из сатирического журнала «Der Kladderadatsch», вывеска, приглашающая публику покушать «Берлинских пышек». Тут же, прямо под открытым небом, тянутся столы, уставленные сотнями стаканов, из которых можно напиться горячего чаю, заваренного в толстых чайниках с глазастыми цветами и разбавленного кипятком, который льется из самоваров-великанов. А пить хочется — за полуденным обедом все уже успели приналечь на блины, и ничто так не томит, как вместе с блинным угаром специфическая «блинная жажда».

Но далеко не все гуляющие пьют чай или предлагаемый разносчиками «горячий сбитень», бережно укутанный в толстую салфетку. Многие, весьма многие, успели завернуть в кабаки или в распивочные, и явились на праздник в сильно подгулявшем виде, неистово горланя песни. У иного торчит сороковка из кармана и он то и дело, ничуть не стесняясь, прикладывается к ее горлышку, становясь от каждого глотка всё озорнее и шумливее. Пьяные в будни, где-нибудь на Фонтанке, на Гороховой, — явление довольно-таки мерзкое, но здесь, на балаганах, «сам Бог велел надрызгаться» и, несомненно, вид этих шатающихся людей придает особый оттенок густой и пестрой праздничной толпе.

А вот и Дед — знаменитый балаганный дед, краса и гордость масленичного гульянья. Этих дедов на Марсовом поле было по крайней мере пять, — по деду на каждой закрытой карусели. Самое карусель, или как прозвали ее французы «манеж деревянных лошадок», наш холодный климат заставлял замыкать в деревянную избу-коробку, наружные стены которой были убраны яркими картинами, среди которых виднелись изображения разных «красавиц», вперемежку с пейзажами, с комическими сценами, с «портретами» знаменитых генералов. Из нутра этих карусельных коробок, вместе с паром и винным духом, доносилось оглушительное мычание оркестрионов и грохотание машины, приводящей в движение самую карусель.

На балконе, тянущемся по сторонам такой коробки, и стоял дед, основная миссия которого состояла в том, чтобы задерживать проходящий люд и заманивать его внутрь. Всегда с дедом на балконе вертелись «ручки в бочки» пара танцовщиц с ярко нарумяненными щеками и сюда же, то и дело, выскакивали из недр две странные образины, наводившие ужас на детей: Коза и Журавль. Обе одетые в длинные белые рубахи, а на их длинных, в сажень высоты шеях, мотались бородатая морда с рожками и птичья голова с предлинным клювом.

Не надо думать, чтобы балаганный Дед был действительно старцем, «дедовских лет». Розовая шея и гладкий затылок выдавали молодость скомороха. Но спереди Дед был подобен древнему старцу, благодаря тому, что к подбородку он себе привесил паклевую бороду, спускавшуюся до самого пола. Этой бородой Дед был занят всё время. Он ее крутил, гладил, обметал ею снег или спускал ее вниз с балкона, стараясь коснуться ею голов толпы зевак. Дед вообще находился в непрерывном движении, он ерзал, сидя верхом, по парапету балкона, размахивал руками, задирал ноги выше головы, а иногда, когда ему становилось совсем невтерпеж от мороза, с ним делался настоящий припадок. Он вскакивал на узкую дощечку парапета и принимался по ней скакать, бегать, кувыркаться, рискуя каждую минуту сверзиться вниз на своих слушателей. Мне очень хотелось послушать, что болтает и распевает «дедушка». Несомненно, он плел что-то ужасно смешное. Широкие улыбки не сходили с уст аудитории, а иногда все покатывались от смеха, приседали в корчах и вытирали слезы... Но те, кому я был поручен, не давали мне застаиваться и поспешно увлекали дальше под предлогом, что я могу простудиться... На самом же деле ими двигало не это опасение, а то, что болтовня деда была пересыпана самыми грубыми непристойностями и даже непотребными словами. Произносил он их с особыми ужимками, которые красноречивее слов намекали на что-то весьма противное благоприличию.

Другим краснобаем был раешник, — о нем я уже

рассказывал, говоря об оптических игрушках. Раешник был таким же непременным и популярным элементом балаганного гулянья, как и дед, но его приемы были более деликатные, вкрадчивые. Всегда, кроме тех двух клиентов, которые приклеивались глазами к большим оконцам его пестро размалеванной коробки, вокруг толпилось, ожидая очереди, с полдюжины ребят и взрослых. Сеанс длился недолго, но за эти минуты можно было совершить кругосветное путешествие и даже спуститься в преисподнюю. Стишки раешника пересыпались потешными прибаутками и эта болтовня помогала воображению добавлять то, что недоставало картинам.

В маленькие балаганчики не стоило заходить — разве только, чтобы позабавиться какой-либо уже совершенно наивной ерундой. Тут же тянулась длинная постройка «зверинца», на фасаде которого яркими красками были изображены девственный тропический лес с пальмами, лианами, баобабами, а изнутри доносились дикие звуки: рев львов и тигров, своеобразное мычание слона и крики обезьян и попугаев. Увы, войдя в такой сарай, вас постигало разочарование: в холоде и, вероятно, в голоде здесь доживали век всякие отбросы знаменитых зверинцев: совсем оцепеневший, не встававший уже больше верблюд, сонные облезлые львы, походившие больше на пуделей, и чахоточные, жавшиеся друг к дружке, обезьяны. Только слон производил еще довольно внушительное впечатление, но слона я видел и более величественного в Зоологическом саду, в «Зоологии». Впрочем, в мое первое посещение балаганов меня более всего поразило в «зверинце» порхание на маленькой сцене танцовщицы, одетой в яркий корсаж и коротенькую газовую с блестками юбочку; однако, о ужас, лицо ее было покрыто густой черной бородой.

Потребности в чем-то чудесном и блестящем вполне ответило зрелище, которое я сподобился тогда увидеть в одном из больших деревянных театров, а именно в театре Егарева, в котором всё еще, по старой традиции давались Арлекинады. Великим охотником до такого спектакля был как раз Иша, который мне уже вперед

рассказывал о нем без конца. И тем не менее то, что я увидал воочию, во много раз превзошло ожидания! Выйдя из этого «первого моего театра», я был словно угорелый, а память об этом посещении не утратила свежести и силы даже и по сей день. Это мое первое знакомство с театром как-то озарило меня, а в главное действующее лицо, в Арлекина, я просто влюбился.

Я уже был знаком с личностью Арлекина и чувствовал к этому маскированному повесе какую-то восхищенную нежность, но тут я увидал его живым, действующим, победоносным, издевающимся над всеми, кто становился ему поперек дороги. Мне самому захотелось сделаться Арлекином и я серьезно мечтал о том, чтобы получить такую же волшебную палочку, как та, что подарила ему (за что?) добрая и прекрасная фея. Мало того, я даже, втайне от мамы, молился про себя, чтобы эта фея явилась и сделала бы мне такой подарок.

Но до чего было холодно, пока в деревянном вестибюле пришлось ожидать очереди, чтобы попасть в самый зрительный зал. Я был закутан с ног до головы, башлык покрывал уши поверх воротника толстого зимнего пальто, а ноги были обуты в валенки — и всё же я зяб немилосердно. Совершенно невыносимым становилось покалывание пальцев ног и кончиков ушей, причем меня очень беспокоило, как бы не отморозить нос; я то и дело обращался к Ише с вопросом, не стал ли нос у меня белым, а чтобы не стал, я тер его изо всех сил шерстяными рукавицами. Да и все, кто вместе с нами ожидали в этом дощатом нетопленном преддверии, пританцовывали на месте, поминутно сморкались, кашляли, чихали. Но никто не ослабевал, не покидал этого места пытки, дойдя до «самых врат» волшебного царства и ожидая, чтобы врата растворились.

И вот блаженный миг наступил. Проходят еще минуты три, во время которых зрительный зал покидают те, кто уже насладился представлением, а затем приходится вцепиться в моего попечителя, иначе меня затопчут, раздавят между дверьми. И вот мы уже сидим на своих местах, перед нами ярко пунцовый с золотом за-

навес. Иша берет меня на колени. Зрительный зал представляет собою огромный, обитый досками сарай, освещенный рядом тусклых керосиновых ламп, повешенных по стенам и издающих довольно острый запах. Но и полумрак и этот запах только усугубляют зачарованную таинственность. В то же время за нашими спинами творится нечто подобное стихийному катаклизму. Это врывается, с неистовым шумом, с криками, с визгами, с воплями: «батюшки, задавили», публика вторых и третьих мест, ожидавшая очереди на наружных лестницах балагана. Лавина несется со стремительностью идущего на приступ войска. Передовые отряды, с удивительной ловкостью, перескакивают через тянущиеся во всю ширину зала, скамейки, стремясь попасть в первые ряды и становится боязно, как бы эта дикая масса не разнесла стен, не докатилась бы до нас, не растоптала бы нас.

Постепенно всё успокаивается, стихает и замирает в ожидании. Оркестранты, успевшие, в промежутке между двумя представлениями, сходить выпить согревающего, возвращаются и размещаются по местам, дирижер (он же первая скрипка) — поднимает смычок, раздаются звуки увертюры и занавес медленно ползет вверх. Перед нами сельский, но вовсе не русский пейзаж; слева, в тени раскидистого дерева, домик с красными кирпичными стенами и с черепичной высокой крышей, справа холм, в глубине голубые дали — и всё «совсем, как на самом деле». Сразу же начинается что-то необычайное, волнующее, смешное и страшноватое. Старик Кассандр отправляется в город и наказывает двум своим слугам исполнить порученную им работу. Один из слуг — весь в белом, с белым от муки лицом; у него самый глупый растерянный вид, он, несомненно, лентяй и растяпа. Простонародье его называло попросту «мельник», но я знаю, что это Пьерро. Я уже и песенку про него слышал: «au claire de la lune mon ami Pierrot», хотя еще плохо понимаю язык своих предков. Но почему же у Арлекина такой невзрачный, грязный костюм? С тревогой обращаюсь к Ише за объяснением и он успокаивает меня: «это его рабочее платье, подожди, сейчас

увидишь, что будет дальше». Дальше же происходит нечто ужасное. Принявшись каждый за свою работу, Пьерро и Арлекин скоро начинают ссориться, мешать друг другу, они вступают в драку и, о ужас, нелепый, неуклюжий Пьерро убивает Арлекина. Мало того, он тут же разрубает своего покойного товарища на части, играет, как в кегли, с головой, с ногами и руками (я недоумеваю, почему не течет кровь), в конце же концов пугается своего преступления и пробует вернуть к жизни загубленную жертву. Он ставит одни члены на другие, прислонив их к косяку двери, сам же предпочитает удрать. И тут же происходит первое чудо-чудесное. Из ставшего прозрачным холма выступает вся сверкающая золотом и драгоценностями фея, она подходит к сложенному трупу Арлекина, касается его и в один миг все члены срастаются. Арлекин оживает; мало того, под новым касанием феиной палочки тусклый наряд Арлекина спадает и он предстает, к великому моему восторгу, в виде изумительно прекрасного, сверкающего блестками юноши. На коленях благодарит он добрую фею, а из дома выбегает дочь Кассандра, прелестная Коломбина; фея их соединяет и в качестве свадебного подарка отдает Арлекину свою волшебную палочку, получив которую он становится могущественнее и богаче всякого царя.

Второе действие сплошная кутерьма. Декорация изображает кухню в доме Кассандра. Оживший Арлекин шутит жестокие мстительные шутки с Пьерро и со своим бывшим хозяином. Он появляется в самых неожиданных местах. Его то находят в варящемся котле (из которого валит «настоящий» пар!), то в ящике стоячих часов, то в ларе из-под муки. Все слуги, с главным поваром во главе, гоняются за ним, но он остается неуловимым. Среди пола он неожиданно исчезает и сейчас же влетает в открытое окно. Только что он со звуком битого стекла вскочил в зеркало, как уже мчится через сцену, оседлав дракона. И, разумеется, только срамом покрываются его преследователи. Выбегая из разных дверей, они сталкиваются, падают в кучу и в досаде наносят друг другу побои. Усилия их остаются тщетными,

чтобы сдвинуть большой комод, за которым спрятался повеса, и вдруг комод сам срывается с места и начинает носиться за ними.

Третье действие я пропускаю, несмотря на то, что прелестная декорация изображала «мою родную» Венецию, а под Кассандром и его приятелями рушится балкон, с которого только что спрыгнул Арлекин. Зато дальнейшее уже совсем чудесно. Из дремучего, темного леса, в котором еще раз появляется фея, Арлекин с Коломбиной заводят своих преследователей ни более, ни менее, как в Ад, озаренный красным светом бенгальских огней; клубы дыма так и валят из-за кулис. Казалось, всем грозит гибель и беглецам и преследователям, но для первых всё кончается самым благополучным образом — то была лишь шутка феи. Адский пейзаж сменяется райским; с небес спускаются гирлянды роз, поддерживаемые амурчиками, а фея соединяет Арлекина с Коломбиной. Но плохо кончается для врагов Арлекина. Они все оказываются со звериными мордами и жесты их выражают беспредельное смущение... Этот апофеоз мне так врезался в память, что я хоть сейчас способен его нарисовать. Я даже долгое время помнил его музыку, но с годами она затерялась в кладовых моей памяти...

Раза три, четыре в следующие годы видел я ту же пантомиму, лишь украшенную некоторыми новыми трюками, а затем, к моему горю, балаган Егарева исчез с Марсова поля и остался один только его конкурент — Берг. У него тоже шли Арлекинады, но актеры у Берга — о ужас! — говорили и говорили они преглупые вещи, которые должны были сходить за остроты. Арлекин же выступал с бородой, торчавшей из-под маски, и это уже никак не вязалось с прежним, столь меня пленившим образом. Пьерро непрестанно зевал и в этом состоял весь его комизм, тогда как Коломбина была старая и некрасивая; она, видимо, жестоко зябла, несмотря на шерстяные панталоны, выглядывавшие из-под ее поношенной мишурной юбки. Эффектны у Берга были лишь сверкающие вертящиеся колеса, на которых выезжали феи,

да дружный смех возбуждали дамы-куклы, которые уморительно плясали, а когда падали, то оказывались полыми внутри. Мне еще нравилась декорация ада, в которой гигантские кулисы представляли собой сидящих на корточках чертей; головы их достигали самого верха сцены, а лапы схватывали врагов Арлекина и покачивали их при звуках «адской» музыки. Вообще же у Берга во всем сказывался упадок. Театр был наполовину пуст, и в дешевых местах не происходило того столпотворения, о котором я только что рассказывал и которое можно было попрежнему наблюдать на балаганах Малафеева и Лейферта. Вот где наружные лестницы готовы были рухнуть под тяжестью охотников до зрелищ, а перед каждым очередным представлением шел настоящий бой.

С 1880-х годов началась и на балаганах эра национализма. Исчезли совсем легкие забавные Арлекинады и другие пантомимы иностранного происхождения, а на смену им явились тяжеловесные, довольно таки нелепые народные сказочные «Громобои», «Еруcланы Лазаревичи», «Бовы-Королевичи» и «Ильи-Муромцы». Завопили, загудели неистовые мелодрамы из отечественной (допетровской) истории, пошла мода на инсценировки Пушкина и Лермонтова. Повеяло духом педагогики, попечительства о нравственности и о трезвости. Тем не менее, общее настроение гуляющих на Марсовом поле оставалось прежним. Всё еще стоял стон мычащих оркестрионов, глухой, но далеко слышимый грохот турецких барабанов, всё еще гудела и бубнила огромная площадь: шумела она так громко, что отголоски этой какофонии доносились даже до Гостиного двора и до Дворцовой площади. Да и кареты со смолянками продолжали кружиться цугом вокруг площади, также врали раешники и «деды», тут и там слышался визгливый хохоток Петрушки...

А потом всё исчезло. Общество трезвости (дворец возглавлявшего его августейшего попечителя, принца А. П. Ольденбургского, выходил окнами прямо на Марсово поле), добилось того, чтобы эти сатурналии были

удалены из центра. Еще несколько лет балаганы влачили жалкое существование на далеком и грязном Семеновском плацу, а потом их постигла участь всего земного — эта подлинная радость народная умерла, исчезла, а вместе с ней исчезла и вся ее специфическая «культура»; забылись навыки, забылись традиции. Особенно это обидно за русских детей позднейшего времени, которые уже не могли, в истории своего воспитания и знакомства с Родиной, «приобщиться к этой форме народного веселья». Уже для наших детей — слово балаганы, от которого я трепетал, превратилось в мертвый звук или в туманный дедовский рассказ.

Я не стану распространяться о моих первых цирковых впечатлениях. В первый раз я попал в цирк наверное не старше трех лет — благо тогда деревянный цирк (Берга?) помещался на Екатерининском канале, очень близко от нашего дома. Лучше запомнились мне те спектакли, которые я видел во временном цирке на Караванной площади, а затем те, которые давались в каменном цирке Чинизелли, построенном, если я не ошибаюсь, в 1875 году у Симеониевского моста. Это здание, в архитектурном отношении весьма неказистое, было украшено наружной живописью, представлявшей античные ристалища и средневековые турниры; да и внутри мне всегда импонировали те громадные портреты знаменитых наездниц, начиная с Царицы Томирис, которые были размещены по плафону купола. Но, видно, я действительно был рожден для того, чтобы стать театральным любителем, ибо одно то, что спектакль происходил в цирке на арене, а не на сцене, что он был лишен декорационной иллюзионности — огорчало меня и заставляло меня, несмотря на всевозможные утехи, предпочитать цирковому спектаклю театральный. Менее же всего мне нравились в цирке те сложные пантомимы, которыми, при участии лошадей и других животных, иногда завершались цирковые программы.

Казалось бы меня должна была восхитить история с краснокожими индейцами или та восточная феерия, которая, кончалась гибелью лютого насильника хана, свергаемого его соперником прекраснейшим принцем из «Тысячи и одной ночи». Запомнилось, как страшно, в белом свете прожектора, сверкнул, в предсмертной агонии, глаз у злодея, как грузно он свалился с коня на землю, какое ликование изобразили девы, освобожденные витязем из плена. Но вот, всё это происходило слишком близко, как бы на ладони, да и то, что вокруг оставались всё те же ряды одетой в шубы и пальто публики, частью которой были и мы, что тут же «на носу», на ярко освещенной эстраде, играл оркестр, что разные похищения, преследования и бегства происходили поперек арены, что всякие «горы» и «скалы» устанавливались в антракте на глазах у всех, а не за занавесом, который в театре скрывал всю таинственность «кухни», — всё это вместе взятое портило удовольствие и вселяло во мне какую-то странную «неловкость». Да и музыку цирка я ненавидел за ее грубую шумливость.

Всё же я должен с благодарностью помянуть здесь и о некоторых радостях испытанных в цирке. К ним принадлежали выезды и выводы дрессированных лошадей, в которых главным образом отличались члены семьи Чинизелли (Чипионе, Гаэтано и прелестная, как мне казалось, их сестра — в костюме амазонки). Нравились мне те балерины, которые на плавном скаку прекраснейших снежно-белых коней плясали по плоскому тамбуру, служившему седлом и прыгали в серсо, затянутое бумагой. Бывали и действительно удивительные номера, вроде того акробата, который вылетал из пушки с тем, чтобы хватиться на лету за трапецию или вроде той краснокожей индианки, которая, держась зубами за бежавшее по канату колесико, перелетала с одного конца цирка до другого. У этой акробатки были длинные черные развевавшиеся волосы, а когда красавица достигала предельного места, она ловко вскакивала на пунцовый бархатный постамент и на весь театр пронзительно гикала, что и придавало ее выступлению особую пикантность «дикарки». Обожал я выходы му-

зыкальных клоунов, дрессированных собак и обезьян; больше же всего я однажды насладился сеансом чревовещателя, который с изумительной ловкостью манипулировал целой группой ужасно смешных больших кукол, создавая иллюзию, что это они говорят, а не он. Сохранились у меня в памяти и другие цирковые воспоминания и из них некоторые восходят до дней моего раннего детства, но всё же цирк не моя область и поэтому я предпочитаю теперь сразу перейти к настоящему театру, к тому, что мне пришлось по душе и по вкусу во всех смыслах.

Глава 3

ТЕАТР

В первый раз меня свели в театр, когда мне было лет пять. Вероятно это вышло случайно — получена была от театрального начальства ложа на дневное представление, и вот те из нашей семьи, кто пожелали воспользоваться ею, потащили с собой меня-крошку, хотя то, что предстояло увидеть и услышать, вовсе не было рассчитано на детские вкусы. В Мариинском театре, до которого от нашего дома было рукой подать и где обыкновенно тогда давались русские оперы и драмы, на этот раз давался концерт какого-то странствующего дамского оркестра, и мне пришлось вынести тогда длинную серию увертюр, попурри, вальсов, и чуть ли не целую симфонию. Однако, хоть это и было скучновато, я все же был так заинтересован всем тем новым, что меня окружало, начиная от впустившего нас в ложу ливрейного капельдинера и кончая чудесным занавесом, о котором дальше я скажу несколько слов, что я вынес это испытание с честью и кажется ни разу не вздремнул и не попросился домой. Когда занавес поднялся, то на сцене оказалась целая гора белых, пышных по тогдашней моде платьев, из массы которых торчали инструменты, среди которых мое особенное любопытство привлекли страшные, похожие на жуков контрабасы и роскошные «золотые» арфы. Во время же антракта перед декорацией, изображавшей парк с высокими кипариса-

ми, два клоуна тешили публику своими шутками. Всего важнее для меня было то, что я был, наконец, в театре. Я знакомился с самой атмосферой театра, с общим его видом. С жадностью разглядывал я во всех подробностях своеобразное, сверкающее огнями и позолотой великолепие этого раскрывающегося передо мной, над и подо мной простора. Было как-то особенно жутко и сладостно ощущать себя в нем, в этой круглой зале в пять этажей с рядами каких-то стойл-коробочек в каждом из них. Над голубыми портьерами царских лож — толстые белые амуры держали золотые короны и гербы с орлами, а с круглого потолка, на котором были изображены пляшущие девы, светила большущая, горевшая бесчисленными огнями, люстра. Таинственной казалась мне та черныя дыра, из которой она свешивалась и куда, по рассказам папы, ее снова после представления убирали для чистки и зажигания[1]. Поразил меня тогда и запах театра. Тогда театры освещались еще газом, и характерным запахом для них была та смесь всяких людских испарений, над которыми доминировал именно

---

[1] О театральной люстре у нас хранился смешной рассказ про то, как папа дал билет в театр одному из своих подрядчиков — простому крестьянину и как он от всего спектакля, кроме люстры, на которую без перерыва три часа глядел, так ничего и не увидал. Другому подрядчику папа дал билет на спектакль «Ревизора». На следующий день он его спрашивает: «Ну что, Прохорыч, как тебе понравилось представление?». «Покорно благодарим, очень понравилось, да только уж больно долго пришлось дожидаться». «Почему, разве не началось, как полагается, в семь часов?». «Никак нет, Николай Леонтьевич, без малого в полночь начали». «А что же было до этого?». «Да так, всё что-то господа приходили, уходили, да промеж себя разговаривали, я их и не слушал — не мое, дескать дело»... Оказывается, вся пьеса «Ревизор» прошла для первобытного Прохорыча, как «разговор промеж господ», а оценил он только род движущейся картины, которыми в те времена (с незапамятных времен) кончались русские драматические спектакли. Занавес после заключительного акта еще раз подымался и в свете бенгальских огней на сцене с полдюжины балерин в сверкающих мишурой платьях — медленно проплывали кругом, сидя в лодочках, изгибая стан и сводя калачиком руки над головой. Это был обычай специально учрежденный для простолюдинов и не имевший никакого отношения к предшествующей пьесе. Такой «апофеоз» в обиходе носил название «Волшебной карусели». Публика этим зрелищем пренебрегала и до него покидала театр.

газовый дух. Долгое время и после того, как было введено электричество, остатки этого запаха, казалось, наполняли коридоры и залы казенных театров, а теперь запах газа неминуемо вызывает во мне, с особой остротой, воспоминание о театрах моего детства и юности.

Что касается помянутого занавеса Мариинского театра, то, когда мы вошли в ложу, он был спущен и едва освещен рампой, но перед тем, чтобы его поднять, его ярко осветили и тогда он предстал во всей своей красе. Впрочем я не только тогда оценил этот замечательный занавес Мариинского театра, но и позже я всегда любовался им — до самого того момента, когда его заменили новым и очень бесвкусным. Нежность к тогдашнему занавесу Мариинского театра разделяли со мной, как я впоследствии узнал, и Бакст, и Сомов, с уважением отзывался о нем и мой отец. Изображен был на этом занавесе, в голубоватой гармонии, полукруглый храм со статуей Аполлона Бельведерского посредине. Роскошная писаная рама, увитая розами и поддерживаемая амурами, окружала эту «картину», а сверху же и по бокам свешивались малиновые бархатные драпировки. Автором этого шедевра, если я не ошибаюсь, называли парижского художника — Обе. Как не вспомнить тут же и о других театральных «sipario» — о занавесах в Большом театре, в Михайловском, в Большом театре в Москве, (последний был мне знаком по раскрашенной литографии в папиной коллекции). Главный занавес в Петербургском Большом театре (работы знаменитого Роллера) изображал греческий пейзаж с двумя храмами по сторонам и с колоссальными статуями богов перед ними. Всё это было очень красиво, но особенно я любил разглядывать фигуры детей, которые оживляли эту картину. Слева мальчик возжигал курения на треножнике, справа — другой мальчик дразнил девочку, придерживая перед лицом маску сатира. О втором «антрактовом» занавесе в том же Большом театре (он только на момент показывался, когда вызывали артистов), я уже упоминал, когда говорил о Царскосельском Дворце. Занавес же в Михайловском театре (с ним я познакомился позже, когда стал посещать французскую ко-

медию) представлял для нас некоторый «семейный» интерес. Изображено было коронование бюста Мольера во время торжественного заседания французской Академии в XVIII веке. Это была «историческая картина» исполинских размеров. На первом же плане весьма многолюдной композиции, среди великосветских дам в широких робронах эпохи Людовика XV художник Дузи изобразил нашу бабушку Ксению Ивановну, тогда еще молодую красавицу и ее подругу — жену Ф. А. Бруни. Наконец, московский занавес, в рамке псевдорусского стиля, представлял встречу у стен Кремля царя Михаила Федоровича, иначе говоря заключительный акт оперы «Жизнь за царя».

Получив во время своего первого посещения театра представление о зрительном зале, насытившись зрелищем люстры и занавеса, я во время следующего своего театрального выезда мог уже всё внимание сосредоточить на сцене и на том, что на ней происходит. А происходило в этом моем втором спектакле нечто совершенно удивительное — англичанин Филеас Фогг, в сопровождении своего лакея, совершал в 80 дней путешествие вокруг земного шара. Понимал я тогда по-французски мало, но сюжет в общих чертах рассказали большие, и я мог следить за всеми перипетиями.

Давался этот спектакль в том, впоследствии сломанном деревянном театре, который стоял в двух шагах от Александринского. В нем давались французские оперетки, и знаменитая Жюдик сообщала антрепризе особенный блеск. В нашей семье опереткой особенно увлекался брат Коля, готовившийся тогда в офицеры. Как мог совмещать Николай ученье в строгом военно-педагогическом учреждении с частыми посещениями театра — да еще такого, в который едва ли вообще пускали беспрепятственно кадет, этого я сейчас не смогу объяснить. Но самый факт увлечения Колей спектаклями

опереток и Жюдик не подлежит сомнению, ибо мне даже запомнились те нотации, которые ему приходилось выслушивать от папы и мамы. Остается предположить, что кадеты ходили в оперетту инкогнито, переодевшись в штатское, прячась от начальства в каких-либо ложах, взятых компанией. Запомнилось мне и то, как Коля делился с товарищами (Ниловым и Хрулевым) своими восторгами, а к тому же подобные похождения вполне соответствовали отчаянному характеру брата. Иногда приключения эти имели своим завершением отсиживание в карцере, если не на гауптвахте.

Возвращаюсь к моему первому *спектаклю* в *настоящем* театре, к «Путешествию вокруг света». Меня не столько заинтересовал тогда сам кругленький, плотненький, с небольшими бачками Филеас Фогг, заключивший пари, что успеет в данный срок объехать всю планету, сколько юркий, веселый расторопный его камердинер Паспарту, который неизменно выручал своего господина каждый раз, когда тот попадал в затруднительное положение. А попадал Филеас в затруднительное положение на каждом шагу. Спектакль состоял из двенадцати, если не из пятнадцати картин и ни в одной из них не обходилось без какой-либо ужасающей авантюры, а в некоторых их было и по две. Не успеют Фогг и Паспарту отрезвиться от опиума в Бомбейской курильне (через огромные окна которой можно было следить за сутолокой восточного города), как они, рискуя жизнью, уже спасают прекрасную индуску Ауду, вдову раджи, обреченную на смерть через сожжение на костре. В следующей же картине спасенная Ауда чуть не становится жертвой змей, наползающих на нее отовсюду. Только что путешественники спаслись от краснокожих, напавших, среди зимнего снежного пейзажа, на поезд, шедший из Сан-Франциско в Нью-Йорк, как они уже едва не тонут среди Атлантического океана. Это было особенно эффектно: судно раскалывалось на две половины и погружалось среди вздымавшихся мутно-зеленых волн. Кончалось, однако, всё благополучно — к отменному торжеству главного героя. Снова мы видели залу того лондонского клуба, в котором произошло заключение

пари и где под многочисленными шарообразными лампами восседали за чтением газет всякие джентльмены во фраках. Часовые стрелки над дверьми приближались к роковому моменту и уже члены клуба спешили поздравить того, кого они считали выигравшим — как при самом бое полуночи, двери растворились и спокойной походкой «как ни в чем не бывало» вошел Филеас Фогг, нашедший свое вознаграждение за всё претерпенное, как в огромном количестве фунтов стерлингов, так и в посрамлении тех, кто дерзал сомневаться в его успехе.

Вся машинная часть этого спектакля не только поразила в те дни мою ребяческую голову, но она вызывала и всеобщее одобрение. Особенно восхищались все сценой со змеями, с жуткой плавностью сползавших с пальм и со стен пещеры. Столь же эффектны были метавший столбы искр локомотив, въезжавший на сцену покрытую снегом и большущий, прыгавший по волнам пароход. В одинаковой степени меня волновали не только самые эффекты, но и всё, что я узнавал о том, «как это сделано». Особенно было интересно узнать, что волнение моря, казавшегося «совершенно настоящим», было произведено посредством холста, который вздымался руками находившихся под ним людей...

Я уже упоминал что «Фауст» был любимой оперой моего брата Альбера; правильнее было бы сказать, что это была единственная опера, которою увлекался наиболее музыкально одаренный из братьев Бенуа. Любил Альбер и воспроизводить на рояле особенно восхищавшие его места из «Фауста», причем он, вероятно, предавался тем своим личным воспоминаниям, которые с особенной ясностью будили в нем сладкие любовные звуки Гуно. Иногда я, зачарованный, присаживался рядом, и тогда милый Альбертюс снабжал свою игру отрывистыми комментариями, помогавшими мне вообразить всё, что должна была изображать музыка. До озноба, до мурашек, до волос дыбом, не видав еще спектакля, я переживал все перипетии оперы. Еще «ничего не понимая в старости», я вполне сочувствовал бессильным терзаниям старца-ученого и до слез умилялся, когда он прислушивался к

пасхальному пению, доносившемуся с улицы. Вслед за сим я знал, что должен появиться «чорт» и т. д. Поэтому легко можно себе представить, что со мной сделалось, когда всё это я увидал в 1876 году на сцене Большого театра! Маргариту пела архизнаменитая Нильсон и из всех тогдашних исполнителей только ее имя мне и запомнилось; оно было у всех на устах. Маргарита с ее длинными белокурыми косами, в сереньком платье показалась мне привлекательной, но от исполнения ею роли мне запомнилось лишь то, как она мечется перед Мефистофелем на ступенях церкви и как в последнем акте, в тюрьме, падает с глухим стуком. Сказочно прекрасным показался мне «Фауст», когда он, помолодевший, предстал в костюме из черно-синего бархата с огромными белыми буфами и в круглой шляпе с белым страусовым пером. И всё же еще больше пленил меня «чорт» — Мефистофель, к которому я даже испытал род нежности, тогда же, впрочем, осознанной, как нечто запретное. Его красная, тонкая фигурка, с красным перышком на крошечной красной шапочке, напоминала некоторые из моих сновидений того особенно *сладостно-жуткого характера*, которыми иногда Морфей[2] балует любимых детей. Когда среди тьмы, окутывавшей весь мрачный кабинет Фауста, в лучах красного света поднялся из пола этот остроносый красный господин, то я обрадовался ему, как хорошему знакомому и даже на радостях вскрикнул на весь театр. Мефистофель, подобно приятелю Арлекину, обладал всякими магическими возможностями: захотел — и стена кабинета «растаяла», и Фауст, при звуках райской мелодии, увидал Маргариту, как она у себя дома сидит за прялкой; захотел Мефистофель — и из бочки Бахуса

---

[2] Умышленно ставлю здесь имя этого бога. У нас в доме слово «Морфей» было самым принятым, особенно в таком обороте: «отправиться в объятия Морфея», что значило просто отправиться спать. Я верил, что действительно какое-то «специальное» божество и меня усыпляет, а когда я как-то раз пристал к отцу, чтобы он мне объяснил, как же выглядит этот «всем известный» бог, то папа достал мне гравюру с бюста гр. Ф. П. Толстого, изображающего как раз Морфея. С тех пор я был уже совершенно убежден, что он выглядит именно так, а не иначе.

полилось вино; захотел — и вино вспыхнуло пламенем. Всё же мне не стало жалко моего любимца, когда вслед за этим последним чудом чорта окружили студенты с поднятыми крестообразными шпагами, а он, как червяк, закорчился на земле. У детей это всегда так: и самое любимое они не прочь помучить или же они, со странной смесью жалости и упоенья, будут глядеть, как другие мучают и терзают. А тут я сознавал, что мученье вполне заслужено.

В дальнейшем развитии оперы «чорт» действительно проявляет всю свою злую природу. Как гадко, что он убивает доброго, честного брата Маргариты! И почему же он так злобно издевается над хорошеньким Зибелем, который только что принес для Маргариты огромный букет цветов? Не он ли также всё устроил так, что бедная Маргарита попала, наконец, в тюрьму? Вот почему, когда под самый конец я увидал Мефистофеля, лежащим в скрюченной позе под копьем Ангела — я решил, что это ему поделом. За секунду перед тем вся грандиозная каменная стена тюрьмы куда-то провалилась и вместо нее раскрылся вид на большой, видимый сверху город. Над черепичными крышами, над шпилями церквей, медленно подымалась теперь к небесам странная, вся завешанная тюлем группа, напоминавшая мне несколько тот вид, который получали люстры, когда их на лето завешивали чехлами. Именно то, что «тут ничего нельзя было разобрать», особенно мне понравилось. В этом медленном вознесении чего-то бесформенного, что должно было означать душу Маргариты, была удивительная жуть. Торжественные аккорды апофеозной музыки казались мне поистине небесными и вызывали в душе такое же молитвенное чувство, как то, что должен был испытывать в это время вставший на колено Фауст. Из всей музыки Фауста мне ярче всего запомнился именно этот торжественный мажорный гимн, да еще, как это ни странно, комический хор стариков.

Несколько месяцев спустя я удостоился в первый раз попасть в балет. Так как судьба мне готовила сыграть известную роль как раз в этой отрасли театраль-

ного искусства и даже сыграть ее в «международном масштабе», то мои первые впечатления от балета могут даже представить и несколько больший интерес. Я и на этот раз как бы помешался. Но помешался я не столько от танцев (как и в опере, я не столько пришел в восторг от пения), сколько от всего представления в целом и главное особенно от фантасмагории, получившейся от соединения яркости декораций и костюмов с красотой движений и с музыкой. Напротив, самые танцовальные эволюции, особенно кордебалета, показались мне надоедливыми. С другой стороны, именно то, что в балете не говорили и не пели, а только молчаливо под музыку действовали — это, видимо, отвечало какому-то моему коренному вкусу. Ведь этот же безотчетный вкус заставил меня отдать предпочтение немой пантомиме в балагане Егарева перед «говорящей» арлекинадой у Берга. Впрочем, я считаю лишним распространяться здесь на эту тему, которой целиком посвящены мои специально балетные воспоминания. Ограничусь лишь тем, что я сидя — в 1876 г. — в ложе первого яруса со своими кузинами и впиваясь глазами в то, что происходило на сцене, где шел балет «Баядерка», пережил тогда минуты, принадлежащие к самым счастливым в моей жизни, мало того, к минутам, имевшим в себе «нечто вещее» — точно предчувствие в будущем таких же, если не еще больших, радостей. Четырнадцати лет я сделался заправским балетоманом, но и до того я успел увидать почти все, шедшие на Императорской сцене балеты. Все они были à grand spectacle и исполнены романтической поэзии. Водили меня сначала в балет приблизительно два раза в году — на Рождество и на Пасху, а потом и гораздо чаще. Таким образом, передо мной прошли и страшная история про «Дочь снегов», в которой мореплавателя, пренебрегшего любовью сказочной принцессы, пожирают белые медведи, и «Бабочку», начинавшуюся с веселого оживления всяких овощей и кончавшуюся апофеозом с павлином во всю сцену, и очень эффектно поставленный балет «Пигмалион» (кн. Трубецкого), в котором скульптор влюбляется в созданную им статую и в котором по золотой лестнице, занимавшей

всю ширину сцены, сновали сверкающие драгоценностями негры. Скорее я был разочарован балетом «Дон-Кихот», в котором герой Сервентеса сражался с мельницами, колол марионеток странствующего театра и был, наконец, повержен таинственным, закованным в серебро рыцарем луны... Некоторые балеты я видал по два, по три раза, и всё — с неостывающим интересом. Это случилось, например, с «Роксаной», поставленной в 1878 г. в ознаменование увлечения русского общества идеей освобождения славян на Балканах. Но я к этому балету еще вернусь в связи с моими воспоминаниями о Русско-турецкой войне.

Совершенно особняком стояли балеты комические и полукомические, вроде «Фризака-Цирульника» и «Марко Бомбы». К комическим же принадлежал отчасти и самый популярный из русских балетов «Конек-Горбунок», сюжет которого был заимствован из сказки, обработанной Ершовым. Здесь главная роль принадлежала не какому-либо принцу, а простому мужичку, да вдобавок заведомому простофиле-дураку. Однако, самое изумительное счастье выдавалось именно ему. Изловив волшебного конька, он превращал его в своего послушного слугу, но только, при невозможности ввести в число исполнителей настоящую лошадь, авторы балета прибегли к компромиссу. В первой картине Иванушка Дурачок действительно схватывает бежавшего среди полей картонного конька, во второй картине он даже взлетает в облако, сидя на нем задом наперед, но уже дальше зрители видели не горбатенькую лошадку, а какого-то скрюченного человечка, одетого в странный костюм и непрестанно слегка подпрыгивающего. И что же, мы дети верили, что это тот же, только что виденный жеребенок, и что именно в таком виде Конек-Горбунок обладает чрезвычайной силой волшебства. Хлестнет «дурак» кнутиком и уже «гений конька» тут как тут, прыгает и прыгает вокруг своего повелителя, вопрошая, что ему нужно. Благодаря Коньку, Иванушка попадает во дворец к самому хану — необычайно противному и сластолюбивому старику, благодаря Коньку он отправляется в некое сказочное царство, в котором бьет фонтан до

самого неба и прелестные особы танцуют знаменитый вальс, благодаря коньку Иван Дурак спускается в поисках за обручальным кольцом для Царь-девицы на дно морское и, наконец, благодаря помощи Конька дураку дается перехитрить хана, обернувшись, после окунания в кипящий котел, красавцем-царевичем, тогда, как хан, последовав его примеру, в том же котле сваривается и гибнет.

Балет кончался апофеозом. В глубине сцены появлялся Новгородский памятник тысячелетия России, а перед ним на сцене дефилировал марш из народностей, составляющих население российского государства и пришедших поклониться дураку, ставшему их властелином. Тут были и казаки и карелы, и персы, и татары, и малороссы, и самоеды. Не понимаю только, как такое дерзкое вольнодумство могло быть пропущено строгой тогдашней цензурой, да еще на подмостках Императорского театра! Очевидно, блюстители верноподданничества проглядели то, что в этом может крыться непристойность и даже неблагонадежность! А детям было разумеется всё равно — благо гадкий старый хан погиб в котле, а полюбившийся им (в исполнении Стуколкина) Иванушка получил в жены волшебную девушку и оказался на троне.

В дефилэ народностей, населяющих Россию, выступала неоспоримо самая красивая из всех тогдашних танцовщиц — дочь балетмейстера, заведомая пожирательница сердец, Мария Мариусовна Петипа. Уже в Роксане в 1878 г. она — совсем еще тогда юная, произвела на меня, восьмилетнего, некоторое впечатление, ну а тут будучи мальчиком тринадцати лет, я и впрямь в нее влюбился — особенно после того, как она лихо станцовав малороссийский танец, в уста громко на весь театр, целовалась со своим партнером Лукьяновым. Необычайный конец малороссийского танца вызывал всегда бурный энтузиазм и требование повторения. Маруся Петипа стала с этого момента и в течение нескольких месяцев предметом моего обожания.

Моя влюбленность в Петипа достигла своей предельной степени, когда я увидал ее в «Коппелии», тан-

цующей мазурку и чардаш. Но тут же должен прибавить, что длинноногая, ленивая, в сущности вовсе не талантливая Мария Мариусовна была плохой танцовщицей. В смысле техники она уступала последним кордебалетным «у воды», она даже на носки вставала с трудом и охотно переходила с них на «полупальцы». Движения у нее были угловатые, а ее стану не доставало гибкости. В силу этого отец-балетмейстер и давал ей танцовать одни только «характерные» плясы, где она могла в безудержном вихре проявить весь свой «sex appeal». Или же ей поручались роли принцесс, королев и фей, требовавшие одних только прогулок «пешком», да кое-каких жестов. В том же «Коньке», в третьей картине во дворце хана, Петипа изображала «любимую альмею»; протанцовав с грехом пополам какой-то пустяшный танец, она затем принималась метаться по сцене, довольно бездарно изображая муки ревности, вызванные тем, что хан предпочитает ей черноокую русскую девушку — ту самую Царь-девицу, которую ему добыл Иванушка... При всей моей влюбленности в Марусю, недостатки ее не были от меня сокрыты, мало того, именно эти недостатки я ощущал как-то особенно остро, ибо страдал от несовершенства моей пассии.

Только что упомянутый балет «Коппелия» сыграл в моем художественном развитии значительную роль. Одновременно с этим увлечением Коппелией, я до безумия увлекся музыкой «Кармен», как раз в те же годы (1883-1884), поставленной, точнее возобновленной; однако, первое появление «Кармен», в Петербурге, за десять лет до того, прошло совершенно незамеченным. Но мое отношение к «Коппелии» было иного порядка, нежели мое отношение к гениальному произведению Бизе. Тут было несравненно меньше страстности «патетического» начала, зато Коппелия насыщена какой-то чарующей нежностью, какой-то сладостью без привкуса приторности. И не потому этот балет стал моим любимым, что в первом действии, я не сводил глаз с Маруси Петипа, отплясывавшей чардаш и мазурку, и не потому еще, что исполнительница главной роли (Сванильды) хрупкая, тоненькая, хорошенькая Никитина подкупала не столько

танцами (она была скорее слаба на ногах), сколько своей чуть болезненной грацией, а потому, что музыка Делиба, с ее окутывающей лаской, проникала всё мое существо. Это начиналось с первых же нот увертюры, переносившей меня в чудесный мир сладостных грез. Я бы даже сказал, что те минуты возбуждения, которые я испытывал (и мой сосед по креслу, Володя Кинд, не меньше чем я) во время беснования Маруси Петипа, скорее портили дело, нарушая нечто бесконечно более ценное — то самое, что, по мере своего роста и утверждения, становилось моим основным художественным убеждением. Благодаря Коппелии пробудилась моя «личная эстетика», образовался мой вкус, начала слагаться для меня какая-то «мера вещей», которая с тех пор созревала и пополнялась в течение всей жизни, по существу оставаясь тем же самым. Я вообще человек постоянных привязанностей, — но тут было нечто большее, тут я *нашел себя*[3]. И я был безгранично счастлив этой находке...

Теперь такое признание может показаться странным, а иные сочтут это и чем-то недостойным. Балет Делиба до такой степени повсеместно истрепали и испошлили, что о нем даже чуть неловко говорить серьезно. Необходимо даже иметь для того известную долю храбрости. Эту храбрость я и черпаю всё из той же силы воздействия, которую испытал тринадцати-четырнадцатилетним мальчиком. Надо прибавить, что тогда соединились особенно счастливые условия для такой оценки «Коппелии». Начиная с оркестра, который под управлением тончайшего музыканта Р. Дриго, боготворившего Делиба, передавал всю кружевную тонкость партитуры, — всё в тогдашнем петербургском исполнении «Коппелии» было идеальным. До чего просто и убедительно разыгрывалась не хитрая, но занимательная интрига, до чего блистательно были поставлены бравурные пляски мазурки и чардаша и упоительный финальный галоп. Как выгодно для различных артистов были придуманы их

[3] Дальнейшими этапами этого самонахождения я считаю увлечения Вагнером, Римским, Мусоргским, Чайковским.

«сольные» номера, среди коих непревзойденными остаются сцены оживления куклы и ее шаловливые танцы. Впрочем, должен тут же сознаться, что как раз на родине Коппелии — в Париже, я (гораздо позже) увидал мой любимый балет в неузнаваемом и *искаженном* виде, тогда как у нас он до конца существования Императорских театров, сохранил верность стилю той постановки, которую я сподобился увидать в свои отроческие годы. Очевидно, эта постановка была построена на столь прочной основе, что поколебать не удалось и в течение полувека дальнейшего ее появления на русской сцене. Менялись исполнители, менялись дирижеры, но попрежнему оркестр зажигал не только артистов на сцене, но и зрителей. Попрежнему в начале II-го действия создавалось очаровательно «шутливо-мистическое» настроение, попрежнему в сцене опьянения и наследники Гердта в роли Франца, и наследники Стуколкина в роли Коппелиуса были убедительны, попрежнему всё третье действие было полно подлинного настроения праздника...

Кстати, об этом третьем действии. В Париже одно время его перестали давать, и это из какого-то ложно понятого пиэтета к памяти Делиба. Считается, что здесь мы имеем сотрудничество двух авторов — француза Делиба и немца Минкуса, причем трудно определить, что именно принадлежит первому, а что второму. Такой пиэтет неуместен. Правда, третье действие не более, как «дивертисмент», какой-то придаток к главному (тогда, как «пьеса» кончается с момента бегства Сванильды из кабинета Восковых фигур), и всё же этот придаток необходим для полноты впечатления. Кто бы ни был автор, но и «Марш колокола», и «Галоп», и «Танцы часов», и «Молитва» — настоящие музыкальные перлы. Что же касается «Крестьянской свадьбы», то это уже неоспоримо Делиб, и в его чудесном красочном творении едва ли найдется что-либо равное этому шедевру! И до чего же мягко, гладко, грациозно, игриво и серьезно исполнял этот скользящий танец бесподобный в своем роде танцор Литавкин! Вот когда оживал во всей своей свежести и грации XVIII век, вот что лучше, нежели и самые изощренные слова, помогло мне познать самую суть это-

го очаровательного, столь нелепо охаянного времени, являющегося на самом деле одним из кульминационных пунктов всей истории культуры... И еще два слова о «профанации». Если Гуно обвинять в «профанации» Гёте (о, глупость неблагодарной толпы, в которую входит и вся клика якобы передового снобизма), то и Делиба обвиняют в известной профанации Гофмана. Я ли не поклонник последнего? Ведь и он столь жуткий, столь близкий, столь «насквозь поэтичный», Эрнст Теодор Амадеус является моим кумиром и художественным путеводителем. Вот еще кому я обязан созданием своей «меры вещей». Но именно благодаря этой самой мере, я не могу согласиться с тем, что Делиб повинен в какой-либо профанации, когда он передал на свой лад сюжет сказки «Der Sandmann». Правда, у Гофмана царит «великий серьез», es ist sehr ernst gemeint, тогда как у Делиба всё носит характер потешной шутки. Однако, я убежден, что, если бы Гофман услыхал музыку Делиба, он первый пришел бы в безоговорочный восторг. Получилось, во всяком случае, не уродливое искажение, а нечто самодовлеющее в своей убедительной прелести.

Считая, что я уже достаточно пространно рассказал о всем моем увлечении балетом — в отдельной книге[4], я не стану в этих своих общих мемуарах особенно распространяться на эту тему. Однако, ряд балетных впечатлений, полученных на заре жизни, был слишком значителен для формации моей личности и моего творчества и обойти их здесь молчанием я не могу.

В том же году, когда я «открыл» «Коппелию» и когда получал на каждом спектакле этого балета непередаваемую радость, я познакомился и с «Жизелью». Этот балет, ставший последние годы во всем мире одним

[4] Вышла в английском переводе, в 1941 г., под заглавием: «Reminiscences of the Russian Ballet».

из самых излюбленных, был в те годы в загоне, его давали редко, а наши балерины избегали брать на себя главную роль. Я же увидал «Жизель» случайно на каком-то утреннике 1885 года. Танцевала не Вазем, не Соколова, не Никитина, а не очень любимая публикой, костлявая, несколько угловатая, некрасивая и слишком большая Горшенкова, впрочем, считавшаяся хорошей техничкой. Зал был наполовину пуст и, вероятно, спектакль этот был дан «на затычку» — чтобы утешить мало пленительную и лишь «уважаемую» балетоманами танцовщицу. Декорации ветхие, выцветшие, костюмы «сборные». Да и я сам забрел в театр один без Володи, не из любопытства, а так — от нечего делать. И однако этот спектакль оказался одним из самых значительных и произвел на меня впечатление прямо ошеломляющее. Оно было настолько сильно, что я с того же дня сделался каким-то пропагандистом «Жизели». В последующие времена я в разговоре с директорами театров — с Волконским и с Теляковским, настаивал на ее возобновлении, причем с момента, когда стала выдвигаться юная Анна Павлова, моей мечтой было увидать ее в этой роли. Наконец, я добился от Дягилева, чтобы во второй же сезон наших балетных спектаклей в Париже была включена «Жизель» (в моих декорациях и костюмах) и именно с Павловой. На самом деле получилось не совсем так. Жизель мы дали, но Павлова в последний момент подвела, отказалась, соблазненная каким-то более выгодным предложением, и ее заменила Карсавина. Но от этого ни мы, ни всё исполнение балета нисколько не потеряли. Успех выдался «Жизели» с Карсавиной решительный и именно с этого триумфа это очаровательное произведение французской романтики, совершенно было позабытое на родине, делается чем-то почти модным и его включают в репертуар всевозможных предприятий, и самые знаменитые балерины считают за честь в нем выступать.

Я не утерпел перед соблазном забежать далеко вперед и упомянуть о дальнейшей судьбе «Жизели», но, разумеется, в тот день, когда мне выдалось счастье увидать этот балет впервые, я, тогда еще безбородый юнец, не мог себе вообразить всё, что должно было произойти.

И на сей раз я не увлекся артисткой, исполнявшей роль «Жизели», а именно самой «Жизелью», всей печальной историей героини. Исключительная прелесть этого балета заключается именно в «истории» совершенно неправдоподобной и всё же с полной убедительностью переданной в необычайно сжатой форме «милым Тео», ставшим с тех пор одним из моих идеалов, а в одном случае и прямым вдохновителем: сюжет моего «Павильона Армиды» навеян одной фантастической повестью Теофиля Готье. Впрочем, не следует умалять и значение музыки Адама. Она не принадлежит к первоклассным шедеврам, она не может идти в сравнение с музыкой Делиба (или Чайковского), но два-три номера до того удачны и милы, это такие находки, что именно они в значительной мере способствуют какому-то исключительному воздействию балета на зрителей. Особенно это касается знаменитого аллегро-лурэ, в котором при первом его появлении столько любовной нежности, так передано любовное счастье, и которое при репризе (в сцене сумасшествия) вызывает почти невыносимо щемящее чувство. Пожалуй, не найти чего-либо, что так бы заражало настроением, как эта, как будто простенькая и всё же единственная в своем роде мелодийка... В описываемый период я уже совершенно отвык от слез; тем не менее мелодия аллегро-лурэ (равно, как и некоторые вальсы Шуберта в обработке Листа) неизменно вызывали во мне известное «щипание в носу» и я должен был удерживаться, чтобы не разрыдаться.

Следующее мое театральное, балетное увлечение уже совершенно выпадает из периода «детства», но я не могу не коснуться здесь и его в связи с предыдущим. Оно является увенчанием того внутреннего процесса, какого-то вкусового созревания, которое началось с «Коппелии» и «Жизели»[5] и привело к образованию самых

[5] В этом процессе оказала немалое воздействие и итальянская опера.

основ моего художественного понимания. И это театральное увлечение было вызвано балетом, но на сей раз я увлекся не каким-либо произведением (как это было с «Коппелией» и «Жизелью»), а произвела на меня глубочайшее впечатление исполнительница, артистка. То была Вирджиния Цукки, появившаяся в Петербурге летом 1885 года. Мне только что минуло тогда пятнадцать лет, но во многих отношениях я себя чувствовал старше и был несравненно развитее большинства своих сверстников. Посему и мое увлечение Цукки нельзя отнести к каким-либо детским ошибкам.

Повторяю, я не хочу здесь возвращаться к тому, что изложено в моих специально балетных воспоминаниях. Ограничусь напоминанием нескольких фактов. Впервые я вижу Цукки в конце июня или в начале июля в оперетке «Путешествие на луну» в загородном театре антрепризы Леонтовского «Кинь грусть». В этих выступлениях итальянская балерина появлялась в небольшом и довольно скромном танце, не имевшем отношения к сюжету оперетки. Ее еще не знает широкая публика и она танцует при пустующем зрительном зале. Я сразу подпадаю под шарм совершенно новой ее манеры, покидаю тееатр с ощущением чада в голове и затем предпринимаю раз пять то же длинное путешествие на Острова только, чтобы в течение трех-четырех минут любоваться, как, под музыку популярного, но довольно пошленького вальса «Nur für Natur», Вирджиния, точно подгоняемая каким-то дуновением зефира, пятясь мельчайшими шажками, скользит по полу сцены. В этом танце была самая подлинная поэзия, публика не могла оставаться равнодушной и требовала еще и еще повторений. В середине июля, я уезжаю на полтора месяца гостить в имение в Харьковскую губернию и по возвращении застаю уже совершенно иную картину, совершенно иное настроение. Теперь о Цукки говорит весь город, а вовсе не одни только балетоманы. Места в тот же недавно пустовавший театр «Кинь грусть» берутся с бою, и без помощи барышников туда не попасть. Этот фантастический взрыв успеха артистка завоевала выступлением в отрывках балета «Брама» — и особенно она потрясла зри-

телей в сцене, которая ей давала возможность показать всю силу своего темперамента, всю бесподобную убедительность ее мимики. Мое начавшееся увлечение вступает в новый фазис и я начинаю «безумствовать». Когда же становится известно, что Цукки после своего выступления перед царской семьей в Красном Селе ангажирована с осени в наш Большой театр, то я готовлюсь к этому счастью с каким-то особенным возбуждением. Мой друг Володя вполне разделяет мою лихорадку, и мы являемся в театр на первое выступление Цукки на Императорской сцене, как на великий праздник, готовые и к тому, чтобы, в случае надобности, вступить в борьбу против той кабалы националистически-настроенных балетоманов, которые якобы поклялись устроить скандал заморской звезде. Но никакого скандала не получилось; видимо, кабала «поджала хвост» перед тем энтузиазмом, который Цукки возбудила, как только выступила в виде оживленной мумии дочери фараона. Весь спектакль прошел затем при сплошных бешенных овациях, аплодисментах и криках, а временами слышался резкий голос великого князя Владимира, доносившийся из нижней Царской ложи (где обыкновенно сидели «Августейшие»), голос произносивший на весь театр слова: «Браво, Цукки».

И действительно то, что увидал тогда Петербург, было нечто совершенно новое. Куда девалась известная академическая чопорность, считавшаяся одним из главных достоинств русской балетной школы? Не только Цукки воплощала собой жизнь девушки, полной страсти, любви и нежности, но все вокруг нее были заражены «эманациями ее гениальности». Гердт был прямо неузнаваем. Он вдруг утратил всякий намек на привитую ему казенную выправку, он был совершенно заодно со своей новой партнершей. «Дочь фараона» — этот громоздкий, тяжеловесный, бесконечно длинный и уже тогда успевший стать старомодным балет выбрала себе для бенефиса Евгения Соколова, но она внезапно заболела и вот только что прибывшую из-заграницы Цукки заставили, чтобы спасти положение, в одну неделю разучить роль Аспичии, в сущности мало для нее подходя-

щую. И произошло следующее: когда после нескольких недель выздоровевшая Соколова в свою очередь предстала перед публикой в той же роли, то это показалось до того пресно, тускло, что даже самые ее верные поклонники не могли скрыть своего разочарования. Правда, Соколова провела свою роль с большим благородством более приличествующим царевне, но что это значило после волнующей жизненности Цукки?

Вся сила искусства Цукки заключалась именно в том, что это была сама жизнь, она не исполняла какой-либо порученной ей роли, а вся превращалась в данное действующее лицо. Сам Мариус Петипа, сначала споривший с поступившей под его начало новой артисткой, постепенно подпал под ее шарм; вернее, будучи сам подлинным художником, он оценил по-должному то, что было в Цукки «самого главного», что горело в ней подлинным священным огнем.

И тогда раздавались голоса критиков, иногда и очень злобные. Если память мне не изменяет — это С. А. Андреевскому принадлежит стихотворение, имевшее большой успех среди балетоманов старой школы, начинавшееся со строк: «Всё Цукки да Цукки, знакомые штуки»... и в заключение прославлявшее имена вполне классических танцовщиц — «священные тени Лимидо, Дельэры». Вообще критики ставили в вину Цукки самую необузданность, с которой выражались ее чувства, и то, что в этом было нечто чересчур человечное, следовательно вульгарное. Раздавались и критики чисто технического порядка: сожалели, что она танцовщица terre à terre, что в ней «мало баллона», что она недостаточно высоко подымается над полом сцены. Но можно ли вообще говорить о таких недочетах, когда на лицо главное и это главное есть жизнь. Бывают художники, перед глазами которых как бы отверсты небеса и они беседуют непосредственно с ангелами и богами. Это чудо чудесное и человечество вправе видеть в них представителей какого-то высшего начала. Таковы Сандро, Леонардо, Микель Анджело, Рафаэль, Тинторетто... Но иные художники остаются на земле, они «лишены поле-

та», и, однако, они действуют на нашу душу с неменьшей силой, а в общем они даже ближе к нам, более доступны, более родственны.

К таким земным почвенным и все же пропитанным поэтичностью явлениям принадлежала и Цукки. Это не была Сильфида (и едва ли она была бы хороша во втором действии Жизели, когда бы ей пришлось изображать бесплотную Виллис), но там, где требовалось присутствие на сцене олицетворения женщины и всего чисто женского обаяния, там Вирджиния была незаменима и являла предельную убедительность. Невозможно было не верить, что она искренно переживала те чувства, которые она выражала и не только мимикой своего отнюдь не красивого, и однако сколь значительного и милого лица, но и всеми движениями своего тела — то порывистыми, то бурными, то мягкими и нежными до предельной степени. И опять-таки этот ее удивительный дар говорить без слов выражался не только в драматических сценах, но и в любом танце. Я помню, например, тот, не столь уже замечательно поставленный и чуть нелепый танец, который она исполняла во втором акте «Дочери фараона» на празднике, устроенном ее царственным отцом в честь прибывшего в качестве жениха Нумидийского царя. В афише этот номер значился под загадочными словами «Danse du Théorbe oriental». И вот даже в этом курьезном, чуть угловатом танце Цукки была умилительна и трогательно прекрасна. Я знаю людей, которые плакали, буквально проливали слезы на спектаклях Цукки и вовсе не потому, что данная драматическая ситуация в балете становилась уже очень щемящей, а потому, что это было так хорошо! И хорошо это было потому, что было исполнено жизни, что здесь налицо было то искусство, в котором уже не видишь и тени искусственности. Настоящее чудо!

Глава 4

КУШЕЛЕВКА

Должно быть желание быть поближе к своей старшей дочери, ожидавшей рождение второго ребенка, а также необходимость для папы часто бывать на постройке колокольни при церкви на католическом кладбище (на Выборгской стороне), побудили моих родителей летом 1877 года поселиться на Кушелевке. Здесь уже второй год жила сестра Камишенька со своим Матом и с первенцом Джомми. Кушелевкой называлась дача под Петербургом графов Кушелевых-Безбородко, расположенная, не доезжая Охты, по набережной Невы. Рядом по Неве стояли и другие роскошные и менее роскошные дачи, среди которых особенно выделилась в дни революции 1917 года дача Дурново с ее торжественной колоннадой, приютившая одну из главных штаб-квартир торжествующего пролетариата. Недалеко от нее сохранилась и другая барская дача изящной классической архитектуры, служившая резиденцией директора чугунно-литейного завода. Однако, ни этот домик, ни дача Дурново не могли идти в сравнение с Кушелевкой.

В 50-х годах XIX века пышный и расточительный граф Кушелев мог еще, не рискуя ударить в грязь лицом, дать во дворце своего предка — знаменитого канцлера, пристанище «самому» Александру Дюма-отцу и в эти годы на Кушелевке протекала роскошная, полная барских прихотей, жизнь. Но с тех пор под боком у пар-

ка выросла на Охте английская бумаго-прядильная фабрика, и одно ее красное здание, с трубой, выбрасывающей клубы черного дыма, и с ее непрестанным шумом, совершенно изменило характер всей округи. Кроме того, пробудившаяся страсть к наживе посредством продажи земельных участков, толкнула и наследника графов Кушелевых графа Мусина-Пушкина расстаться с некоторой частью своей усадьбы, и как раз в 1875 году было построено на одном из таких участков (в двух шагах от дворца) другое не менее грандиозное нежели бумагопрядильная фабрика, здание — Славянский пивоваренный завод, тоже с трубой, с дымом и со своими своеобразными шумами.

Склонностью графа Мусина-Пушкина «реализировать» свои земли воспользовался и мой дядя Сезар Кавос — человек и сам по себе предприимчивый, а тут еще подпавший под влияние нового члена нашей семьи, мужа моей сестры Камиллы, М. Я. Эдвардса, уговорившего дядю вложить некоторый капитал в канатную фабрику. Под это предприятие и был дядей приобретен еще один значительный кусок парка, и в 1876 году было там заложено первое здание завода, выросшего затем в течение нескольких лет в целый фабричный поселок.

Обе фабрики, пивоваренная и бумагопрядильная, расположенные на берегу Невы, теснили с двух боков усадьбу, созданную для досугов Екатерининского вельможи, тем не менее в 1877 году и дворец, юстроенный Гваренги, и гранитная пристань, спускавшаяся монументальными лестницами до самой Невы, а также и многие постройки, разбросанные по парку, были еще в целости. Несколько комнат во дворце снимали в первое время после замужества Эдвардсы, и я помню ту пустую, отделанную под гладкий мрамор залу, в которой, под огромной люстрой, в полной диспропорции, ежился их маленький, круглый обеденный стол. Вход к сестре был из сада, но не через дверь, а через окно, к которому приходилось подыматься по чугунной, пристроенной к фасаду лестничке, тогда как из сеней дворца не было хода в их, выкроенную из парадных апартаментов квартиру. Эд-

вардсы прожили там лишь год с небольшим, а затем переехали в домик, стоявший неподалеку в парке и наконец поселились в специально построенном доме уже в непосредственном соседстве с канатным заводом.

При прежних хозяевах в самом парке, немного в стороне от дворца, было выстроено несколько дач, частью служивших помещением для гостей, частью сдававшихся в наем. Самый милый из этих домиков, украшенный балконом на четырех колоннах и стоявший довольно близко от входных ворот, сняли мои родители, отделив половину его, недавно тогда женившемуся брату Альберу. На других же кушелевских «дачах» проживали приятель М. Я. Эдвардса — шотландец Нетерсоль с женой и двумя малолетними дочерьми, милейшее немецкое семейство «Лудвигов» и еще какие-то господа, не нарушавшие общей мирной гармонии, царствовавшей между дачниками. Единственно, что в тот первый наш кушелевский год вносило некоторый диссонанс — это то, что самая крупная из дач была сдана под общежитие пришлых издалека (не охтенских) рабочих, занятых на начавшем уже свою деятельность канатном заводе, но и этот люд вел себя тихо и скромно. Их даже никогда не было видно в нашей части парка; они рано уходили на работу, когда еще все спали, возвращались в полдень часа на два для обеда и отдыха и снова приходили вечером на ночевку, причем путь их через парк лежал в стороне от нашего обиталища. Никаких скандалов и пьяных дел мне не запомнилось.

На Кушелевке мы жили в 1877, в 1878 годах и затем еще в 1882 году, и вот эти три лета дали мне очень много. Разумеется, я тогда не мог вполне сознавать то, чему я был свидетелем, а именно, что на моих глазах происходило разложение остатков славного прошлого. Но когда папочка бранил меркантильность графа Мусина-Пушкина, когда он с горечью вспоминал, какой Кушелевка была в дни его молодости, когда «Лудвиги» мне рассказывали про те празднества, которых они сами «совсем еще недавно» были свидетелями, когда другие старожилы сообщали подробности о том, какие в парке

стояли статуи и вазы и как чисто содержались каналы, по которым скользили золоченые гондолы, то всё это вызывало во мне смутную печаль, а то, что доживало свой век на прежних местах, пробуждало во мне род тревожного предчувствия, как бы и это всё не погибло. Оно и погибло, но уже значительно позже.

За год до того, как мы поселились на Кушелевке, и как раз, когда строился Славянский завод (строителем которого был мой двоюродный брат — Жюль Бенуа), я в первый раз посетил Кушелевку и в это первое мое посещение меня больше всего поразила Руина. Это была одна из тех затей, в которых, в предчувствии романтических веяний, уже в XVIII веке, выразилась мечта о средневековье. Руина эта, построенная в дни Екатерины, знаменитым Гваренги (изображение ее имеется в увраже, посвященном его творению), должна была представлять развалины замка, с «уцелевшей» круглой башней. О Гваренги я тогда не имел никакого понятия, о средневековье — весьма смутное и скорее «сказочное», зато я, как многие дети, был легко возбуждаем всем, что просто носило отпечаток таинственности. Не возьми меня тогда папа за руку, я бы ни за что не решился пройти мимо этих поверженных на землю грандиозных колонн и карнизов и взобраться по заплесневелым валким ступеням нескончаемой, как мне показалось, винтовой лестницы. Но с папой страх исчезал, а вид, открывавшийся с верхней площадки Руины, мне очень понравился. По ту сторону Невы, отражаясь в ней, сияли главы Смольного монастыря, на первом плане возвышалось внушительное здание Безбородкинского дворца, по другую сторону — сливался с далекими лесами парк, в котором белели павильоны и статуи. Там же, где готовилось сооружение пивоваренного завода, почва была вся разрыта для фундамента, лежали груды мусора, балки, доски, кирпичи. Естественно, что, когда мы в 1877 году поселились на Кушелевке, я первым долгом попросился на Руину, но оказалось, что Руины больше нет; ее «пришлось снести» под какие-то сараи для пивных бочек и мне кажется, что именно тогда я в первый раз понял (не зная самого слова) ужас художественных вандализмов.

Я даже возненавидел своего кузена Жюля, по распоряжению которого совершился этот чудовищный поступок, погубивший то самое, что в памяти у меня осталось, как чудесный сон.

Наше поколение, заставшее еще массу пережитков прекрасной старины и оказавшееся в то же время свидетелем начавшейся систематической гибели этой старины под натиском новых жизненных условий (и теорий), не могло не воспитать во мне какую-то особую горечь при виде совершавшегося процесса, находившегося в связи со всё большим измельчанием жизни. Всё на свете подчинено закону гибели и смены. Всё старое, отжившее и хотя бы распрекраснейшее, должно в какой-то момент уступить место новому, вызванному жизненными потребностями и хотя бы уродливому. Но видеть, как распространяется такая гангрена и особенно присутствовать при том моменте, когда гангрена только еще чего-либо коснулась, когда обреченное тело в целом кажется еще здоровым и прекрасным, — видеть это доставляет ни с чем несравнимое огорчение. Подобные ощущения чего-то бесконечно печального и жалкого, испытанные мной в детстве, оставили глубокий след на всю жизнь. Они, несомненно, предопределили мой исторический сентиментализм, а косвенно мои «кушелевские настроения» сыграли свою роль в образовании того культа прошлого, которому в начале XX века, со мной во главе, отдавалась значительная группа художественных деятелей, ставящих себе целью убережение исторических и художественных ценностей. От «моей» Кушелевки к созданию «Художественных сокровищ России»[1], к работе в редакциях «Мира искусств» и «Старых годов» наконец, к образованию Общества охраны памятников, — лежит прямой путь.

Кушелевский парк, называвшийся также Безбородкинской дачей, занимал неправильный четырехугольник, тянувшийся одной стороной по Неве и уходивший в глубину, пожалуй, на целую версту. Почти посреди набе-

---

[1] «Художественные сокровища России» — художественно-исторический сборник, созданный мной в 1901 году.

режной стоял (а может быть уцелел и до сих пор) летний дворец канцлера князя Александра Андреевича Безбородко, состоявший из массивного трехэтажного корпуса с фронтоном и двумя круглыми башенками по бокам. От этого корпуса шли полукруглые галереи, упиравшиеся в два флигеля, выходившие на самую набережную. От одного флигеля к другому тянулась ограда, состоящая из ряда сидящих львов, через пасти которых была продета тяжелая железная цепь. Двое ворот закрывали вход в передний палисадник, усаженный кустами сирени. По другую сторону набережной улицы, ровно против середины дворца, была расположена гранитная терраса с железными решетками и гранитными же сфинксами. По бокам террасы, по склону берега, спускались к нижней площадке две, тоже каменные лестницы, а под террасой был род сводчатого погреба (какие мы видим на композициях Гюбера Робера), служивший в 1870-х годах жилищем для рыбаков. От этого «грота» к воде, во всю ширину пристани, шли опять каменные ступени.

В сад Безбородкинский дворец выходил террасой с перильцами кованого железа. Широкая липовая аллея, подходившая к самому садовому фасаду, была уставлена по обе стороны мраморными бюстами римских императоров; она доходила до моста, украшенного опять-таки львами, а конец этой аллеи упирался (с 1877 г.) в деревянный забор, отделявший участок завода «Нева» от остального парка. Слева от дворца, в саду под деревьями, возвышалась грациозная беседка, так называемый «Кофейный дом», похожий на Турецкий павильон в Царском селе. Внутри этот дом был расписан по желтому фону птицами и арабесками, но уже в 1877 году он служил складом всякой рухляди и, глядя через щель в запертой двери, можно было различить внутри груды ломаных скульптур вперемежку со скамьями, столами, частями решеток и с садовыми инструментами. Еще более влево от дворца стояла до 1876 года, на довольно открытом месте, помянутая Руина, назначение которой было служить «бельведером», а рядом находился, построенный в стиле английской готики, дом управляюще-

го, в котором в наше время варил свой портер и джинджербир помянутый мистер Нетерсоль. Около готического дома возвышалась простая триумфальная арка, через которую, как гласило предание, не раз въезжала на праздники, дававшиеся графом Безбородко, сама матушка Екатерина Великая. Вправо от дворца парк был замкнут со стороны набережной глухим дощатым забором с каменными столбами. Ближайшие к Охте ворота в нем и вели к дачному поселку, в котором жили и мы. Почти у самых ворот, рядом с небольшой двухэтажной желтой дачей, сохранился гранитный пьедестал, на котором когда-то стояла ваза, каменная крышка которой всё еще валялась тут же в траве; другая прекрасная ваза полированного гранита уцелела недалеко от завода моего зятя. Кубический домик с купольным прикрытием (типичный для Гваренги), рядом с нашей дачей, служил жилищем полуглухому дворнику Сысою и его сварливой старухе; но когда-то эта сторожка была баней-купальней и сам Александр Дюма в ней парился.

Запущенная дорожка вела от ворот в глубину парка, изобиловавшего деревьями всевозможных пород. Столетние дубы, березы, липы, ели стояли то сплоченными рощами, то образовывали центр небольших полянок. Дорожка приводила к деревянному «китайскому» мостику, от китайского убора которого оставались лишь жалкие обломки. Однажды хрупкие перила этого мостика, на которые неосторожно облокотился кто-то из наших гостей, подломились и он едва не сломал себе шею, упав в неглубокие воды канала. С тех пор ветхие узорчатые перила были заменены новыми, простыми, но прочными, да и весь мостик переделан на простейший лад.

За мостом возвышалась «горка», обязательная в каждом парке, она вся заросла кустами волчьих ягод, которых я, несмотря на их ядовитость, безнаказанно съедал целые гроздья, поражая всех своим бесстрашием. Еще через несколько шагов, за изгибом канала, открывался вид на главную диковину Кушелевского парка — на Гваренгиевскую ротонду, пожалуй, слишком колос-

сальную по месту, но являвшую собой образцовый памятник классической архитектуры. Ротонда состояла из невысокого гранитного основания и из восьми величественных колонн с пышными коринфскими капителями, поддерживавшими плоский купол, богато разукрашенный внутри лепными кесонами. Колонны были белые, крыша зеленая. Еще в 1860-х годах эта монументальная беседка служила сенью для памятника Екатерины II в образе Кибелы, но в мое время статуи уже там не было и говорили, будто ее граф Кушелев подарил государю. Не та ли это статуя, что стояла в Царскосельском «Гроте»? Сама же ротонда Гваренги простояла, несмотря на отсутствие каких-либо ремонтов, в полной целости до 1890 годов и только тогда она была продана на слом, за грошевую сумму моей кузиной Соней Кавос, которой по наследству от отца принадлежала эта часть парка[2]. Она же лет через пятнадцать нанесла последний удар Кушелевке, продав свою землю по участкам, на которых вскоре выросли самые ординарные дома и домишки. Лишь кое-где уцелевшие среди них деревья и полузасохшие пруды продолжали напоминать о том, что когда-то здесь была расположена одна из самых великолепных барских усадеб.

Влево от ротонды был расположен славившийся когда-то, но постепенно совершенно запущенный фруктовый сад, от которого уцелели лишь несколько кустов одичавшей малины и крыжовника; далее, за главной аллеей, у моста со львами, открывался вид на первый большой пруд, в водах которого отражались два, соединенных одной общей мраморной лестницей павильона. Эти постройки, стоящие уже на территории, принадлежащей Славянскому заводу, напоминали петергофские Озерки.

Первый пруд соединялся посредством пролива со вторым, находившимся в полном владении моего зятя и славившимся своими белыми и розовыми водяными ли-

---

[2] Я узнал недавно, что в момент продажи на слом Ротонда представляла из себя развалину. Чудовищная буря, пронесшаяся над Петербургом, сорвала с нее крышу и повалила одну из колонн.

лиями. Здесь местами на берегах можно было различить остатки гранитных пристаней с терракотовыми скульптурами и здесь же стояла «ферма» — большая, выкрашенная в красный цвет постройка с круглой башней, похожая на ферму в Царском Селе. Рядом с ней, по разбитым мраморным чашам и по уступам из пористого камня, стекала ржавая вода, проведенная по прямому канальчику от железного источника деревни Полюстрово. Деревня эта тянулась «вглубь страны» приблизительно на версту по обеим сторонам помянутого канальчика, воды которого становились всё краснее и краснее по мере приближения их к своему источнику. У самого же источника канал расширялся в виде «ковша», на берегу которого вытянулось длинное выкрашенное в темнокрасный цвет здание — «Заведения Минеральных вод», пользовавшегося значительной славой в 40-х и 50-х годах, но влачившего в наше время самое жалкое существование. В запущенном саду этого «Заведения» оставался от прежнего блеска один лишь киоск для музыки и какие-то покрившиеся бараки для лавочек, но уже в наши дни музыка никогда здесь не играла, а лавочки стояли заколоченными, из чего явствовало, что вера в целебность «железной воды» была поколеблена. Соответственно с этим дачи в Полюстрово, когда-то населенные довольно зажиточными людьми, теперь снимались исключительно мелким людом. Прямо за деревней Полюстрово начинался лес, настоящий лес, куда мы ходили собирать чернику и грибы и в котором, говорили, водились волки и лисицы. С другой стороны Полюстрова открывался далекий простор полей и огородов, а вдали, у самой линии горизонта, едва блистали купола церкви на Пороховых Заводах.

Эта относительная близость с Пороховыми сообщала Кушелевке в моем представлении особенную «тревожную прелесть». Лудвиги рассказывали, что в день «большого взрыва», произошедшего за несколько лет до нашего поселения, все окна дач Безбородкинского дворца, Полюстрова и по всей Охте были выбиты, а земля дрогнула, точно от землетрясения. Проверить такое редкостное ощущение мне не пришлось, но вид Пороховых до-

ставлял пищу моей фантазии. С одной стороны, я боялся, чтобы снова не произошло такого же взрыва, с другой, — мне хотелось что-либо в этом роде пережить. Ведь ребенок уверен, что никакая катастрофа его коснуться не может. Во всяком случае такая уверенность жила в детях тогда, ну а теперь, пожалуй, и у детей подобный «оптимизм» поколеблен.

Отчетливо запомнился мне самый момент нашего водворения в Кушелевке в 1877 году. Мы переехали очень рано, вероятно, в начале мая, когда деревья стояли еще голые, а трава только начинала зеленеть, оправляясь от зимней летаргии; однако, уже масса нежных белых подснежников и других лиловеньких цветочков пробивалась и пестрела по буро-зеленому фону. Здесь, в тот самый вечер, я увидал недалеко от нашей дачи старенького господина, собиравшего букетики именно этих простеньких цветков — для своих, как это он нам поведал, внучат. Старичок тщательно завертывал поникшие цветики и слабенькие стебельки в свой клетчатый платок, и эта картина имела в себе что-то ужасно печальное. Да и самый день выдался серый, унылый, воздух был холодный, а местами всё еще лежал снег. Шумевший вокруг парк казался пустым и неприветливым.

Остался у меня в памяти и первый вечер, проведенный на новом месте. Снятые с только что прибывших возов ящики загромождали пустую дачу. Сено и солома, которыми они были набиты для предохранения посуды от ломки, лежали ворохами на полу, а тарелки, блюда, миски, стаканы, кастрюли стояли с осиротелым видом группами и рядами прямо на полу или на подоконниках и на стульях. На лицах у мамы и у прислуг было то выражение отчаяния, которое у них всегда бывало в этих случаях. Слышались слова: «Один голубой соусник разбит», «Боже мой, забыли кофейную мельницу», «Все ли салфетки?», «Цела ли хрустальная сахарница?» Мамоч-

ка с напускной строгостью, а Степанида и Ольга ласково, взывали, чтобы я посидел спокойно, перестал разрывать солому и оставил бы в покое разные ломкие предметы. Я же как на зло любил переезды именно из-за того состояния кочевого развала, который при этом получался, и я не в силах был совладать с совершенно особенным возбуждением. Начинало темнеть, а я всё еще продолжал шмыгать между ящиками и чемоданами или же глазел в три высоких, лишенных занавесок окна на большой, общий для нескольких дач двор, куда меня из-за стужи не пускали, но который меня поэтому особенно манил. Больше всего меня поразили стаи ворон, с неистовым криком кружившихся вокруг макушек деревьев, отчетливо, всеми своими еще голыми веточками выделявшихся на блеклой заре.

А рано утром меня разбудил странный «шум водопада». Это заработала бумагопрядильная фабрика, стоявшая тут же, за забором, через улицу. Из открытых во всех этажах ее окон вырывались трескотня и сверление сотен прядильных станков и вот это на известном расстоянии и сливалось в могучий гул, не лишенный даже какой-то приятности и похожий на шум водопада. Впрочем, к нему быстро привыкали и даже настолько, что иногда казалось, что фабрика перестала работать и молчит, тогда как ее жужжание и грохот продолжались с утра до вечера с неугомонным неистовством.

С первого же утра началось для меня «исследование окружающей местности». В те времена доставляло мне особое наслаждение, но и ныне я испытываю обостренное любопытство каждый раз, когда оказываюсь среди чего-то, до того невиданного. День был ясный и теплый. Хоть на деревьях еще не было листьев, хоть клумбы нашего собственного садика были еще без цветов, хоть были будни, а не воскресенье (иначе фабрика бы не гудела), хоть в доме всё еще шла возня по уборке и мне некуда было приткнуться — мне казалось, что над Кушелевкой веет праздничное настроение.

Исследование началось с ближайшего — с самой дачи. Не особенно внушительная снаружи, внутри она

оказалась довольно просторной и объемистой. Такому впечатлению способствовал зал, занимавший всю середину дома и выходивший окнами в одну сторону на двор, в другую на передний садовый балкон. Вся правая от зала анфилада из четырех комнат предназначалась под семью брата Альбера и стояла пока пустою, в левой анфиладе я выбрал себе третью комнату, перед ней была спальня папы и мамы, за ней — комната моей бонны, первая же из залы комната была устроена под папочкин кабинет.

Насупротив этого кабинета и тоже с выходом в зал помещалась «чертежная брата» и вскоре там закипела работа его помощников — двух братьев Домбровских, необычайно добродушного Карла (которому, мне кажется, я обязан своими польскими симпатиями) и Владислава, ставшего впоследствии видным архитектором у себя на родине, в Польше. Красивое матовое лицо Карлуши, с острою подстриженной бородкою и великолепными усами, всегда улыбавшееся, всегда ласковое, а также вся его аккуратненько и чистенько одетая, довольно плотная фигура, живет в моей памяти с полной отчетливостью именно на фоне окон нашей Кушелевской дачи, в которые через деревья кое-где сквозили стены Красной фабрики. Я точно слышу и мягкую картавую речь Карлуши, его изящный польский акцент. «Меня нисколько не тревожит этот шум, — была его первая фраза после проведенной ночи, — я под него спал прекрасно, мне казалось, точно я на Иматре».

Кухня помещалась в отдельной избе, соединенной с господской половиной крытым переходом, по валким доскам которого (вся дача была очень древняя и, вероятно, десятки лет не реставрировалась), я поминутно бегал, так как из этого перехода я попадал и в небольшой дворик, отделенный сквозным трельяжем от настоящего сада. Это огороженное, замкнутое со всех сторон место я выпросил себе и оно стало особенно милым с момента, когда выросшие бобы совершенно закрыли зеленый переплет трельяжа и стало здесь, «как в комнате». Мне этот дворик сразу так понравился, что я, чуть ли не в

первый же день, стал устраивать в нем «свой собственный сад», принялся проводить годные для лилипутов дорожки, обкладывать их камушками, рыть канавы и круглые бассейны — причем, к огорчению бонны, самым жестоким образом пачкался. Увы, первый же дождь размыл мои труды, после чего уже заправский садовник посадил там резеду и душистый горошек, что и придало моему садику прелестный вид и чудесный аромат.

Это замкнутое, уютнейшее место стало моей обычной резиденцией, так как и в дождь там можно было укрыться под навесом кухонного перехода. Здесь, за низеньким своим столиком я рисовал, разглядывал книжки с картинками, здесь же, в исключительных случаях, я поил шоколадом девочек Нетерсоль и маленьких дочерей какого-то фабричного управляющего. Иногда в садике разбивалась палатка, для чего, как я уже рассказывал, ставилась метла, на нее накидывался старый плед, концы которого привязывались к четырем колышкам. Мама не очень поощряла эту последнюю забаву, ибо, забираясь в палатку со своими гостями, я уже уходил из-под надзора старших. Однако в те годы всякие опасения, как бы Шуренька не вздумал «делать глупости с этими девочками» были напрасными. Да и подруги мои были такие тихие, скромные, робкие. Мне стоило больших трудов хоть немного развеселить их. Шоколад и другие лакомства они вкушали с фасоном, и всё спешили уйти, не поддаваясь соблазну разглядывать картинки или сыграть партию в лото. Вообще же страсть к палатке была во мне до того сильна, что в дождливые дни я ее устраивал в полутемной зале. Если щетку я ставил прямо, то получался скорее большой зонт и слишком всё было открыто, но если ее наклонить, а плед привязать к положенным на бок стульям, то выходило нечто, подобное жилью бедуина, и всё это представлялось верхом укромности. Как становилось тепло и даже жарко в этом убежище, несмотря на то, что через открытую на балкон дверь проникал сырой воздух и видно было, как лили дождевые потоки. Совершенно не страшна была гроза, когда чувствовал над собой не только крышу дома, но еще и мою собственную крышу, образованную пледом.

Однажды, впрочем, когда уже очень в этом «обиталище кочевника» стемнело, я чуть было не наделал пожара, вздумав — для придачи уюта — зажечь в нем взятую с рояля свечу. Услыхав запах горелой шерсти, мама вбежала в ужасе, но всё обошлось благополучно и лишь большая дыра в пледе осталась напоминанием о том, что большие называли «Шуриной шалостью».

Вселенье, через несколько дней после нас, Альбера с семьей очень оживило наше житье-бытье. В то же время оно сразу лишило его тишины. Сам Альбер, настоящий природный — «душа общества», не мог долго оставаться в покое, но так как из Кушелевки трудно было предпринимать пикники (проектировавшийся пикник в Шлиссельбург на пароходе, так и не состоялся), то эта его способность выражалась здесь во всяких домашних увеселениях. Как раз дни рождения отца, именины мамы, Камиши и жены Альбера представляли ему желанные предлоги для фестивалей, иллюминаций и фейерверков. Особенно мне осталось памятным празднество 22 июля (именины Марии Карловны), когда наш затейник вздумал усовершенствовать традиционную иллюминацию тем, что бесчисленные фонари он изготовил домашним способом из пестрого ситца. Часть молодежи (откуда только он ее набрал!) пилила и рубила деревянные дощечки, служившие донышком для фонарей, другая сшивала самую материю, третья (я в том числе) сверлила дыры для свечей. Надлежало, кроме того, приколачивать материю гвоздями к дощечкам, приделать проволочные подвески и обтачивать слишком толстые стеариновые свечи. Возни было много, всякого добра испорчено без счета, а эффект не оправдал этих усилий и затрат. Он получился настолько тусклый и неказистый, что пришлось всё же прибегнуть к традиционным бумажным фонарям, благо у нас всегда бралась их на дачу целая большая корзина.

Не надо при этом думать, что Альбер был каким-то тунеядцем и бил баклуши. Он тогда вел уже вполне самостоятельные постройки и, кроме того, по службе в Страховом обществе постоянно должен был отправлять-

ся на пожары или на погорелые места в разные концы города, а то и предпринимать далекие поездки по провинции для составления оценок или для проверки погибшего имущества. Надо при этом заметить, что зрелище пожаров доставляло ему столько же удовольствия, сколько иллюминации и фейерверки. С жадностью слушал и я его возбужденные рассказы о них и особенное впечатление производили на меня по памяти набрасываемые им изображения этих бедствий. С этого же лета 1877 года он с удвоенным рвением стал заниматься этюдами с натуры, что постепенно и создало ему большое имя в художественном мире и благодаря чему он впоследствии зарабатывал не мало денег.

Особенно излюбленным местом для его живописных этюдов была Невская «тоня», находившаяся как раз недалеко от ворот парка. Под тоней подразумевается рыболовное предприятие артельного характера. Наша тоня состояла из деревянной, утвержденной на сваях пристани, на которой помещался ворот (кабестан) для наматывания невода и деревянная лачужка, служившая жилищем для рыбаков. О тоне я говорю подробнее дальше. Сидя на помосте тони, можно было любоваться удивительными видами: прямо насупротив высились церкви и часовни Смольного монастыря, слева по берегу было расположено предместье Охта с ее церковью и с громадными старинными верфями; вправо виднелись далекие маковки и шпили петербургских церквей и водонапорная башня. Особенную живописность придавали пейзажу пестро расписанные дровяные барки, коими были заставлены оба берега реки или которые плыли гуськом, привязанные к буксиру. Сколько раз Альбер возвращался к этим действительно бесподобным мотивам. Вообще он не знал усталости. Если вечер выдавался ясный, с теми удивительными небесами, какие только и можно видеть в Петербурге, да еще в Венеции, — то он, едва вернувшись со службы часов около шести, наскоро закусив и забрав свои художественные принадлежности, летел со всех ног на тоню. И то художественное возбуждение, которое им тогда овладевало, способствовало успеху. Это лето было одним из важнейших в его развитии, и

«Кушелевские» акварели Альбера Бенуа, сделанные с редкой уверенностью и простотой, в порыве энтузиазма, я лично предпочитаю всему остальному в его творении[3]. В них еще нет и намека на те влияния, которым он подвергся в позднейшее время, когда он сделался любимцем публики и российской знаменитостью. Останься Альбер таким, каким он был в те ранние годы, он приобрел бы со временем европейское имя. Таких художников, каким он обещал быть, не много и на Западе.

Надо прибавить, что подвижность Альбера не была беспокойной для других, назойливой, шумливой. Правда, он тащил с собой всякого, кто ему попадался по дороге, вследствие чего ему приходилось затем работать в окружении довольно густой группы, что ничуть ему не мешало, но те, кто имел достаточный характер, чтобы противостоять этому урагану, оставались на месте, да и сам этот ураган уносился куда-то далеко от дома. Иным образом нарушала спокойствие и тишину нашего обиталища молодая жена Альбера. На следующее же утро после их переезда был доставлен на Кушелевку большущий рояль Шредера, и не успел он несколько отстояться, как уже Мария Карловна принялась на нем играть гаммы и этюды и разучивать разные труднейшие пьесы. Эта ученая и учебная музыка наполняла в течение шести часов в день наше кушелевское уединение. Что в сравнении с этим ближайшим громом представлял собой отдаленный «водопадный» рокот Красной фабрики. Игра профессиональной пианистки была в то время чем-то совсем иным, нежели на слух подобранные марши и контрдансы папы или робкая игра по нотам мамочки, или даже блестящие импровизации того же Альбера. Тут каждая нота вы-

[3] Куда девались эти ранние этюды Альбера? Большинство их было раздарено им, а то и растеряно. И всё же масса оставалась еще в его папках, но была распродана в тяжелые годы революции, особенно на той сепаратной его выставке, которая была устроена в Доме искусства. Как я ни умолял тогда Альбера не прельщаться обесцененными деньгами — ведь инфляционные «миллионы» не стоили на самом деле и десятков прежних рублей! — он не в состоянии был удержаться от соблазна эти «миллионы» получить и тут же превращать их в несколько фунтов картошки и муки.

стукивалась с редкой отчетливостью, а вереницы их кружились по гулким полупустым комнатам и градом выливались в сад. Даже уходя подальше в парк, я продолжал слышать рулады, пассажи, трели и арпеджио Марии Карловны. Меня особенно раздражало то, что и вещи, которые мне нравились, например, рапсодия Листа или вальс Рубинштейна, Мария Карловна расчленяла, то и дело обрывая на полуфразе и возвращаясь по нескольку раз к тому же, не дававшемуся ей пассажу. Музыка эта мешала слушать чтение моей бонны или же вести какой-либо связный разговор. Уже тогда проявлялось мое, довольно неудобное свойство: любая музыка, будь то даже простая гамма или «Чижик», неминуемо вызывает во мне состояние специфической рассеянности и какую-то неспособность «думать о чем-либо другом». Позже я уразумел, что вся эта шумливая работа необходима для настоящего музыканта, иначе ему не одолеть трудности пианистического мастерства. Слушая ту же Марию Карловну, я впоследствии наслаждался даже тогда, когда она двадцать раз подряд подносила одну и ту же скачущую или бисером рассыпающуюся фразу или, когда нарастала какая-то «подготовка», так и остававшаяся недосказанной. Но семилетний мальчик, ничего еще в музыке не смысливший и при этом всё же очень отзывчивый на музыку, просто страдал от игры своей золовки. Какое я не питал отвращение к прогулкам, как к таковым, к тем прогулкам, которые «надлежало делать для здоровья» и которые заключались в бесцельном шаганьи под присмотром бонны, я всё же соглашался гулять, только бы уйти из дому и не слушать эти катаракты звуков.

А тут еще между мной и Машей возникли и настоящие нелады, о чем я уже рассказал в главе о музыке.

Полной неудачей окончились в то же лето и мои уроки верховой езды. За них принялся брат Коля, только что тогда вышедший в офицеры, обзаведшийся прелестной гнедой лошадью и задумавший научить своего маленького брата тому искусству, которым он уже владел в совершенстве. Коля был тогда совершенным юнцом,

ничем иным кроме, как воинским делом и фронтовой выправкой не интересовавшимся. По натуре добрый, но с грубыми «профессиональными» замашками, он относился ко мне немного, как сержант к отданному ему на муштру рекруту. Естественно, что балованный, чуть даже изнеженный «недотрога и капризуля» Шурка боялся Коли и настолько даже, что прятался от него и подымал крик из-за каждой его ласки, выражавшейся, впрочем, не иначе, как в щипке или в легком дергании за уши.

Тем не менее, когда Коля, приехавший с лошадью погостить к родителям на Кушелевку (ему был предоставлен папин кабинет), спросил маму, не следует ли мне поучиться верховой езде, а мама, вообще мечтавшая усовершенствовать мое весьма недостаточное физическое воспитание, обратилась ко мне с вопросом, не хочу ли я воспользоваться уроками брата, то я согласился с радостью. Мне показалось, что это будет очень эффектно, когда я, как генерал, буду «скакать» на лошади.

Но до скачков у нас не дошло. Уроки Коли длились еще меньше, нежели уроки Марии Карловны. Не желая считаться с моим характером (и возрастом), он сразу взял в отношении меня ту манеру, которая у них была в ходу в полковом манеже, где новички, как мешки, падали с лошади. Посадив меня без седла на свою кобылу, всунув мне в руки поводья, он распустил, как берейтор, корду, встал в центре, хлопнул бичом, и лошадь пошла, описывая широкий круг. И сразу к своему ужасу, я почувствовал, что соскальзываю с ее гладких боков. Не успел Коля подбежать, чтобы меня подхватить, как я уже лежал на траве, а мамочка, тревожно следившая с балкона за этим упражнением, мчалась на помощь.

Удивительно то, что я тогда не заплакал, сам встал на ноги, встряхнулся и опять, «запасшись мужеством», заявил, что готов продолжать с условием, однако, чтобы мне дали седло. Но это не входило в программу кавалерийского воспитания Николая, он насильно меня схватил, посадил на лошадь, причем довольно грубо отогнал мамочку и снова распустил корду. Тут мои запасы мужества иссякли сразу. Вцепившись в гриву и, прильнув

к шее лошади, я стал вопить какие-то угрозы по адресу моего тирана и всё настойчивее требовать, чтобы меня отпустили на землю. Коля собирался пересилить то, что он считал капризом, но мама строго приказала ему снять меня с лошади. И, какое же я испытал отрадное чувство, когда оказался в ее объятиях и ее рука стала гладить меня по голове! Разумеется, после этого о продолжении уроков верховой езды не могло быть и речи и с того самого злополучного дня я и не пробовал взобраться на спину благороднейшего из животных, хотя в течение жизни представлялось не мало соблазнов, а братья, сестры и отец все были очень приличными наездниками... На Колю я долгое время дулся и избегал с ним встречаться.

Католическое кладбище, к церкви которого папочка в этом году начал пристройку колокольни, лежало верстах в двух или трех от Кушелевки, — ближе к Финляндскому вокзалу. Самая церковь очень простая, но изящная, была построена отцом в пятидесятых годах в романском стиле. Нижний этаж был на сводах, и там, в западном углу, был наш фамильный склеп, где под плитами уже лежали умершая в младенчестве сестра Луиза и брат Иша. Уже поэтому семья наша была особенно связана с этой церковью, но кроме того, она теперь сделалась приходской церковью поселившихся на Выборгской стороне Эдвардсов, и мой зять, резностный католик Матью, не пропускал ни одного воскресенья, чтобы не побывать, иногда со всей семьей, на мессе. Прежний фасад без колокольни, надо сознаться, был и цельнее и гармоничнее; такою кажется церковь и была задумана папой. Но теперь, благодаря нашедшимся средствам и в удовлетворение гонора польской колонии, пожелавшей, чтобы церковь более выделялась среди окружающей местности, решено было пристроить колокольню и, по проекту папочки, главный вход в церковь должен был помещаться в ней. Кажется, в 1877 году работы по воз-

ведению колокольни еще не начинались и фундамент был положен лишь весной 1878 года, но во всяком случае папа был занят проектом и часто ездил на кладбище, чтобы совещаться с местным священником-ксендзом Францискевичем. Ксендз приходил к нам часто на дачу и всё это вместе взятое придало нашему кушелевскому пребыванию какой-то оттенок «клерикальности».

У меня вообще был род благочестивой нежности к духовным лицам, но иных — особенно среди поляков-доминиканцев св. Екатерины я как-то побаивался, тем более, что и папочка их иногда «деликатно» поругивал за притворство и лукавство (в качестве синдика св. Екатерины, он был с ними в постоянном общении). Но вот патера Францискевича я полюбил всем сердцем, да и он как будто платил мне тем же. К сожалению, «дружба» наша продолжалась не долго: власти сочли этого безобидного и милого человека, вследствие его популярности, опасным, и его отправили в какую-то дальнюю сибирскую епархию. Случилось, впрочем, это позже, тогда как в течение всего времени постройки колокольни (1878-1879 г.) патер Францискевич был неотлучно в Петербурге, проживая вместе со старухой-матерью в деревянном, покрашенном в черный цвет доме, стоявшем у ворот сейчас же у кладбищенской ограды.

Повторяю, я очень привязался к этому доброму патеру, но и папочка, бывший вообще очень чутким в оценке людей, считал его за исключительно чистого и благородного человека. Однако нельзя сказать, чтобы внешне патер сразу располагал к себе — особенно тех, кто был склонен вообще скептически относиться к католическим духовным лицам. В своей внешности это был «настоящий» и притом комический «тип иезуита» — настолько даже комический, что я, малыш, решался, при всем своем обожании Францискевича, имитировать его повадки, а мои родители, вообще такие дерзости не поощрявшие, в данном случае благодушно над моими имитациями потешались. Добрейшая мамочка даже смеялась до слез, вспоминая со мной те потешные гримасы, с которыми Францискевич отказывался от всякого уго-

щения и всё же затем сдавался и тогда проявлял неожиданный аппетит — вероятно, дома бедняге жилось не слишком сладко. Но и манеру говорить патера я довольно метко перенимал, особенно его специфические французские и русские выражения. У нас в доме никто по-польски не понимал и ему приходилось прибегать к этим иностранным для него наречиям, которыми он владел далеко не в совершенстве. Всё это было в высшей степени курьезно, и всё это могло бы вполне пригодиться для актера, играющего роль Дона-Базилио в «Севильском цирульнике», причем на сцене манеры Францискевича, могли бы показаться утрированным шаржем.

Самое курьезное в патере Францискевиче была его походка и, в частности, его манера входить в комнату. Другие знакомые патеры имели скорее «благородную» и даже величественную манеру «являться» к своим прихожанам; их осанка выражала, что они, в качестве Божьих представителей, делают честь простым смертным и лишь для христианского декорума, протянув руку для поцелуя, они придавали лицу легкий оттенок смирения. Напротив, появляясь в дверях, патер Францискевич сразу перегибался два, три раза в разные стороны, причем руки его подымались в уровень с головой и, открывая ладони наружу, совершали движения, означавшие что-то вроде «не достоин», «слишком много чести», «прошу простить мою смелость». Если бы еще он был человек пожилой, то все эти ужимки имели бы другой характер, но патеру Францискевичу было немного за тридцать лет, лицо у него было молодое, тщательно всегда выбритое и лишь чуть сизое у щек (что вместе с его бледностью как-то подчеркивало его аскетический вид). Роста же он был выше среднего, очень худой, длинный-длинный и казался еще более длинным и тощим из-за своей тесно облегающей черной рясы.

И вот этот «тип иезуита из комической оперы» был на самом деле самый бескорыстный, самый благородный, самый отзывчивый человек, и доброты прямо ангельской. Впрочем, и во внешнем облике эта серафичность Францискевича светилась и убеждала. Особенно же он озарялся, когда служил мессу, что он делал без

всяких гримас, необычайно просто, внушительно и как-то даже строго. Видимо, он весь на эти моменты исполнялся глубочайшего религиозного чувства и совершал обряд не как привычную формальность, а воспламеняясь каждый раз живым экстатическим чувством. А затем надо было видеть, как патер Францискевич разговаривал с бедняками, чуть не плача в ответ на их жалобы, как он извинялся, когда не мог помочь им в желательной мере. На пособия беднякам уходили почти все его доходы и сколько бы он их не получал (получал же он не так уже мало, ибо «с мертвецов доход верный»), он сразу раздавал большую часть, и тогда, как говорили, он нередко целыми днями голодал.

Особенно ярко я помню патера Францискевича именно на Кушелевке, шествующего своей странной, раскачивающейся походкой по аллее, к нашей даче. Когда он шагал, его точно швырял ветер, он точно боролся с ним, а крылатое длинное его пальто развевалось во все стороны, хотя бы стояла тихая погода. И вот едва заметит он «сына высокопочитаемого господина профессора», занятого ловлей лягушек в траве или какой-либо пачкотней на дорожках сада, как сейчас же на ходу он начнет производить весь свой ритуал приветствия, изгибаясь и подымая ладони вверх. Это очень затрудняло исполнение моего ответного ритуала, ибо приходилось на лету завладеть его рукой и приложиться к ней. При этом он приговаривал что-то необычайно ласковое и приветливое, но, к сожалению, непонятное, ибо это было по-польски. Заметив мамочку, он повторял с новым усердием ту же церемонию, произнося на каком-то французском жаргоне выспренное приветствие и, наконец, перед папочкой с ним приключался настоящий танец св. Вита. Однако, как только начиналась между ним и папой деловая беседа, то патер становился непринужденным и очень серьезным. Францискевича папа никогда за глаза не критиковал ни за коварство, ни за интриганство, ни за особенно ненавистное ему «маклачество». Францискевич к тому же был человек образованный, хорошо знал, как богословскую, так и светскую литературу, и даже проявлял кое-какие знания по истории искусства,

что в те времена было большой редкостью. Весьма возможно, что именно эти его исключительные достоинства помогли завистникам изготовить на него какой-то донос, приведший к удалению его из столицы в далекое захолустье.

С постройкой колокольни у меня связано еще одно воспоминание — о «помощнике» папы, архитекторе Бикарюкове, тогда при нем состоявшем. Никого в жизни, мне кажется, не стало мне так жаль, как однажды именно этого молодого, тощего, белокурого человека с жиденькой бороденкой клином. И возможно, что и отца побудила жалость взять его к себе на службу, так как едва ли Бикарюков успел себя засвидетельствовать какими-либо выдающимися способностями и знаниями. Надо при этом заметить, что при необычайной спорости отцовской работы, при его умении со всем поспеть вовремя, при его любви всё делать собственными руками, роль помощника сводилась к минимуму, к чисто техническому черченью, да к наблюдению за подрядчиками и за рабочими, а это мог делать всякий. Впоследствии из Бикарюкова вышел достойный техник; отец его определил к себе в Городскую управу и там он служил многие годы, а в конце концов даже удостоился какого-то академического звания. Обострилась же моя жалость к Бикарюкову в один памятный вечер на Кушелевке. Вечер — был августовский, темный и довольно ненастный. Вся наша семья сидела за чаем; две свечи тускло освещали скатерть, наш древний самовар и какие-то закуски, вся же остальная огромная комната, служившая и столовой, и залой, тонула во мраке. И вот на какой-то вопрос папы Бикарюков стал рассказывать о своем прошлом, и рассказ этот сразу приковал наше внимание. Рассказывал Бикарюков, какую он в детстве испытал чудовищную нужду, о чем я, балованный маменькин сын, не имел до того времени ни малейшего представления. Рассказ этот так затянулся, что стало слишком поздно нашему гостю возвращаться в Петербург и пришлось его уложить на черном клеенчатом диване, чем он был безмерно расстроган и о чем постоянно вспоминал даже по прошествии многих лет.

Я слушал эту быль, как увлекательную, но и мучительно жуткую сказку. Слушая ровный монотонный голос рассказчика, я в то же время глядел, как бабочка, обжегшая себе крылья о пламя свечи, медленно сгорала, утопая в растопленном стеарине у самого фитиля. Помочь бабочке было невозможно и я с жалостью и с омерзением следил за тем, как ее крошечное тельце обугливалось. Вообще слезливых историй я терпеть не мог и потому не переносил русских детских книг и журналов, которые были почти всегда полны ими. Но слушая такую подлинную быль из уст самого страдавшего, я весь застыл, и мрачные картины одни за другими западали в душу, врезывались навсегда в память. Из отдельных эпизодов меня особенно поразило то, что Бикарюков, живя в каком-то провинциальном городе, принужден был для своего питания рыться в помойных ямах, и он бывал счастлив, когда ему удавалось раскопать в них какие-либо отбросы: кожуру от огурцов, селедочные головы, раковые скорлупы! Особенно меня поразила последняя подробность. Раковые скорлупы было очень приятно выуживать в «биске», когда они были наполнены превкусным фаршем, но раковая скорлупа, найденная в грязи, полутухлая — это было нечто совсем, иное, при одной мысли о чем начинало тошнить.

Еще более глубокое чувство жалости я в то же кушелевское лето почувствовал в отношении другого человека, и это чувство было осложнено тем подобием дружбы, которая возникла между мной, семилетним мальчиком, и этим двадцатилетним молодым человеком. Его фамилии я не запомнил, да и не уверен, знал ли я ее когда-либо. Не только я, но и все наши домашние звали его просто мосье Станислас. Под этим же именем он живет и в моей памяти. Откуда он взялся, какая злая судьба его закинула в русскую столицу, как он попал на Охту, кто были его родители — этого я не узнал никог-

да. Мосье Станислас как будто избегал вообще подобных тем. Но возможно, что он был сыном какого-либо пострадавшего во время польского восстания 1863 года «мятежника». Несомненно, он принадлежал к хорошему обществу, что доказывали и его манеры и его говор. Да и владел он языками немецким и английским, а по-французски говорил так, как говорят только люди, приученные к тому с детства. Мамочка это его знание французского языка пожелала использовать и предложила ему быть чем-то вроде моего гувернера. (Возможно, что мосье Станислас был ей рекомендован патером Францискевичем). Но быть настоящим наставником ему не позволяла его хилость и хворость, почему всё и свелось к отдельным урокам, да и уроки получались довольно бестолковые. Хорошо говорить по-французски я с ним не выучился, зато эти собеседования с ним принесли мне иную пользу — я бы сказал «душевного порядка».

Мосье Станислас представлял собой истинно поэтичную фигуру — вроде тех мучеников, которые на картинах болонцев умирают под мечом палача, млея от восторга при виде раскрывающихся небес. Длинный, до жути тощий, мертвенно бледный, с темными слегка кудрявыми волосами, он производил впечатление выходца с того света. Одет он был почти как нищий (это не особенно тогда шокировало, так как студенты бывали часто похожи на бродяг) и свою единственную рубашку он стирал собственноручно. Однажды я его застал как раз за этой работой, и тогда же был поражен невероятной худобой его оголенного тела.

В чем именно заключались наши собеседования — уроки, я не помню, но во всяком случае мне на них не было скучно (вообще я ненавидел всякие уроки летом), и в целом воспоминание о мосье Станисласе сохранилось у меня во всех смыслах пленительное. Первые такие «уроки» происходили у нас на даче, но однажды он не явился, и тогда мама меня послала с бонной узнать, почему он не пришел. Жил же он в мезонине той самой большой дачи, низ которой был предоставлен под общежитие — ночлежку рабочих. Чтобы попасть на лестницу

к мосье Станисласу, надлежало пройти через единственную открытую дверь этого помещения, остававшегося во время дня пустым. Поднявшись в его низкую комнату, я увидал его лежащим на низкой железной кровати, головой к полукруглому окну, опускавшемуся к самому полу. На одеяле и на полу рядом валялось несколько книг, но видно больной не в силах был читать, а пребывал в состоянии полной прострации с лихорадочно горящими глазами, с руками, вытянутыми вдоль тела. В те времена еще не знали, что чахотка заразительна, но, кроме того, мать моя вообще относилась к заразам довольно скептически, а потому мне вслед и за первым визитом, обнаружившим всю тяжесть недуга моего учителя, позволили посещать его ежедневно и даже без бонны, благо та дача, в которой он жил, стояла всего в нескольких шагах от нашей и мама была уверена, что я не заблужусь по дороге.

Хочется думать, что эти мои посещения не были в тягость бедному мосье Станислас. Несомненно, наши симпатии с первого же дня оказались взаимными. По натуре он был один из тех взрослых, которые обладают чудесным даром «сохранения детскости» и для которых общество детей, особенно развитых и интересных (к которым без лишней скромности я могу причислить и себя), иногда даже приятнее общества людей одного с ними возраста. Почти всегда я заставал мосье Станисласа лежащим на своей убогой кровати, но уже в слове «войдите», которое он произносил в ответ на мой стук, звучала радость, а, очутившись в комнате, я сразу видел довольную улыбку на его посинелых губах, обыкновенно сложенных в горькую усмешку. В дни, когда недуг меньше его мучил, он даже вставал и принимался ходить по скрипучим половицам своего чердака, я же неизменно усаживался на дырявое серое одеяло и готов был сидеть так часами, забрасывая его вопросами самого разнообразного характера. У меня их накоплялось масса, и иногда брало такое нетерпение услыхать ответы, что я задавал всё новые и новые, часто не вполне дослушав его «объяснение».

Часть беседы вертелась вокруг божественных и

«философских» тем. Меня тогда особенно волновали мысли о загробной жизни, о привидениях, о вечности, о звездном пространстве, о бесконечности. Иногда же мы переходили на естествознание (кажется, мосье Станислас был студентом-естественником, но не мог продолжать занятий в университете из-за безденежья и болезни). Тогда он с увлечением рассказывал про насекомых, жизнь которых была его специальностью и которых он собирал и хранил в изготовленных им же коробках. Несколько таких коробок под стеклом висели по рваным, но тщательно подклеенным обоям. Эти коробки, несколько десятков книг и ветхий чемодан — это было всё, чем он владел, а необходимой мебелью его снабдил Матвей Яковлевич, который и устроил мосье Станисласа наверху этой, снятой для рабочих дачи. Иногда, впрочем, мосье Станислас вспоминал и о взятых им на себя педагогических обязанностях, и тогда бралась французская грамматика Марго, но эта серьезная и скучная книга обладала почему-то свойством нас обоих веселить и над той или иной фразой мы оба до слез хохотали, причем смех мосье Станисласа неизменно переходил в раздирающий кашель, сопровождавшийся усиленным кровохарканьем.

К концу лета привязанность моя к мосье Станисласу дошла до чего-то восторженного. Ко мне, совершенно чужому мальчику, он относился, как брат или как во всем равный со мной приятель. Бывали дни, когда мосье Станислас вдруг как-то оживал, молодел и тогда он мог говорить, необычайно умно и красноречиво, целыми часами. Если же, напротив, ему становилось слишком худо, то он просил меня уйти, но делал это с таким тактом, с такой трогательной вежливостью, что я хоть и огорчался, однако подчинялся беспрекословно. В дождливые дни я бежал к нему, накинув свой дождевик (ребенком я вообще любил бегать по дождю) и в такие дни наши беседы приобретали особую уютность. Слышно было, как ровно барабанит дождь по железной крыше, снизу доносилась перебранка между сторожихой и каким-нибудь застрявшим рабочим, через поливаемое водой стекло глядела посеревшая листва. А я тем временем с другом

блуждал по Индии, любовался скачущими по лианам обезьянами, охотился на львов, слонов и тигров, слушал сказочника на базаре. У Матвея Яковлевича была недурная библиотека и целый ряд иллюстрированных изданий; их он охотно предоставлял мосье Станисласу, и мы без конца могли разглядывать иллюстрации, частью красочные, Джильберта к Шекспиру или таблицы большой английской энциклопедии. И про всё мосье Станислас мог рассказать что-либо захватывающее, если же ему попадался сюжет совершенно незнакомый, то он тут же, без подготовки, переводил мне соответствующий текст.

С ним же, с милым незабвенным мосье Станисласом, я сподобился посетить первый раз в жизни кабинет восковых фигур. «Гофманский тип» свел меня в этот Гофманский мир, который для меня обладал в то время великой притягательной силой. Впрочем, человек-кукла и вообще сыграл во всей моей психологии известную роль, что отразилось и в моем творчестве. Достаточно, если я напомню, что сюжет «Петрушки» есть далекий отголосок всяких дум и настроений, возникавших «вокруг автоматов».

Попали мы в этот кабинет с мосье Станисласом потому, что в его обязанности «гувернера» входило также совершать со мной прогулки. Случилось же это во вторую половину лета, когда он себя чувствовал лучше и несколько окрепшим. Может быть, он просто у нас подкормился, тогда как до того буквально голодал. Кроме названного довольно далекого путешествия, мы успели с ним совершить и несколько других экскурсий. Ходили мы к железному источнику в конце Полюстрова, в лес, тянувшийся за деревней, к церкви на Большой Охте; иногда мы переезжали на ялике к Смольному. Чувствуя прилив сил (чувство это было обманчиво) он сам с охотой шел куда я его тащил, а в тех случаях, когда эти прогулки происходили на приволье, то попутно он собирал бабочек и растения. И в кабинет музея восковых фигур потащил его я. Меня уже давно заинтриговывал тот деревянный балаганчик, что стоял в тени деревьев в Петровском парке за крепостью. Неоднократно я с ро-

дителями проезжал мимо него, совершая путешествие из города на Кушелевку (Литейного моста еще не существовало — он как раз строился и надо было ехать кружным путем) и с первого же раза я в высшей степени заинтересовался этим домиком, снаружи которого, под навесом, стояло несколько фигур как будто живых и всё же недвижных. Но как я ни убеждал папу и маму остановиться и посмотреть поближе, что это такое, они моим мольбам не внимали. Заветное мое желание, наконец, исполнилось лишь благодаря уступчивости доброго мосье Станисласа.

Музей восковых фигур помещался в длинной одноэтажной деревянной постройке, в которую попадали через помянутое крыльцо, под которым стояли жуткого вида застывшие господа и дамы. Впрочем, одна из этих дам показалась мне вовсе и не жуткой. Она была сделана тщательнее других и хранилась под стеклянным колпаком. Пленница, замкнутая в прозрачную тюрьму, была одета в ярко малиновый корсаж и в розовую, блиставшую серебром юбку. Подбоченясь одной рукой, а другую держа на отлете, закинув голову, она балансировала шпагой, рукоятка которой покоилась у нее на носу, тогда как на острие стоял стакан, наполненный вином. Когда красавицу «заводили», то она начинала мягко перегибаться в стане, движение свободной руки выражало поиски равновесия, а стакан на острие качался, но не падал и вино не проливалось.

Замечательная была в этом паноптикуме и кассирша, заседавшая под афишей заграничного производства и с иностранными надписями, между двух ужасающих уродов, из которых один должен был изображать Эдуарда, принца Уэльского, а другой какого-то знаменитого бандита. Эта кассирша была та же самая Юлия Пастрана, которую я видел на Балаганах в зверинце. Но, разумеется, то была не настоящая, не знаменитая бородачиха, к тому времени, пожалуй, уже сошедшая в могилу, а какая-то другая молодая особа женского пола, обладавшая окладистой черной бородой. Эта борода служила ей источником заработка и славы. Я был обра-

дован встретить старую знакомую на новом месте. На сей раз доморощенная Юлия Пастрана была в костюме, похожем на тот, что облекал красавицу со шпагой, и восседала она не просто на стуле, а на расшитом золотом бархатном тамбуре, между выдачей билетов занимаясь вышиванием. Неживой жизнью живущая, прелестная эквилибристка, и, несомненно, живая, даже любезно разговаривавшая Юлия Пастрана подготовили меня к тому, чтобы внутри музея получить уже совершенно исключительные впечатления, но увы, за таким обещающим предисловием, наступило разочарование. Повел нас по музею совершенно пьяный «директор», за которым Юлия Пастрана послала какого-то мальчишку. «Директор» понес на ломанном франко-немецком языке чудовищную ерунду. Только два автомата среди сотни других внутри балагана всё же произвели на меня известное впечатление, — то был лежащий в поеденном молью сюртуке со звездой на груди мертвенно-желтый Наполеон и спящая длинноволосая девушка, сильное декольте которой плавно поднималось и опускалось, создавая полную иллюзию натуры. Забавен был еще фокусник, у которого из-под двух стаканов появлялся то один предмет, то другой, а то и ровно ничего, и тогда он отрицательно мотал головой. Совершенно же безобразны и жалки были ряд сцен, как, например, жандармы, накрывающие засевших в кабаке бандитов, или какой-то семейный скандал, с битой посудой на полу и со стулом, застрявшим на голове у хозяина дома и т. д. Наконец, целая зала была посвящена войне. Как раз в этом году началась Русско-турецкая война и хозяин музея поспешил представить у себя нечто вполне актуальное. Но даже от моего детского глаза не ускользнуло, что тут был собран старый полуистлевший сброд, к тому же расставленный по четырем стенам в самом диком беспорядке. Вероятно, это были какие-то остатки пластической картины, созданной четверть века назад, в годы Крымской кампании, причем и создано-то это было с явным пристрастием к тогдашним нашим врагам — к туркам и к французам. Мосье Станислас обратил на это внимание «директора» и спросил, почему все русские повержены на землю, а турки с оружием в руках,

а некоторые на конях имели вид победителей (за турок шли зуавы, благо и их головы покрыты феской). На это «директор» пробурчал какую-то грубость (дурное расположение его объяснялось тем, что, кроме нас двух, в Музее никого не было), после чего мы поспешили удалиться. Сидя затем на империале конки, которая медленно плелась по Петербургской и по Выборгской сторонам, мы делились со Станисласом впечатлениями и оба старались уверить друг друга, что виденное нами всё же очень интересно.

Увы, одному из нас двух было суждено самому через несколько месяцев после посещения паноптикума, стать такой же «бездвижной фигурой», как те, которыми мы любовались. Кое-как протянув зиму, мой милый друг скончался от чахотки следующей весной. С осени Матвей Яковлевич, спасая его от холода, поселил мосье Станисласа в конторе фабрики и поручил ему ведение каких-то книг, но несчастный юноша слабел с каждым днем и вскоре окончательно слег в постель. Последнее наше свидание произошло в этой конторе, в которой временно было оставлено только что полученное из Лондона пианино. Мосье Станислас, по случаю моего прихода, пожелал встать, но он еле держался на ногах и поминутно должен был ложиться на диван. Наконец, он всё же пересилил себя, сел за инструмент и попробовал играть. Пальцы у него были совершенно тонкие и, что меня особенно поразило, прозрачные. Проиграв не без блеска тактов двадцать какого-то полонеза, он опустил руки и, тяжело дыша, оставался сидеть на стуле, поглядывая на меня с той улыбкой, которая была мне так знакома и в которой, мне казалось, что-то было вроде мольбы о помощи. Умер он, по рассказам моего зятя, в полном сознании, «как святой», приобщившись из рук патера Францискевича Святых Тайн. Точно озаренный каким-то светом, он отчетливо произнес несколько раз: «Que c'est beau»! (Как это прекрасно!).

Мне хочется спасти от забвения еще небольшую группку людей, воспоминание о которых во мне нераздельно сплетено с воспоминанием о Кушелевке. А хочется мне это сделать не потому, что эти люди были бы сами по себе замечательны и отличны от миллионов подобных им, а потому что они являлись в моем представлении, как бы частью обстановки Кушелевского парка, они как бы получили отблеск, присущей ему поэзии. Я их и видел только на Кушелевке — в той низенькой дачке, недалеко от нашей, которая стояла, точно прячась, несколько в стороне. Дворовый фасад этого домика был закрыт кустами бузины и волчьей ягоды и его было даже трудно разыскать, «парадным» же крылечком он выходил в другую сторону, на небольшой собственный сад, окруженный с трех сторон высокими деревьями парка. Такое расположение придавало обиталищу Лудвигов таинственный характер. Из наших, например, окон видна была только красная крыша их дачи, с других же сторон вообще ничего не было видно, пока не подходили вплотную к их калитке. За ней открывался весь очаровательный уют домика. Балкон перед дачей был обтянут парусиной с красной каймой, и у столбов балкона и на клумбах сада росли распространяя дивные ароматы и горя всеми красками чудесные цветы. Дорожки были тщательно выполоты и посыпаны красным кирпичом, а кусты кротегуса, служившие изгородью, так разрослись, что через них не было возможности пробраться.

Эту-то дачу с незапамятных времен снимала одна старосветская немецкая семья по фамилии Лудвиг. Папá Лудвиг — был седобородый почтенный старец, служивший в конторе где-то на Невском; его подруга жизни была маленькой, кругленькой, сморщенной, вечно хлопотавшей старушкой; прочую семью составляли жившие с ними три сына: Костя, Федя и Саша, и две дочери: Катя и Аня. Папá Лудвиг рано утром уезжал в город на службу, в сопровождении старшего сына, которому было уже далеко за тридцать и который был занят в том же деле, как и отец. Длинные темнорусые бакенбарды придавали Косте важный вид, несмотря на то, что он косил на один глаз и частенько бывал пьян. Как сейчас вижу

эту пару, шествующую каждый с портфелем под мышкой, в высоких котелках и в темных старомодных сюртуках от ворот парка в направлении к своей даче. Там их ожидали удобные шлафроки и сытный немецкий обед — какая-нибудь бирзуппэ и жаркое со сладким компотом. Из двух барышень Катя, неказистая стареющая дева, была существом необычайной доброты сердечной. Она меня особенно баловала, да и я ее, хотя и мучил всякими прихотями, но по-настоящему любил. Аня же или Нюта считалась в семье хорошенькой и это наглядно подтверждалось тем, что у нее был жених — но, к сожалению, жених этот был одной из самых курьезных и безобразных фигур когда-либо мне встречавшихся. Горбатый, с рыжей эспаньолкой, он одевался с претензией на большую франтоватость, носил яркие галстуки, пестрые жилеты, светло-серые в клетку штаны раструбом, а на его красном носике вечно было надето съезжавшее на бок золотое пенснэ на длинной цепочке. Свадьба Ани и Виктора должна была состояться лишь тогда, когда положение будущего супруга стало бы вполне обеспеченным, но это не мешало безумно влюбленной парочке ежеминутно лобызаться. Мое присутствие ничуть их не смущало; напротив, Виктор в перерыве между двумя поцелуями, лукаво мне подмигивал не то извиняясь, не то желая выразить свой восторг. Аня же грозила пальчиком и молила, чтобы я их не выдал. Но это только подстрекало меня, и я самым бессовестным образом тут же спешил к мамаше Лудвиг и доносил ей о том, что видел. На это старушка продолжая свою стряпню, только кивала головой и молвила: «Пусть их, они же помолвлены».

Благоволил я, кроме Кати, и к двум братьям Лудвигам — к длинному, белобрысому Феде, готовившемуся стать пастором, и к Саше, которому было всего четырнадцать лет и с которым я поэтому чувствовал себя как с равным. Федя Лудвиг был очень остроумен и обладал ценным для настоящего смешителя даром, — когда другие покатывались от хохота, он продолжал хранить невозмутимый вид. Надев длинную черную рясу и взяв в руки какую-либо книжку, он иногда принимался нам го-

ворить проповедь и тут уже наш смех доходил до судорог... Это было довольно странно со стороны человека, предназначавшего себя духовному сану, но эти комические проповеди были совершенно безобидного характера — и только подчеркивали всё то, что в обязательной осанке и в жестах пастора бывает напыщенного и карикатурного. Увы, ранняя смерть, последовавшая лет пять спустя, не дала Феде Лудвигу проявить себя на том поприще к которому он готовился, да признаться, я и не могу себе вообразить, как бы он себя держал на кафедре или на настоящих свадьбах, крестинах или похоронах.

Мой тезка — Саша Лудвиг помог мне в течение 1878 года забыть об утрате, понесенной весной того же года в лице мосье Станисласа. Во многом Саша напоминал мне дорогого брата Ишу. Саша был необычайно уютный юноша. Ко всему, за что он брался, он подходил с какой-то внимательной серьезностью, и этим он более всего отличался от балагура Феди, бывшего лет на пять старше его. Глядя на любое из занятий Саши, будь то какая-либо домашняя починка или же возня с посадкой цветов или, наконец, приготовление к фамильному празднику, я как-то застывал в наслаждении — до того всё у него выходило споро, складно и быстро. В то время он был еще учеником реальной гимназии, но никогда в форме я его не видал, а носил он всегда полотняную, чистенькую полосатую блузу, когда же он уходил за покупками на Охту, то вместо форменной фуражки напяливал цветную, жокейскую шапочку с козырьком, и тогда он мне казался удивительно хорошеньким. В далеком будущем Саша готовился стать инженером-пиротехником, и уже в те годы его приготовление к такой карьере сказывалось в том, что он по печатному руководству изготовлял всякие домашние огневые зрелища, за что я был готов его причислить к сонму магов и волшебников. Часами я слушал его тихим говорком передававшийся рассказ о том, какие фейерверки он видел и какие он мечтает сделать, когда превзойдет свою науку. И все эти рассказы приобретали особенную прелесть, благодаря тем опасностям, с которыми связаны занятия с огнем и со взрывчатыми веществами. Раза три в год Саша

показывал свое искусство на деле. Покупалась селитра, сера, порох, всё это дозировалось на роговых весах, всё это замешивалось прелестной роговой ложечкой и набивалось в специальные картонные трубки, которые затем аккуратнейшим образом заклеивались цветными бумажками. Если во время такого производства кто-либо появлялся в комнате с зажженной папиросой, то Саша, не теряя обычного спокойствия, предупреждал об опасности, мною же овладевала паника и я бесцеремонно выталкивал неосторожного посетителя с его куревом. А затем, по случаю чьих-либо именин, устраивались среди кустов садика потешные огни; листья деревьев озарялись всевозможными красками, причудливые тени скользили неожиданными, иногда смешными силуэтами, знакомые фигуры становились чудовищами; били и шипели огненные фонтаны, вертелись «солнца», взлетали римские свечи и ракеты...

Превзошел же себя Саша Лудвиг устройством «морского» фейерверка. Его он готовил несколько недель и для обработки «главного сюрприза» даже заперся в своей комнатке, и тогда мне ничего не оставалось, как торчать перед этой дверью и через нее задавать Саше разные докучливые вопросы. Впрочем, я сносил эту разлуку с Сашей мужественно, так как верил, что буду вполне вознагражден за свое терпение. И действительно я был вознагражден! В назначенный день Саша вышел из комнаты с прекрасным трехмачтовым корабликом в руках и весь этот фрегат был убран, «как елка», крошечными пиротехническими препаратами, а вдоль бортов корабля торчали маленькие медные пушки. Настоящий корабль из страны лиллипутов! Оставалось ждать вечера и прибытия гостей. Когда же все собрались, в том числе и явившаяся за мной бонна: «Шуренька, пора спать!», то корабль был осторожно положен на воду канала, протекавшего у сада Лудвигов и с берега зажжена пороховая нитка (известная мне уже по «балам», ибо не иначе, как посредством пороховой нитки зажигались свечи в люстре и в бра). Всё сошло было на славу. Нитка подожгла другие такие же нитки, коими были уснащены мачты, и вдруг весь корабль осветился на разные лады

бенгальскими огнями, а его пушки одна за другой стали палить. Только видно, одна из них была заряжена слишком сильным зарядом. Раздался «оглушительный взрыв», кораблик покачнулся и стал тонуть — насилу вытащили. После того, в продолжение многих дней, обсуждались причины катастрофы. Саша был сконфужен, но его утешали, уверяя, что так получилось еще интереснее, ибо произошел «совсем такой» взрыв, как тот, что в те дни погубил турецкий монитор на Дунае. Этот «взрыв турецкого монитора» был представлен в большом виде и на пруду парка, так как в тот год при Славянском заводе образован был увеселительный сад под названием «Тиволи» и там происходили гулянья. Мы с противоположного берега пруда целых два часа ждали, как взорвется то сколоченное и выпиленное из досок чудище, что стояло на воде и должно было изображать турецкое военное судно, но в конце концов было объявлено, что «фейерверк отсырел» и отложен. Пришлось, не солоно хлебавши, плестись по черному парку домой.

С Сашей же и с Катей совершались обыкновенно наши прогулки по каналам в лодочке, принадлежавшей Лудвигам и прицепленной у пристани близ их дачи. К сожалению, в позднейшие годы вода в Кушелевских каналах, благодаря каким-то непорядкам при спуске ее в Неву, сильно обмелела и эти путешествия сопровождались всякими мученьями. Иногда даже лодка застревала совершенно и тогда приходилось вылезать на берег и тащить ее на бичевке. Однако, в блаженном 1878 году воды в каналах было еще достаточно, пруды были свободны от водорослей и гребцы могли то развивать «предельную» скорость, то оставлять свое судно скользить по инерции. Знакомый во всех подробностях парк с его затеями, видимый таким образом снизу и как бы из-под земли, казался новым. Лишь то, что стояло у самого берега, виднелось сполна, всё же остальное как бы пряталось и украдкой выглядывало из засады. Вдруг на повороте начинали белеть и расти колонны Ротонды, казавшейся снизу еще более величественной или, после очень узкого места с листвой, нависавшей над водой, открывался вид на широкий пруд с двумя его павильонами

и мраморным между ними спуском. Так как эти павильоны стояли на территории Славянского завода и к ним не разрешалось причаливать, то они казались особенно заманчивыми.

С этими прогулками по каналам Кушелевки у меня связано воспоминание об одном приключении слегка романтического оттенка. В лето 1878 года Кушелевский дворец был предоставлен в качестве летней резиденции, какому-то институту. Если мы в своей лодочке оказывались у моста, через который шла главная аллея от дворца, в часы рекреации или под вечер по окончании занятий, то на мосту и вблизи по берегам мы заставали нескольких «прелестных» институточек — прелестных уже по тому, что все они были одеты в те грациозные старомодные платья с открытым воротом и с голыми руками, в которых казенных затворниц одели еще при Николае Павловиче. Цвет этого форменного костюма был светлосиний и поверх него одевался белый передник, а иногда белая пелеринка. Уже издалека синие фигурки виднелись на Львином мосту; одни стояли, опершись о перила или облокотившись на чугунных львов, другие гуляли по мосту, а еще некоторые — все парами — сидели на траве по откосам берега. Вот они завидели нашу лодочку, гуляющие остановились, те, что сидели на траве, вскочили и побежали на мост, и все сплоченной, нарастающей группой нас встречают, но встречают в молчании, лишь весело улыбаясь и делая робкие жесты приветствия. На момент, когда мы подплываем под мост, эта прелестная картина исчезает, но тотчас же в новой группировке, она снова предстает перед нами с обратной стороны; опять улыбки, на сей раз грустные и жесты, выражающие печаль. Через час мы плыли обратно. Если в это время институтки были еще у моста, то вся эта сцена возобновлялась.

Через несколько таких встреч обе стороны стали смелее. Сидящие в лодке стали произносить фразы вроде «какая чудная погода» или задавать вопросы: «не желаете ли прокатиться?», «завтра будете здесь?» и т. д. На что следовали еле слышные ответы. Если с нами были

сестры Саши, то институтки решали с ними перемолвиться и другими фразами, и в этих случаях лодка наша застревала на несколько минут.

Эту-то прелестную идиллию, чуть ли не каждодневно повторявшуюся, мы сами, по собственной вине, нарушили. Вздумали мы с Сашей поднести нашим тайным «знакомкам» букет и для этого букета были опустошены, несмотря на робкие протесты мамá Лудвиг, многие клумбы и гряды ее садика. Подъезжая с этим ворохом цветов к мосту, и я и Саша были до нельзя возбуждены, точно спешили на какое-то запретное свидание (о любовных свиданиях я по-наслышке уже имел некоторое представление и очень даже этим интересовался). Оказавшись же у самого моста, я, улучив момент, когда лодочка остановилась, с неожиданным для себя проворством, выскочил с букетом на берег и стал карабкаться вверх. Взобравшись же к львам, красный как рак и немея от смущения, я положил наш дар к башмачкам голубеньких красавиц. Девиц так тронул «рыцарский поступок» мальчишки, что они гурьбой набросились на меня и стали меня тискать, теребить и притом, забыв всякую осторожность, они громко защебетали. Другие, постарше и похитрее, воспользовались этим моментом, чтобы вступить в диалог с Сашей, который, встав в лодке и зацепившись багром за мост, подавал каждой руку. В этих занятиях и в этом шуме мы и прозевали сигналы тех девиц, которые, исполняя роль передовых часовых, следили за тем, не идет ли из дворца классная наставница. Внезапно веселые разговоры замерли, лица вытянулись, а когда я обернулся, то увидал одетую во все коричневое фигуру пожилой и очень строгой дамы. От ужаса я прилип к земле и не знал, что мне делать. Дама же, не проронив ни слова, взяла меня за руку и отвела к берегу, по которому я, до слез посрамленный, сполз к лодке. Отъезжая от моста, мы еще видели, как к первой классной даме подошли еще две, как они долго разглядывали букет, ища, вероятно, какую-нибудь записочку, а затем они, преисполненные достоинства, удалились со всей гурьбой воспитанниц в сторону дворца. И с тех пор институточкам было запрещено доходить до рокового

места и мы их уже больше не видали. В следующие же лета дворец под институт не сдавался, самый же мост был разрушен после того, как вся часть парка за ним была приобретена моим зятем.

Одной из самых замечательных достопримечательностей Кушелевки был тот вид, что открывался на Неву. Но вид этот был загорожен высоким глухим забором и потому папа решил пристроить к забору род балкона, откуда, оказавшись на высоте пяти аршин от земли, можно было свободно любоваться широкой панорамой. Пребывание на этом «бельведере» было столь же заманчивым, как и плавание по каналам, и мне случалось на нем проводить целые дни — одному или в обществе мамы, бонны, а в 1878 году и той девочки Вари, о которой речь впереди. Так как то, что творилось на бельведере было видно от самой нашей дачи, то, пока я находился на нем, ближайшего присмотра за мной не требовалось. Когда мне надоедало глядеть на простор Невы или на то, что творилось под ногами на мощеной набережной улице, то я обращался к принесенной с собой книжке или рисовал всякую приходившую в голову чепуху. Любил этот бельведер и брат Миша, готовившийся тогда стать моряком и гостивший иногда на Кушелевке вместе со своими товарищами — долговязым бароном Клюпфелем и болезненно близоруким Виноградовым. Последний был еще замечателен тем, что, несмотря на свои семнадцать лет, обладал густой черной бородой. Все трое считали себя настоящими «морскими волками», а так как в традиции «морских волков» входит и пьянство, то и эти милые, благовоспитанные юноши, выпив за завтраком втроем бутылки две пива, изображали затем из себя совершенно охмелевших людей. Они горланили песни вроде «Друзья, подагрой изнуренный...» и этим обращали на себя внимание прохожих. Они же грызли, как истые матросы, семячки, сплевывая шелуху на улицу. Я

не узнавал нашего скромного Мишу и в то же время потешался безгранично. Впрочем, юноши не всегда безобразничали на бельведере, а иногда они забирали с собой туда охапку учебников, зубрили по ним и производили друг другу пробные экзамены. Кажется, все трое тогда провалились на приемном испытании в Морском Училище — и не мудрено, так как все трое не отличались особым прилежанием; год же спустя они были приняты во флот, а в 1880 году наш Мишенька и Виноградов отбыли на клипере «Пластун» в кругосветное плаванье, о чем я уже рассказал.

Центром той панорамы, которая развертывалась с нашей призаборной вышки, служил Смольный монастырь, стоявший на берегу Невы, насупротив нас. Это одно из самых прекрасных и поэтичных сооружений на всем пространстве Государства Российского! Гордо и благолепно подымается над всем прочим колоссальная масса главного пятиглавого собора и точно дьяконы, совершающие торжественную литургию, обступают в значительном от собора расстоянии четыре совершенно одинаковые церкви; вокруг же всего этого Божьего селения тянется высокая стена, прерывающаяся в известном ритме разнородными затейливыми башенками. Всё вместе производит во всякое время и в любую погоду, сказочное впечатление, но сказочность эта приобретает особенно волнующий характер, когда, в ясные летние вечера, все эти здания начинают таять в алых лучах заходящего солнца, а многочисленные их купола и шпили загораются золотом крестов, и теми лепными гирляндами, коими убрала голубые луковицы церквей — роскошная фантазия Растрели! Мне кажется, именно на Смольном я понял прелесть архитектуры в пейзаже и, еще не осознав своей какой-то связи с прошлым Петербурга, уже напитывался, глядя на эту единственную картину, ее дивной красотой.

Если перевести взор от Смольного влево, то открывался вид на Большую Охту с ее церковью, вокруг которой толпились деревянные домишки с их зелеными и красными крышами; дальше зияли чернотой отверстия

старинных верфей для постройки судов, а из-за загиба Невы мерещились в затуманенной дали башни Александро-Невской Лавры и очень оригинальная церковь, построенная в русском стиле приятелем отца — архитектором Щуруповым. Если же обратить взор вправо, то на противоположном берегу вслед за заборами и амбарами дровянных складов (Громовской биржи), виднелся Таврический Дворец с его плоским куполом, а рядом темно-красным силуэтом возвышалась недавно построенная водонапорная башня; совсем вдали сиял золотом сферический купол Исаакия и высилась масса разных колоколен. Папа любил мне все эти здания называть и, «штудируя» Петербург с Кушелевского бельведера, я выучился названиям многих его достопримечательностей и запомнил их типичные очертания.

Всё это было неподвижное, далекое, каменное, ближе же к нам и во всю ширину панорамы лежала пребывавшая в непрестанном движении река. Лишь очень редко, в моменты полного безветрия, наступало затишье, и тогда в водах Невы отражались здания противоположного берега. Но даже в такие дни голубая гладь то и дело нарушалась кипевшей на ней жизнью. То, дымя трубой, плыл черный переполненный до отказа Шлиссельбургский пароход, то суетливо несся крошечный пароходик финляндского общества, то буксир тащил за собой вереницу барок. Кроме того, сотни цветисто раскрашенных яликов беспрерывно сновали во всех направлениях, или же уплывали далеко вверх по реке большие рыбацкие лодки, закидывавшие невода.

Движение по Набережной улице вдоль забора Кушелевки было в обыкновенные дни не Бог весть каким интересным и уже во всяком случае не отличалось нарядностью — слишком сказывалась близость рабочего пригорода. Редко-редко проедет какой-либо собственный экипаж, принадлежащий иностранцу-фабриканту

или одному из помещиков-дачников, имевших свои усадьбы дальше за Охтой. Обыкновенно же мимо нас тянулись бесконечные вереницы возов с разными товарами или просто крестьянские телеги, отправлявшиеся из деревень в Петербург и обратно. Пеший люд состоял из всякого рода мастеровых и рабочих, да еще из охтенских молочниц, которые шли по утрам целыми взводами с коромыслами, на концах которых побрякивали жестяные кружки с молоком, и с корзинами масла и творога за спиной. То были или подлинные чухонки или русские бабы и девушки, старавшиеся, однако, в говоре подделаться под чухонок, дабы заслужить большее доверие покупателей — ведь особенно славилось именно чухонское масло. «Ливки», «метана», «ворог», «яйца вежие» — звонко выкликаемые чухонками — вызывали представление о чем-то чрезвычайно доброкачественном и заманчивом. Нередко обыденное шествие нарушалось каким-либо скандалом, и я должен покаяться, что как раз до такого зрелища, сидя в абсолютной недосягаемости и в полной безопасности, я был большой охотник. Бывало даже обидно, когда начавшаяся потеха какой-либо драки или озлобленной перебранки слишком скоро прекращалась благодаря прибытию городового или дворника. Оба они непрерывно дежурили у наших ворот. Эти блюстители порядка составляли род клуба. Членами его, кроме того, были и разные полупочтенные соседи, между прочим, хозяин той лавочки-ларька, которая помещалась у спуска к тоне, как раз насупротив ворот парка.

Этот лавочник всячески занимал мое воображение. Во-первых, меня пленяли те коробья и банки с лакомствами, что стояли рядами у него на полочках и до которых я, балованный «господский» мальчик, был всё же большой охотник (то были черные сладкие бобы-стручки, мятные и другие пряники, орехи, паточные леденцы). Во-вторых, меня интриговало то, что, по окончании торгового дня, хозяин ларька не уходил куда-то домой на ночлег (дома-то у него, вероятно, и не было), а укладывался калачиком, как собака в конуру, в нижний ящик своей незатейливой лавочки... Городовой и дворник уже потому благоволили к этому тихому и смиренному му-

жику, что он не скупился на угощение; в жаркие дни можно было любоваться, как то и дело он потчевал своих друзей квасом, кислыми щами или даже бутылочкой Ланинской фруктовой воды, которая, несмотря на всякие наветы людей, недоверчиво относящихся к национальной промышленности, была всё же очень вкусная и действительно напоминала то грушу, то ананас, то малину или смородину...

Но был день к концу лета, когда наша набережная приобретала совершенно особый характер — и вот в этот день, сидя на своем бельведере в обществе всех наших домашних, я себя чувствовал, как царь на параде. Этим днем было 15-ое августа — иначе говоря праздник Успения Богородицы, ознаменованный грандиозным крестным ходом, обходившим всю Охту и часть Выборгской стороны. С самого утра чувствовалось на нашей набережной приподнятое настроение. Толпы по-праздничному разодетых мужчин, женщин и детей, рабочих, мастеровых, рыбаков, матросов, солдат, мелких чиновников, купцов и купчих — спешили всё в одном направлении из города, кто на Охту, а кто и еще дальше на «Пороховые». Часам к 11-ти трезвон колоколов усиливался и в то же время его начинал заглушать гул приближающегося людского потока. И вот из-за поворота главной охтенской улицы показывался самый крестный ход. Я ждал этот момент со смешанным чувством; в него входил и праздничный «подъем», но в него входило и подобие некоторого ужаса. Почему-то медленное продвижение процессии, под заунывное пение священнослужителей, певчих и толпы, вызывало ощущение чего-то грозного, чего-то даже «для меня лично опасного». Не будучи православным, относясь, по неведению, к православию с некоторым предубеждением (в чем меня укрепляли мои бонны не иначе, как с оттенком презрения говорившие про русскую церковь), я не испытывал чувства благоговения, а, вместо него, возникал странный щемящий ужас — мне начинало казаться, что эти приближающиеся, колыхающиеся, склоняющиеся и снова выпрямляющиеся хоругви — ведут род грозного наступления, что вот-вот они надвинутся на меня и мне тогда не

сдобровать. Однако, в момент, когда крестное шествие было уже под самым нашим балконом — страх исчезал, священные знамена, не причинив вреда, медленно проплывали мимо, и в ту же минуту внимание всех, стоявших на бельведере, было поглощено чем-то совершенно уже необычайным. Многие набожные люди норовили пройти или даже проползти по земле под громадную, блиставшую золотом и драгоценными каменьями икону Божьей Матери, несомую на плечах обливающимися потом и явно изнемогающими под ношей богомольцами. И тут же происходили иногда сцены, совершенно «средневекового характера». В толпе раздавался вопль и к иконе проталкивались дюжие мужики, таща за собою бьющуюся в корчах и неистово визжащую женщину-кликушу. Несмотря на сопротивление ее валили на мостовую и держали распластанной во прахе, дабы икона, проносимая над ней, могла оказать свое чудотворное действие. И действительно, бесноватая вставала затем успокоенная, без чужой помощи, а все вокруг, да и наши прислуги на бельведере, пораженные явным чудом, усиленно крестились. По пути следования Крестного хода такие сцены повторялись несколько раз...

Дважды в моем рассказе я уже упоминал о «тоне», т. е. о том примитивном рыболовном предприятии, которое находилось в непосредственном соседстве с Кушелевским парком. Эта тоня была столь любопытной достопримечательностью тех мест, а в моей памяти она занимает до сих пор такое значительное место, что я должен о ней рассказать подробнее.

До «тони» было от нас всего несколько шагов. Стоило выйти за ворота парка, перейти набережную улицу и спуститься по деревянной лесенке с довольно крутого берега, как человек уже оказывался на пропахшем ры-

бой помосте тони. Когда в воскресные дни к нам или к Эдвардсам приезжали гости, то полагалось часа за три до обеда всем отправляться на тоню, и тогда Матвей Яковлевич, питавший настоящую страсть ко всякого рода азартным играм «заказывал тоню» — в надежде сделать чудесный улов. Иной раз в сетях оказывались и сиги, и судаки, не считая всяких ершей, окуней, корюшки и салакушки, а в особо счастливые дни попадались и лососи. Но бывало (и это случалось чаще), что невод возвращался пустым или с одной только мелочью, и тогда Матвей Яковлевич терял свои три рубля и уходил с берега благодушно раздосадованный, причем мама хитренько улыбаясь, говорила ему: «Я это знала, вот почему и приняла меры: утром еще купила чудесную рыбу к обеду».

Для нас, детей, долгое ожидание возвращения невода было томительным и мы предпочитали этот час заполнять тем, что, сойдя с плота на береговой песок, немилосердно моча свои сапожки и новые костюмчики, входили по колено в воду, набирая в ведерки всяких колюшек и другой крошечной рыбешки. Бывало, идущий в середине реки пароход всколыхнет воду, и волны, докатясь до берега, обдадут нас с ног до головы. При этом девочки неистово визжали и поднимали свои юбочки. Но вода у берега была нагретая и никаких простуд вследствие этих рыболовных авантюр мы не испытывали. Кроме рыбок, можно было собирать на берегу и мелкие ракушки, а то и красноватую сосновую кору, из которой папа умел вырезать прелестные лодочки и кораблики. Особенным счастьем почиталось найти на берегу корабельный блок или какую-нибудь длинную жердь. Занятно было вдоль берега добраться до гранитной пристани перед Безбородкинским дворцом и поглядеть как рыбаки, не участвовавшие в тоне, варят на костре уху, которую они тут же хлебали, чинно усевшись кружком и черпая деревянными ложками из общего котла.

Вот рыбаки, вертящие ворот, потные, с коротким гиканьем, наматывают последние круги тянущего улов каната и по тому, что это дается с усилием, ясно, что

сети отяжелели от попавшей в них рыбы. Матвей Яковлевич сияет, а у других на лицах написано самое напряженное внимание, точно решается чья-то судьба. На воде появляются поплавки, поддерживающие сети, рыбаки схватывают концы невода и с трудом втаскивают содержимое на помост. Мату не приходится повторять то, что за последний час он твердил своей теще: «Вы увидите, мама, вы увидите!» — и все мы видим чудо-чудесное: в сетях, изгибаясь и хлопая хвостом, бьется двадцатифунтовая лососка! Всё копошащееся, сверкающее серебром население и сам царь этого обреченного народа, вывалены на дощатый пол и в течение нескольких минут идет разборка и укладка одних сортов в жбаны с водой и умерщвление других. Но Матвей Яковлевич получил свою добычу, он собственноручно ее прикончил камнем по голове и, держа ее за жабры, роется другой рукой в кармане жилета, где у него лежит серебряная монета. Еще раз потешил он свою душу очень удавшейся тоней, а к тому же получил такой гостинец к столу, каких мы давно не видывали. Рыба будет сварена, снесена в погреб на лед и к обеду она поспеет, пахнущая свежестью, обложенная цветным гарниром, с петрушкой и укропом в разинутой пасти, в качестве главного лакомого блюда праздничного пира.

Не могу не упомянуть еще об одном случае, в котором Мату досталась роль главного действующего лица и который взволновал нашу тогдашнюю колонию. Это была большая драматическая сцена во вкусе тех, что теперь часто видишь на экране. В воскресенье, несмотря на запрет, в парк проникало через разные лазейки не мало постороннего люда, и вот однажды где-то в кустах фабричный парень выхватил у гулявшей девицы кошелек и пустился бежать к выходу. На вопли ограбленной подняли тревогу и несколько человек погнались за вором, в свою очередь оглашая воздух криками: «Держи, лови!» Всё это разбудило в Матвее Яковлевиче его спортивно-рыцарские, исконни английские чувства и, хоть в это время он был занят с прочими нашими гостями игрой в бочи, он бросил игру и тоже помчался за вором. Но тогда как другие преследователи и сам воришка бежали

без всякого искусства, Мат сразу показал, что он знает, как это надо делать, и сразу стало ясно, что — победа останется за ним. Громадная его фигура не выражала ни малейшей поспешности. Ноги сгибались и отпихивались методично; казалось даже, что он не достаточно скоро бежит, и однако расстояние между вором и им всё сокращалось и сокращалось. Бежал Матвей Яковлевич восхитительно, ровным шагом и до странности, при своем росте и тяжелом сложении, легко. Когда же он оказался в полуаршине от вора, то его рука протянулась к бежавшему и легла ему на плечо, точно он захотел подружески его похлопать. Но вор под этой могучей дланью только ахнул и осел. Мат, вздернув его вверх, как перышко, понес, держа за шиворот, свою жертву — ни дать, ни взять как лосося. Тут же прибежавшие с набережной городовой и дворник схватили жулика подмышки и потащили в участок.

Не всегда Нева была такой, какой она была в дни «чудесных уловов» — сверкающая, отливающая голубоватым атласом, ровно и торжественно несущая свои ясные воды в сторону моря. Бывали дни, когда мы ее видывали хмурой, темно-серой, ощетинившейся под порывами ветра, покрытой барашками. И, пожалуй, такой мне она нравилась еще более. В такие тревожные дни получались иногда к вечеру самые удивительные эффекты, особенно если солнце перед тем, как скрыться за горизонт, прорезало заволакивавшие тучи и вдруг обдавало всё ярко оранжевым светом. Краски становились резкими и всё в целом приобретало какой-то патетический характер. Охтенские постройки и Смольный горели, как жар, на фоне темных, свинцовых туч, а Нева чернела глубокой синевой. В такие-то, особенно заманчивые для

художника вечера, Альбер мчался на свое излюбленное место у тони и с лихорадочной поспешностью, едва усевшись на треножник, наносил всё на бумагу. Обыкновенно спокойный во время работы, он в такие дни обнаруживал чрезвычайное волнение — нельзя же было сплоховать там, где сама природа на кратчайший момент давала ему такие исключительные, такие возбуждающие темы!

В один из таких бурных дней я чуть не погиб вместе с братом Михаилом. Способов добраться из города на Кушелевку было несколько: простейший — на извозчике, но это было дорого, а у нас в почете была экономия, два же других способа заключались в пользовании «конкой». К сожалению, та конка, что подходила к самому Кушелевскому парку, тащилась с удручающей медлительностью, так что на сравнительно короткий путь от Финляндского вокзала до нас уходил целый час — час, во время которого приходилось дышать смраднейшим воздухом, терпеть раздражающее дребезжание стекол и душу раздирающий лязг колес; приходилось и застревать по десяти и по пятнадцати минут на разъездах! Другая же конка, отходившая от Михайловской площади доезжала всего только до Смольного, и оттуда приходилось переправляться через Неву на ялике. Последний путь был уже потому приятнее, что новые, только что из Германии полученные вагоны на этом маршруте были чистенькие и даже отличались известным изяществом — так, над каждым окном было вставлено по живописной картинке, и разглядывание этих пейзажиков и натюрмортиков развлекало меня во время пути, длившегося около получаса. Если же я ехал с папой, то мы взбирались с ним на империал и тут открывались довольно интересные виды. Особенно я любил переезд через Фонтанку, с видом на Инженерный Замок, а также проезд мимо церкви св. Симеония и тот вид, который открывался на «готическую» Евангелическую больницу и на возвышавшуюся над прудом «круглую» Греческую церковь. А затем было так занятно очутиться под стеной Смольного монастыря, миновать его курьезные башенки и за последним поворотом увидать Неву.

В тот день, чуть было не ставший для нас роковым, мы с Мишей, которому я был поручен мамой, доехали до монастыря благополучно, но на сей раз, завернув за монастырскую стену, мы увидали перед собой картину совершенно неожиданную и до чрезвычайности грозную. Вода буро-сизая, взбаламученная, косматая, вся в белых гребнях, металась, как в горячке. Даже тяжеловесные барки с дровами, стоявшие тремя рядами у берегов, покачивались и ударялись друг о друга, а ялики у пристани прыгали в какой-то дикой пляске. То была настоящая буря, силы которой мы не чувствовали, пока ехали городскими улицами. Никто из перевозчиков не соглашался переправить нас в такую погоду, но Миша счел, что ему, как моряку и будущему воину, не подобает сдаваться даже перед стихией и, когда его словесные убеждения не помогли, то он вынул из кошелька зеленую трешку. При виде такого богатства один молодой парень всё же согласился доставить нас на Охту. Не успел я опомниться, как братец мой, схватив меня в охапку, прыгнул в качающийся ялик и мы отчалили.

Пока мы плыли в «переулке» между барками и под их защитой, опасность, которой мы себя подвергали, не была вполне ощущаемой, но не успели мы выехать за последнюю барку, как нашу лодку сразу подбросило так, что дух захватило, и весь ужас положения предстал перед нами. От дальнейшего я запомнил только то, что фигура сидевшего перед нами лодочника то взлетала высоко, то, когда мы скатывались с гребня волны, оказывалась под нами. Яростные массы разбивались о нос и окатывали нас как из ушата. Миша, взявший ковш, спешно выкачивал воду из лодки, я же сидел ни жив, ни мертв, судорожно вцепившись в борт и в скамью. Шапка у яличника слетела, лицо его выражало ужас. Величайшего напряжения стоило ему пересекать под прямым углом каждую надвигавшуюся волну, тогда как боковой удар неминуемо должен был опрокинуть наш утлый челн... Лодку крутило и бросало. Наконец, ослабевший яличник взмолился, чтобы Миша взял одно из двух весел и сел перед ним. Не понимаю, как во время этой пересадки нас не опрокинуло! Но видно у Миши было настоящее при-

звание к морскому делу, да и к тому же он обладал редкой силой и большим хладнокровием. Сразу, с момента, когда он взялся за весла, продвижение ялика стало более заметным и, наконец, через четверть часа или двадцать минут, мы снова оказались в противоположном коридоре, между дровяными барками, — и были спасены. Миша, отличавшийся вообще абсолютной правдивостью и никогда не лгавший, потребовал, однако, на сей раз, чтобы я помог ему скрыть от мамы нашу авантюру. Мы и явились на дачу, хотя и промокшие, но с видом «как ни в чем не бывало», уверяя, что это дождь промочил нас по дороге.

Полным контрастом к этой бурно-романтической сцене является в моей памяти другой переезд тоже через Неву, но в обратном направлении, т. е. с Охты к Смольному. На сей раз в ялике сидел я с отцом и происходило это в конце последнего из наших кушелевских пребываний (осенью 1882 года). Дожили мы тогда на даче до начала сентября. Стояла отменная погода и было так тепло, что даже вечерний чай подавали всё еще на балконе, причем зажигались свечи, защищенные особыми стеклянными колпаками. Но как ни прекрасна была погода, а всё же каникулы кончались и мне надлежало возвращаться в гимназию, а раз Шуреньку нужно было водворять в городскую жизнь, то как же было оставаться на даче его родителям? Приехали телеги, застучали своими сапогами перевозчики, и от них по опустелым комнатам пошел тот крепкий дух — смесь пота и дегтя, который считается отменно русским. Ящики, корзины, стулья, столы, комоды — всё это, постояв еще немного на дорожке сада у колес возов, стало погружаться на них с удивительной сноровкой. Мамочка, Ольга Ивановна и кухарка были ужасно озабочены, считали, что всё не так кладется, что в одном из ящиков что-то внутри звякнуло, что поцарапали крышку рояля, что вот-вот отломаются ножки у двух кресел, но Степанидушка не скрывала своей радости, ибо кончалась ее разлука с другом ее сердца — дворником Василием. Наконец, первый воз с кухаркой, восседавшей на поперек поставленном на

воз диване, тронулся, а за ним гуськом потащились другие и весь караван исчез за воротами. Попрощались и мы с Эдвардсами, посидели все по неизменному обычаю на подоконниках (стулья уже уехали), перекрестились, промолвили «в добрый час» и пошли к заказанному экипажу. Но тут папа, у которого иногда бывали такие фантазии, вдруг предложил отправить с мамой мою гувернантку фрейлен Штрамм, Степаниду и Ольгу, нам же двоим, мне и ему, ехать отдельно, кружным путем через Неву, а от Смольного до дому — на извозчике. Мамочка попробовала протестовать — «Зачем это осложнение? ведь всем было бы место в ландо?» — но видя, что и мне уже очень захотелось последовать папиной причуде, она сдалась и мы расстались. Карета застучала по мостовой в сторону Петербурга, а мы с папой уже шествуем к мосту, отделяющему Кушелевку от Охты, а там и по улицам пригорода до «дальнего перевоза», который приходился против самой охтенской колокольни.

Идя по корявому, убогому, низенькому посаду, папа рассказывает всё, что тут происходило в дни его детства, как именно здесь на лед выходили Охта и Пески на кулачные бои, какие богатейшие купцы живали в этих самых разваливающихся деревянных домиках, из которых иные были выкрашены в два цвета, дабы ясно было, кому после раздела наследства досталась та или другая половина. Но всего больше меня поразил рассказ о том, как тут, на Малой Охте, спускались в дни Александра I корабли. И, вероятно, именно это воспоминание побудило папу предложить яличнику, вместо того, чтобы прямо пересечь Неву, взять немного вверх по течению, дабы под самыми этими древними, всё еще стоявшими верфями и проехать.

Уже сильно темнело, тишина стояла невозмутимая, полные воды реки текли плавно. Смольный монастырь потух и стоял призрачной блеклой массой на зеленеющем небе. В осеннем лиловатом полусумраке громады тех двух сараев-доков, из которых когда-то, при трубных звуках и пушечной пальбе, выкатывали и бухались на воду широкобокие корветы и фрегаты с их позлащенны-

ми кормами, казались еще огромнее. Но дни их торжества миновали давным-давно, а сами они, обреченные на слом, лишь чудом продолжали доживать свой век. Черной пустотой зияли их непомерные внутренности, крыши их были испещрены дырами, покосились и повисли, но ряды колонн и другие части архитектурного убранства фасада на Неву всё еще свидетельствовали, что зодчие Александровских времен знавали толк в величественных формах архитектуры. И попрежнему всё еще царил над всем исполин Посейдон, резанный самим Мартосом из Казанского дуба, так удобно примостившийся как раз в промежутке между двух крытых скатов верфей...

Незабываемое впечатление! Видя мое восхищение, папа попросил лодочника подплыть еще ближе, почти к самому дощатому спуску, шедшему от этих гигантских зал в воду. Снизу, в ракурсе Бог морей с разметанной ветром бородой, с дланью, протянутой над стихией, казался, несмотря на поломанный трезубец, особенно грозным. В ветхих зданиях что-то потрескивало, что-то с глухим стуком обваливалось. А на противоположном берегу засветились огни газовых фонарей и где-то в монастыре или в Александро-Невской лавре колокола звонили к вечерне...

С 1882 года родители уже не живали на Кушелевке, но всё же мы там бывали нередко то всей семьей, то я с мамой, а то я один. Не раз (и даже зимой) мне случалось ночевать и гостить у сестры Камиши в течение нескольких дней. Притягательной силой являлось самое приволье, царившее на Кушелевке, и разнообразие тех прогулок, которые мы могли делать по парку и в его окрестностях. Кроме того, на Кушелевке я имел целых две группы товарищей по играм: своих племянников и племянниц — Эдвардсов и Лансерэ.

Что Эдвардсы жили на Кушелевке было вполне понятно. Матвею Яковлевичу было необходимо находиться в непосредственной близости от своей фабрики, но на Кушелевку переселился из соображений здоровья и мой другой зять Евгений Александрович Лансере. Для него и была перестроена та самая дача, в которой раньше помещалась «ночлежка» рабочих, а в мезонине прожил свое последнее лето мосье Станислас. — У Эдвардсов в товарищи игр мне годились Джомми и Эля, у Лансере — Женя и Коля. Маленькие Эдвардсы были скорее «дикие», ибо росли почти без присмотра; тихенькие же и несколько хрупкие «лансерята» были предметом непрестанной заботливости со стороны своих родителей и со стороны бонн. Однако, как те, так и другие, подпадали под мое влияние (вернее поступали в мое распоряжение) и становились совершенно другими. Каждому я давал подходящую роль, втягивал и тихих и шумливых в одну какую-либо игру, вроде казаков-разбойников или Палочки-воровочки. С Эдвардсами и не требовалось непременно оставаться дома или «при доме». Я уводил их далеко в парк, катался с ними часами на лодке, бродил с ними по всей фабрике. К тому же у маленьких Эдвардсов была целая банда товарищей и товарок, детей соседних фабрикантов, а то и рабочих. В такой компании игры и прогулки, естественно, принимали буйный разгульный стиль. Совершались экспедиции к наиболее запущенным дебрям парка, а главное прогулки в лодке приобретали зачастую очень рискованный характер. Совершенно даже удивительно, как мы так и не оказались на вязком дне прудов! Творилось и не мало безобразий, ломки всяких вещей, происходили охоты на кошек (которых я, однако, обожал), искали птичьи гнезда, дразнили собак, индюков и гусей. Но сколько во всем этом было упоительного возбуждения! Какими красными и потными, с какими волчьими аппетитами мы возвращались, заслышав свисток фабрики или колокол дачи, звавшие к завтраку или к обеду. Я тогда пристрастился к английским «специальностям» вкусного Камишенькиного стола, а на семейных обедах на Кушелевке наедался до отвала так, что еле мог встать из-за стола... Всё было не только вкусно, но

как-то по-особенному сочно. Таких ростбифов, таких индеек и гусей, таких паштетов я никогда уже с тех пор не едал! Многое, что происходило в моей жизни, я считаю за особенное счастье, за настоящую «привилегию судьбы», и вот среди этих привилегий я должен одно из первых мест уделить тому, что, не покидая родного города, благодаря Эдвардсам, я не только познакомился с бытом «доброй старой Англии», но и лично как-то приобщился к нему. Кушелевка в той части, которая была подвластна Матвею Яковлевичу, на том большом отрезе парка, на котором стояла фабрика и его личная усадьба, — являлась подлинным куском Англии, чудом, перенесенным на русскую территорию. Говорю же я, что должен быть благодарен такому дару судьбы — ибо ничего не знаю более привлекательного, более уютно-семейного, нежели именно этот милый «Диккенсовский» быт! И то, что рыжий Матвей Яковлевич, являвший всем своим обликом характерный тип исконного бритта, что этот чистокровный кельт был женат на «русской итальянке» (или «русской француженке») нисколько не портило сути дела, ибо Камиша быстро сроднилась с жизненными идеалами своего супруга и сама превратилась в настоящую англичанку. Но не в чопорную, педантичную хранительницу приличий, а именно в ту образцовую «деревенскую хозяйку», каких не мало встречается и в английских романах, и в английской действительности.

О, нет, чопорности в домашнем быту на Кушелевке не было! Царила скорее полная непринужденность. Но при этом какое беспредельное сердечное гостеприимство, как широко и просто текла жизнь в семье Мата и Камиши! Стоило зимним вечером въехать с Полюстровского шоссе в широко раскрытые деревянные ворота и увидать двухэтажный их дом, со всеми освещенными окнами, чтобы почувствовать себя в очаровательном, совершенно особенном и ни на что другое в Петербурге не похожем царстве. Благодаря обилию смолы, требовавшейся для канатов — даже пахло здесь совсем по-особенному не только на фабрике, но и в комнатах и во дворе. Этот запах был специфически морским, мореходным, а следовательно английским.

Самая фабрика Матвея Яковлевича носила на себе типично английский отпечаток. Она, правда, вовсе не походила на огромные казарменного вида дома с высокими дымящимися трубами, с настоящим адом шумных машин. Это была расползшаяся во все стороны, низенькая, всюду в один этаж, постройка, точнее целый городок деревянных построек. Дымила она мало и стоило войти в ее пределы, как вас обдавал тот же запах смолы, смешанный с своеобразным запахом пакли и веревок. Фабрика «Нева» шумела, но шумела мягко, «простодушно», с частыми передышками. Рабочие не исчислялись тысячами и едва ли общее число их переходило за сотню, считая при этом и женщин и малолетних. Словом, это было скорее очень «домашняя» и вовсе не страшная фабрика, а рабочие на ней отнюдь не являли вида забитых и озлобленных от изнурительного труда рабов. Жаль было только тех трех или четырех баб, которые целыми днями ходили в вертящихся деревянных колесах, наматывавших нити, но даже они проделывали эту работу с бодрым видом. Нередко для забавы и я входил в эти колеса и принимался в подмогу «ни с места не подвигающейся» женщине ступать по широким плоским лопастям, это было даже превесело. На фабрике царил образцовый порядок, но он достигался не суровыми дисциплинарными мерами, а какой-то любовной патриархальностью.

Прогулка по фабрике была одной из самых занимательных. Интересно было зайти в амбар, где горами были навалены запасы уже скрученных и намотанных веревок. Интересно было взобраться на самую верхушку такой плотно сложенной горы и там удобно устроиться на чудесно пахнущих мотках. Интересно было свеситься на огромных весах, глухо и смачно ударявших о досчатый пол, когда на них клали страшные пудовые и пятипудовые гири; интересно было зайти в главную топку, где неустанно и методично вертелось огромное маховое колесо, а почерневшие от угля кочегары то и дело подбрасывали уголь в пылающую печь. Интересно было изучать, как всё устроено и пригнано; интересно, но и жутковато было подходить к стремительно бегущим ремням

и к бешено крутящимся колесам (одним таким колесом и оторвало нашему милому Султану его пышный хвост). Но наибольший соблазн представляла собой тянувшаяся сажен на полтораста или двести деревянная галерея, казавшаяся еще более длинной потому, что она была и узкая и низкая. Она была так длинна, что когда в конце ее, на светлом квадратике открытой двери, появлялась фигура взрослого человека, то с другого конца она казалась крошечной мошкой.

Во всю длину этой галереи шла «железная дорога», иначе говоря, были проложены рельсы, и по этим рельсам ходила особая, из Англии выписанная машина, в задке которой были размещены разного калибра крюки. Когда механизм был пущен в ход, то крюки начинали стремительно вертеться, свертывая несколько ниток в одну толстую веревку, несколько толстых веревок в один канат, несколько канатов в неимоверной толщины кабель. Для того, чтоб эта работа могла производиться, машине с крюками надлежало всё более и более удаляться от своего начала и ползти к помянутой светящейся точке на другом конце галереи. Путь этот совершался медленно и деловито, со сверлящим, уши раздирающим шумом. Зато когда он бывал пройден, а свитые, готовые канаты сняты с успокоившихся крюков, то машина по тем же рельсам возвращалась к исходному месту, и это она проделывала со стремительностью, точно лошадь, почуявшая конюшню. Одним из больших кушелевских удовольствий была именно эта поездка на возвращающейся машине. Рабочих, приставленных к ней, мы знали всех хорошо, это были наши друзья и им самим было приятно прокатить родственников хозяина — благо от этого машине никакого вреда не причинялось. И какой же гордостью наполнялось сердце, когда я на «своем собственном локомотиве» катил по этому длиннейшему туннелю. Что только ни успеешь себе вообразить во время этого, не более двух минут длившегося путешествия! Казалось, что я лечу в поезде по всем знакомым мне и манившим меня странам, по северной Америке, по Италии, по Франции, по Англии... Бывало, что я раз пять

в день проделывал эту поездку. Я терпеливо шел шагом за плетущейся, работающей машиной с тем, чтоб, сев на нее, когда она освобождалась, вихрем мчаться обратно.

Чудесно было на Кушелевке летом, но сила ее прелести не убавлялась и зимой. Напротив. Что за дивные волшебные лунные ночи запомнились мне в этом старинном парке, когда голубоватые тени оголенных деревьев ложились на сверкающий белизной снег или когда всё покрыто кружевным инеем и стоит в завороженной неподвижности. Как весело было на лыжах, коих у Эдвардсов было много пар, забираться в такие дебри, куда за нами не могли поспевать старшие! Как очаровательно праздновались у Камиши святки, когда после обеда зажигалась ёлка, вносился пунш и Матвей Яковлевич, слегка навеселе, принимался, с изумительной, при его росте, легкостью, скрестив руки на груди, танцевать джигу!

Но ничто не может сравниться с тем наслаждением, которое я и вся молодежь испытывали на Кушелевке от катанья с горы. Деревянный, довольно высокий остов горы строился на самом берегу ближайшого к дому Эдвардсов пруда, но скат шел уже по льду и тянулся сажень на тридцать, если не больше. Ко дню, когда ожидались гости, скат расчищался от снега, причем образовывались по сторонам два довольно высоких вала, лед же, тщательно подметенный, блистал, как зеркало. Особенно фантастический характер приобретало катанье при луне или даже в полной тьме. Снег продолжал белеть и в звездную ночь, дорожка льда резко чернела и лишь конец ее терялся во мгле. Салазок у Матвея Яковлевича было сколько угодно — на всех хватало, но были любители съезжать и без санок — на рогоже или просто на собственном заду. Самое веселое было слетать одним сразу вслед за другими; тогда внизу не-

пременно получалась «каша», сани налетали друг на друга все валились в кучу и только слышался визг, кокетливые жалобы барышень и дикий хохот юношей (в такие вечера на Кушелевке собиралась масса молодежи). Один раз, впрочем я больно, почти до обморока треснулся головой о глыбу льда, лежавшую на краю вала, а какой-то знакомый Эдвардсов даже сломал или вывихнул себе руку.

Но шалости и безобразия являлись в конце, тогда как первый час катания проходил скорее чинно, наподобие спортивного состязания. На салазки надлежало сесть так, чтобы ими удобно было править и чем дальше санки заезжали по дорожке — тем это было более лестно. Уже и в те времена, не знавшие организованного зимнего спорта, встречались смельчаки, поражавшие других тем, что они съезжали с горы стоя на коньках, а иные виртуозы начинали спуск спиной и лишь по дороге повертывались лицом к цели. Я таких фокусов не пробовал. С меня было достаточно, если я всех напугаю тем, что направлю санки на вал, взлечу на него и перекувыркнусь на снежном поле. До помянутого удара об лед я считал это абсолютно безопасным, эффект же получался чрезвычайный. Снег на валу разлетался фонтаном, залепляя глаза и уши, проникая за воротник и за валенки; санки, кружась, «летели к чорту», а я изображал из себя «убитого», оставаясь лежать распластанным, пока ко мне не подоспевали на помощь. Тут полагалось вскочить, «как ни в чем не бывало», и игра начиналась сначала. Длились эти удовольствия часами и кончались тогда уже, когда от усталости остро заломит плечо и оказываешься весь в поту и мокрым от проникшего до тела снега. Но в доме у Камиши так жарко пылал камин, что и переодеваться не стоило. Пожаришься в течение нескольких минут у самого огня — так что пар пойдет столбом и уже просушился весь насквозь. И тут же у камина непременно застанешь Мата, сидящего с газетой в руках в покойном кресле (спинка которого была вышита руками самой Камишеньки), а по сторонам его чинно восседающих псов и

кошек. Кстати сказать, ни собаки, ни кошки на Кушелевке не отличались породистостью, это были даже очень неказистые представители животного пролетариата, Бог знает как и при каких обстоятельствах нашедшие себе приют у добрейшей моей сестры, но, с другой стороны, это были преданнейшие, уютнейшие и умнейшие твари, почти полноправные члены всего кушелевского клана.

Глава 5

ПЕРВАЯ ШКОЛА

В 1877 году я уже был довольно большой и довольно смышленный мальчик, но, странное дело, я всё еще не умел ни читать, ни писать. Я и не ощущал особенной нужды в этом. В книгах у нас, как в моей «личной», так и в большой папиной библиотеке, недостатка не было, и я значительную часть времени проводил с ними, причем, однако, не тексты меня интересовали, а картинки. Когда же являлось желание что-либо разузнать о том, что изображено, и о чем тут напечатано, то я всегда находил кого-либо, кто бы прочел мне это, будь то мама или бонна. Да и папа с величайшей готовностью отрывался от любой работы, чтобы удовлетворить мою любознательность. Кроме того, мама читала мне на сон грядущий, а иногда и ночью, когда меня томила бессонница. Некрасивую печальную бонну, Марианну, я полюбил именно за то, что и она всегда охотно читала мне, а по-немецки я уже в это время разумел в достаточной степени, чтобы понимать всё то (не особенно замысловатое), что стояло во всяких рассказиках какого-либо «Herzblättchens Zeitvertreib», в журнале «Kleine Leute» или в пересказах для детей «Священного Писания».

Вообще об этой Марианне у меня сохранились наилучшие воспоминания, хотя пробыла она у нас не больше года. Мне всё нравилось в ней: и чуть понурая фи-

гура этой еще совсем юной девицы, и ее какой-то уютный запах, и ее тихая манера говорить, ее несомненная доброта, ее кротость. Но, любя Марианну, я разумеется, и эксплуатировал ее бессовестным образом. Я же оказался виновником того, что она покинула наш дом. У Марианны была старшая сестра, которую она очень любила и к которой мы нередко заходили во время наших прогулок. Жила эта Амалия в очень маленькой квартирке, где то на Мойке. Меня в этих случаях усаживали в первой комнате, служившей и гостиной и столовой, сами же сестры уходили в соседнюю спальню и, заперев за собой дверь, без умолку о чем-то шептались. Марианна мне наказывала, чтобы я молчал об этих посещениях, да и несколько таинственный характер их и без того как бы подсказывал, что говорить о них дома не следует. Но вот Марианна что-то уже очень зачастила с этими визитами и мне они сделались порядочно скучноватыми. Что мне было делать в крошечной комнатушке, с окнами, выходившими на самый безотрадный темный двор? Раза два-три сестры давали мне в компаньоны не то сына Амалии, не то ее племянника, косоглазого мальчика лет пяти. Этот Эрик Швальбе пробовал меня занимать разговорами или показыванием своих, очень неказистых игрушек. В общем он скорее надоедал мне, нежели развлекал меня, и я был рад, когда его не было дома. Скука таких одиночных или полуодиночных заключений побудила меня, наконец, выболтать маме про наши визиты. Марианне был сделан допрос, бедняжка стала что-то путать, а тут как-то стороной выяснилось, что Амалия принадлежит к девицам, предпочитающим «обеспеченную независимость — тяжелой службе у чужих людей» (и кто только мог прельститься такой физиономией?). Всё это привело к тому, что, хотя мама в общем была довольна Марианной, хотя она знала, что я к ней привязался, однако она всё же решила, что оставаться ей при мне не годится: «Бог знает, чему Шуренька мог бы наглядеться и научиться в таком обществе». Тут только я понял, что я наделал, и горю моему не было пределов. Послед-

нее впечатление о Марианне у меня сохранилось такое: она сидит в детской за столом под висячей лампой и тихо плачет, положив голову на скрещенные руки. Я попробовал ее приласкать: но она тихо отвела мою руку, поцеловала меня и сквозь рыдания промолвила: «Ах, голубчик, что ты наделал!»

Вскоре после этого мамочка решила, что мне пора начать серьезно учиться и что дальнейшее пребывание в тесной домашней атмосфере может оказаться и вредным. Она надеялась, что самое общение с другими детьми сгладит шероховатости моего характера, в то же время толкаемый соревнованием, я приобрету и первые основы грамоты. Все знакомые мои сверстники и даже ребята, на год или два моложе, умели читать и писать, а я — что за срам! — ни того, ни другого не знал! Кое-какие попытки были сделаны, чтобы меня познакомить с азбукой. Так, еще четырех лет я получил коробку кубиков-складушек, в которых буквы и слоги (французские) были расположены вокруг центральной картинки. Одну из них я очень оценил и запомнил навсегда. Изображала она траншею, всю уставленную корзинами с землей, ящиками со снарядами и тому подобными военными предметами; посреди же траншеи группа солдат, с кепи на головах и в пунцовых штанах, грелась вокруг пылавшего костра, тогда как по ночному небу дугами летели и разрывались ракеты. Другие картинки были в таком же роде, выбирали для меня именно такие сюжеты, желая угодить моим тогдашним «милитаристическим» вкусам. Однако, если картинки я эти и складывал с охотой, то буквы вокруг них меня только раздражали и, если я из них и запомнил некоторые, то потому только, что я знал, что, сложив их, получается наша фамилия. И всё же я никак не мог сообразить, почему буква ЭМ и буква А могут, поставленные рядом, создать звук ма? Когда же Ольга Ивановна, которая была грамотная, попробовала мне объяснить русскую азбуку, называя буквы по-старинному, аз, буки, веди, глагол, то это меня уже окончательно спутало.

Наконец, осенью 1876 года подходящая школа как будто была найдена. Правда, этот пансион Фрейлен Геркэ находился далеко от нашего дома — на Большой Конюшенной, но мама всё же остановила свой выбор на нем, так как в хорошую погоду — это была бы для меня только хорошая прогулка, а в плохую можно брать извозчика. Вот и потащили меня к этой фрейлейн Геркэ, которая жила в третьем этаже, в доме лютеранской церкви, в квартире, обставленной (как мне помнится) на типично немецкиий лад. Сама фрейлен мне понравилась. У нее было мятое, старообразное, остроносое лицо, но доброта светилась из ее серых глаз и встретила она меня с милой лаской. Понравились мне и дети, которые все были моложе меня и среди которых я, почти семилетний, чувствовал себя великаном. Без протестов и особенных страхов я расстался с приведшей меня мамочкой и весь первый день прошел в интересных играх, в течение же следующих недель я постепенно и совсем свыкся с чужой обстановкой. Но недолго было мне суждено оставаться в этом пансионе. Глупейший случай положил тому конец. Прыгая на одной ноге в какой-то игре по гладко натертому полу, я поскользнулся и со всего размаху шлепнулся прямо на нос. Было очень больно, но еще болезненнее я ощутил свой позор, а когда я увидел потоки льющейся из носу крови, то мне чуть не сделалось дурно. Впрочем, не обошлось тут и без известного наигрыша. Я смутно чувствовал, что чем ужаснее будут мои страдания и жалобы, тем позорность моего падения будет менее значительна, а потому я не только плакал, пока мне мыли и бинтовали нос, положив на него компресс, но я продолжал плакать и стенать на всём пути до дому, куда меня и отвезла одна из воспитательниц пансиона. Дома я уже вовсе не страдал, однако устроил целый спектакль, чем совершенно переполошил бедную мамочку. Я даже сам потребовал, чтобы меня уложили в постель, как «настоящего раненого»! К вечеру всё прошло, а на следующее утро я вполне мог бы отправиться в пансион, но тут я решительно запротестовал, мне казалось невыносимым, что-

бы я, опозоренный, снова предстал перед всеми этими дамами и перед моими товарищами-малышами! По слабости сердечной, мамочка, несмотря на заплаченный триместр, сдалась, и я уже больше фрейлин Геркэ не видал.

И как раз тогда мама узнала о существовании другого воспитательного заведения — в очень близком расстоянии от нашего дома и к тому же горячо рекомендованного какими-то знакомыми. Помещалось это заведение на Малой Мастерской, насупротив той католической церкви Св. Станислава, куда мы с папой ходили по воскресеньям. Киндергартен г-жи Вертер занимал весь второй (верхний) этаж углового особняка, при котором был обширный и тенистый сад. Вход был с Малой Мастерской, широкая барского вида лестница вела к классам, к квартире директорши и к длинному рекреационному залу, все пять окон которого выходили на улицу. Просторные классы имели, благодаря своим выбеленным стенам, опрятный вид; в них было много воздуха и света — не то, что оклеенные бурыми и грязно-желтыми обоями комнаты фрейлен Геркэ с их темными занавесками у окон. Киндергартен обслуживался целым штатом воспитательниц и учительниц, а в систему воспитания входили и уроки рисования, гимнастики и танцев. Меня сразу подкупило то, что на стенах висели большие, отпечатанные в красках картины, из которых одна изображала жизнь города, другая — жизнь деревни (разумеется немецкой), третья — железную дорогу и т. д. Несколько картин поменьше изображали сцены из Библии. Еще интереснее были те коробки под стеклом, которые тоже висели по стенам и в которых к картону были прикреплены разные миниатюрные предметы — в одной всё, что относится к производству хлеба, начиная с плуга, кончая приоткрытыми мешками, которые содержали разные зерна и крупы; в другой всё, что требуется в столярном деле; тут среди разных орудий производства — пил, стамесок и т. д. — можно было любоваться крошечным, точно для лилипутов сделанным, верстаком, а на верстаке лежал рубанок с дощечкой, с

которой инструмент уже как бы соскреб малюсенькие стружки.

Надо всем витал дух Фребеля. Вообще же о Фребеле и его системе было тогда среди мамаш и воспитателей столько разговоров, что и детям имя знаменитого реформатора-педагога было знакомо. Слово «фребеличка» являлось вроде диплома полной и доброкачественной подготовленности для детского воспитания. Под фребеличкой подразумевались особы, самоотверженно отдавшиеся этому делу, согласно новейшим данным науки. В моем же представлении это были очень милые, очень скромно, но опрятно одетые девицы, на редкость ласковые, но всегда некрасивые и немного... скучные. Контрастом к ним (в моем же представлении), являлись «курсистки-нигилистки», о которых тогда тоже было много разговору, — девицы необычайно решительные, нелепые, со стриженными, взлохмаченными волосами, далеко не опрятные, с вечной папироской во рту, с шляпой набекрень и непременно сопровождаемые студентами (тоже «нигилистами»).

Поступив в детский сад на Малой Мастерской, я попал в самое царство Фребеля и фребеличек. Меня пленили слова «детский сад» или «Киндергартен», как было тогда, даже по-русски принято называть такие школы для младшего возраста, однако я был несколько разочарован, когда оказалось, что хотя сад (и даже довольно обширный и тенистый) при доме имеется, но воспитанников «детского сада» в него не пускают. Только тогда, когда уже водворилась весенняя теплынь и деревья стали распускаться, хозяин дома разрешал детям иногда в нем играть. Не понравилась мне с первого знакомства и директриса Евгения Аристовна Вертер, «тетя Женя», как нужно было ее величать. Она даже показалась мне довольно страшной. Это была внушительного роста дама, тучная, с совершенно круглым лицом и двойным подбородком, с золотым пенснэ на выпученных строгих глазах и с золотой цепочкой, свешивавшейся по очень выпуклому бюсту к доволь-

но объемистой талии. Одета она была всегда во всё черное с небольшим кружевным воротничком. Особенную же грозность придавало этой, на самом деле сердечной, старой деве то, что она ходила на костылях; одно глухое постукивание по полу костылей, одно ее передвижение тяжелыми взмахами наводило на всех детей, а на меня в особенности, трепет. Другие «тети» больше располагали к себе; особенно я привязался к толстенькой, сутулой, всегда одетой в серое «тете Наташе», и чувство известного поклонения стало у меня намечаться к «тете Саше» — хорошенькой юной блондиночке, но последняя вскоре вышла замуж и покинула Киндергартен. По этому поводу был даже устроен шоколад.

Вообще я привык к школе довольно скоро, но должен сознаться, что самый фребелизм не всегда был мне по нутру. Поступив в приготовительный класс, где только урывками и исключительно в форме игры обучали детей грамоте, я должен был подчиняться всем тем приемам, которые были объединены задачей «занять детей посредством приятных и одновременно полезных упражнений». Некоторые из этих «упражнений», вроде, например, нанизывания на нитки пестрого бисера или плетения узоров из цветных бумажных полосок или еще лепки из глины, занимали меня и даже доставляли известное удовольствие. Напротив, всякое вышивание или рисование по клеточкам, и всё, что имело целью развивать наблюдение, сосредотачивать внимание и сметливость, я ненавидел. Всё это чередовалось с шуточными уроками грамоты и с настоящими играми. Но и в играх дети не были предоставлены себе; нам не давали просто побегать в пятнашки, в горелки, в жмурки, а каждая игра обязательно должна была иметь какой-то смысл. Одни игры должны были «будить чувство природы», другие знакомили нас с географией, с историей и т. п. Всё это было очень мило и даже, если хотите, трогательно, но это и раздражало какой-то своей фальшью. Я лично остро ощущал эту фальшь и она меня бесила. Дома я нередко жаловался маме и даже вышучивал ту

или иную игру, но мамочка была уверена в целесообразности всех этих педагогических новшеств (она даже получала кокой-то специальный педагогический журнал), журила меня и пыталась убедить меня в разумности и полезности всего того, что мне казалось глупым.

Из таких «природных игр» запомнилась мне одна с особой отчетливостью, но это вследствие чего-то, совершенно «в программе не предвиденного». Дело в том, что лично моя персона внесла в нее нечто такое, что в чрезмерной степени подчеркнуло «натуральность». Детям надлежало представить лес с его обитателями. Мальчики и девочки повзрослее изображали деревья и для этого должны были шевелить поднятыми над головами пальцами рук (что выражало трепетание макушек под действием ветерка), малыши же представляли заинек, лягушечек, а уже совсем крошки — сидели на полу в качестве цветочков, земляники и грибков. Вот среди этой-то «поэтичной» игры и в самый разгар прыгания лягушечек и посвистывания птичек, у корней дерева, которое олицетворял я, — вдруг потек настоящий ручеек! Случился же этот грех потому, что я, в силу своей непоборимой стеснительности, не решился своевремённо «попроситься выйти» — ведь при этом пришлось бы подвергнуться позору растегивания штанов руками «тетушек», так как я сам этого сделать еще не умел! И какой же тут получился конфуз и скандал! Какой безудержный и безжалостный смех раздался вокруг, какой переполох среди воспитательниц. Как грозно застучали костыли, примчавшейся откуда-то директрисы, как всё засуетилось, стараясь освободить меня от намокших штанишек и удалить следы моей нечистоплотности. И нельзя мне было после того без штанов оставаться среди других детей. Две «тети» схватили меня, горько плачущего от стыда и понесли в самую святая святых — в личные комнаты Евгении Аристовны, в ее спальню и там уложили на диван, закрыв одеялом. Тут я должен был пролежать пока мне не принесли сухую смену из дому и тут, лежа в одиночестве, я пережил часа полтора очень горьких размышлений. Уже

то было ужасно, что я, самый большой в классе, так осрамился, но к этому прибавился страх, как бы меня за это не оставили дома, вместо того, чтобы поехать на большой бал к дяде Сезару, что было мне обещано, что я себе выпросил и о чем мечтал много дней...

К этому балу шли приготовления не только у самого дяденьки, но и у нас. Сочинялись и шились костюмы для каких-то выступлений, а домашние наши художники, Альбер и Люля, рисовали пастелью на саженных листах бумаги какие-то уборы. Особенно мне запала в душу вырезанная фигура в натуральный рост ливрейного лакея, жестом и любезной улыбкой, приглашавшего войти. Меня манило увидать на месте эффект этого trompe l'oeil'я (зрительного обмана). То-то будет потеха, когда гости станут принимать этого бумажного человека за настоящего! Но и, кроме того, на балу у дяди Сезара обещали быть всякие диковины: фокусники, рассказчики, пожалуй и Петрушка. Бал этот был «полудетским», так как моим кузинам Инне и Маше было всего десять или двенадцать лет... Теперь же, оскандалившись, я рисковал ничего от всего этого великолепия не увидать! Лежа раздетый на диване тети Жени, точно всеми забытый, я предавался горестным мыслям. Пролежал я так, вероятно, не более двух часов, но мне они показались вечностью, тем более, что вскоре наступили ранние зимние сумерки и комната, оставленная без лампы, освещалась лишь мерцающим отблеском топящейся печи. Едва можно было различить одноногий столик, на котором покоилась толстая Библия с золотым обрезом, справа на шкафике белела фарфоровая фигура Христа, простиравшего руки. Она как бы благословляла целое полчище семейных фотографий. Но мне казалось, что всё исполнено укоризной по моему адресу, по адресу того гадкого, большого семилетнего мальчика, который не умеет себя вести и которого поэтому никак нельзя взять на торжество, готовившееся у его дяденьки.

К счастью, опасения мои оказались напрасными. Меня не оставили дома, а нарядили в парадный бархат-

ный костюм с шелковым бантом у кружевного воротника и повезли на Кирочную. Мамочка только слегка попрекнула за то, что я не «попросился». Таким образом, я увидел и «ливрейного лакея», прилаженного к стене на парадной, и тот изящный салончик, который был устроен в комнате, обыкновенно служившей секретарской, на сей же раз превращенной в палатку розового атласа. Вместо конторской мебели, в ней стояли золоченые стулья и столики, а у окна, блистая серебром и хрусталем, манил фруктами и конфетами «буфет», за которым хозяйничали два наемных лакея, с предлинными бакенбардами. Да и всё было до неузнаваемости нарядно и светло. Кузины были такие хорошенькие в своих кружевных платьях с цветными лентами в волосах. У старшей же кузины Сони платье было до ног, декольте с живыми цветами у корсажа и на голове. Получил я удовольствие и от изумительных фокусов знаменитого Рюля, и от смешных рассказов Горбунова, и от стихов про «Фонариков-сударИков», произнесенных с удивительным мастерством тем высоким господином с лысиной, который на каждом вечере у дяди Сезара или у Зарудных, по общему требованию угощал, с неизменным успехом, общество этими и другими комическими стихами. Пробыл я на балу, вероятно, до полуночи и на следующее утро мне дали выспаться, в Киндергартен я не пошел, когда же на третий день я явился на место моего позора, то все как-будто о нем забыли...

Увы, осенью того же 1877 года я в том же Киндергартене познал первые серьезные угрызения совести, познал, что за провинность следует кара, причем самым тяжелым при этом является именно ощущение стыда. В программу передовой педагогики входило, между прочим, и своего рода отечествоведение, а в основу его рекомендовалось ознакомление детей с их ближайшим топографическим окружением. Так однажды была дана задача нарисовать план нашего класса — и всей школы. Другой раз на плане Петербурга нам было показано, где мы живем, по каким улицам ходим. Всё это встречало во мне живой отклик, причем, пожалуй, не обхо-

дилось без известного атавизма, так как я, как сын и внук архитекторов, впитал в себя какое-то представление о соотношении между вертикальными фасадами с горизонтальными плоскостями. Но вот, на этих же самых интересных уроках, мы дошли до ознакомления с Невой; тетя Женя пыталась выяснить, откуда и куда текут воды нашей величественной реки и какими притоками она питается. Для того же, чтобы мы получили уже окончательное наглядное о том понятие, было решено всем классом совершить прогулку к Зимнему Дворцу и там, посредством бросания деревяшек проследить как вода из Зимней Канавки течет в Неву и в какую затем сторону эти же деревяшки поплывут дальше. В сущности, это было довольно занятно, но беда в том, что для этого понадобилось использовать воскресенье, а это мне представилось прямо убийственным, так как я чрезвычайно ценил день отдыха от школы, и вовсе не потому, что я был ленив и предавался ничегонеделанию, а потому, что только в воскресные дни я имел в своем распоряжении целый день и мог весь отдаться своим любимым занятиям: рисованию, вырезыванию, игре в театр и т. д. Поэтому экскурсия тети Жени пришлась мне в высшей степени не по вкусу, и я как-то сразу решил, что я в ней участия не приму, а останусь дома. Помнится мне, что я даже подговорил своего нового друга и сверстника Осю Трахтенберга тоже остаться, вместо того, чтобы отправиться вместе со всем пансионом на Неву.

Но как было сделать так, чтобы мамочка об этом не узнала? Тут меня и «попутал лукавый» совершить нечто весьма предосудительное. Сначала я прибегнул было к заступничеству мамы, но она на сей раз не пожелала потакать моим капризам и наотрез отказалась послать Евгении Аристовне извинительную записку. И тогда я такую записку написал сам! Всего лишь несколько месяцев, как я одолел грамоту и был далеко не тверд в ней, и однако грамота уже пригодилась, чтобы, от имени мамы, написать г-же Вертер письмо! В нем сообщалось, что я заболел и потому к назначен-

ному часу явиться не могу. Затем, улучив момент, когда мама отправилась в свой обычный утренний обход Литовского рынка, я вызвал через Степаниду дворника Василия, дал ему этот лоскуток бумаги и приказал ему (от имени мамы) снести его в мою школу. Совершив это ужасное преступление, я тогда никаких угрызений совести не чувствовал и был совершенно спокоен, уверенный в том, что моя «стратегия» приведет к желанным последствиям. Каково же было мое недоумение, когда вернувшийся Василий передал маме какое-то письмо от директрисы и когда мама, прочитав его, взглянула на меня с совершенно несвойственным ей выражением! После завтрака она оделась и куда-то вышла, а вернувшись через час не только, по обыкновению, не поцеловала меня, но, когда я стал к ней ластиться, она, приняв строгий вид, отогнала меня... В воздухе запахло грозой и таковая на следующее утро разразилась.

Гроза выразилась в беседе с глаза на глаз с тетей Женей. Эти двадцать минут беседы всколыхнули всё мое нутро; только тут я понял, что я наделал! Воспоминание же об этой беседе принадлежит к самому мучительному в моем детском прошлом. Приведенный бонной в киндергартен, я уже было собирался последовать из рекреационного зала вслед за товарищами в наш класс, когда Евгения Аристовна остановила меня и пригласила идти за ней. Мы тут же где-то и устроились в пустом классе, я на школьной парте, она же, сложив костыли, грузно опустилась на стул и всё время не отводила от меня полный упрека взор. С минуту, а может быть и больше тянулась немая, но тем более тяжелая пауза. Тут же, до того еще, что она произнесла одно слово, я залился горючими слезами. Слезы эти не были похожи на мой обычный капризный «рев». Никаких усилий, никаких гримас на сей раз не пришлось делать, никакой комедии я не ломал, но внутри меня точно прорвалась какая-то запруда и оттуда с неудержимой силой потекли ручьи и ручьи. Убедившись, что грешник ступил на путь раскаяния, тетя Женя с тихой и даже как бы любовной строгостью стала увещевать меня, держа всё

время в руках мою злополучную бумажонку. Она вопрошала меня: понимаю ли я, что совершил, знаю ли я, что совершил подлог, знаю ли, что это пре-ступ-ление и даже *такое* преступление, за которое ссылают в Сибирь и т. д. Должен тут же сказать, что это стращание Сибирью подействовало на меня куда менее сильно, нежели простое сознание собственного греха и то чувство стыда, которое буквально раздирало мое сердце. Пожалуй даже, чем дальше развивала тётя Женя эту тему, тем менее я ощущал пользу от этого, тем яснее во мне пробивалось чувство, похожее на досаду — зачем она всё это говорит, ведь я и без того уже всё *понял*! Она же видимо наслаждалась взятой на себя ролью. Конец беседы оживил первое чувство. Этот конец был посвящен Богу, и вот тут я снова стал вполне понимать ее; мне стало понятно, что если я кого-либо особенно обидел, так это своего ангела-хранителя, а следовательно и самого Боженьку, от которого ничего не скроешь, который знает всё!

Вообще я в это время уже молился. Лет до пяти я только бормотал какие-то имитации молитв на квазифранцузском языке, кончая словом «ainsisil», что должно было означать ainsi-soit-il (да будет так). Это сопровождалось (уже на русском языке) молитвой за папу, маму, братьев, сестер и еще кого-либо по случайному выбору. Но затем я выучился произносить в точности слова Отче наш (опять-таки по-французски, что являлось как бы неким подтверждением нашего происхождения), и я каждое слово отделял от другого, стараясь вникнуть в их смысл. Это было в то же время и первое усвоение целых фраз по-французски, тогда как вообще я по-французски еще не говорил. Попрежнему, вслед за «Отче наш» я произносил свои личные обращения к Господу, в которых между прочим просил Его и о том, чтобы Он помог мне быть «добрым и хорошим мальчиком», и специально о том, чтобы, помня свой главный порок, я «не лгал». В «поминании» же случались варианты. Если я бывал кемнибудь обижен, то это лицо пропускалось в наказание. Особенно часто это бывало с нашими прислугами и с оче-

редной бонной или гувернанткой. Но, разумеется, такой опале родители и братья с сестрами не подвергались никогда.

Многие основные вопросы религиозного порядка понятны детскому разумению, мало того, они представляются ребенку как бы совершенно естественными. Едва ли правы те, кто указывают при этом на известный атавизм или на «исторические навыки». Если последние и существуют, то со многими из них человек расстается с легкостью. Но трудно в нем уничтожить непосредственный интерес к вопросам бытия и его ощущение потусторонности. Церковь, церковная атмосфера, чувство богобоязни и богопочитания, — и что еще важнее потребность в богопочитании, обращение к высшему началу и какое-то «желание благочестия» — всё это представляется людям, вытравившим в себе, в угоду материалистической доктрины, подобные внутренние движения, искусственно парализовавшие или охолостившие душу (они и самое бытие души отрицают), всё это представляется им чем-то недоступным для детского сознания и вообще для «существа еще нетронутого культурой». На самом же деле ничего так скоро не усваивается детьми, хотя бы выросшими в безбожной среде, как именно отношение к Богу и самый принцип благочестия. Но и «противоположные идеи» доступны детям — и среди них идея греха, не только как ослушание каких-то наказов, но как что-то нехорошее по существу. Представление же о грехе пробуждает и то, что мы называем совестью. Я, по крайней мере, в те ранние детские годы, гораздо чаще, чем впоследствии, задумывался над такими, казалось бы вовсе не детскими проблемами, как загробная жизнь, как царствие небесное, как Божий суд, как смерть и бессмертие, как спасение души. Иногда, лежа в кроватке и уткнув нос в подушку, что создавало какое-то подобие отрешенности от всего окружающего, я без усилий вызывал в себе чувство известного экстаза или точнее я чувствовал приближение такового, и заранее радовался тому, что я его удостоюсь. В такие поистине блаженные минуты я совершал своего

рода полеты в то, что принято называть небесными сферами, как бы приближаясь к самым «воротам Рая». Замирая от священного ужаса, я сосредоточивал свою мысль на представлении о Вечности и о Бесконечности. Тогда и Ад стал представляться мне уже в ином виде, нежели тогда, когда я, совершенным малышом, разглядывал картинки Страшного Суда, приколотые к стене в кухне. В реальном существовании Ада я не сомневался, но самые слуги Сатаны мне не представлялись непременно в виде рогатых и хвостатых чудовищ, а представлялись они в виде злых, но, пожалуй, красивых и даже пленительных ангелов.

Вот в связи с представлением о каких-то верховных силах, добрых и злых, у меня сформировалось тогда нечто вроде культа «ангела-хранителя», что является наиболее человечной стороной всякого верования. Ангел-хранитель это те же пенаты, те же лары, те же примитивные тотэмы дикарей, те же феи, и те же гении-покровители. В одно и то же время это и советники нашей совести и посредники между нами и Богом. Господь Бог всё знает, всё видит, Он вездесущ и всемогущ, но тем не менее при нем состоят и более однородные с Ним нежели мы смертные, — мириады неизменно Ему преданных «сил небесных» — неисчислимые полчища ангелов. Их-то Он и приставляет в качестве каких-то опекунов и руководителей к отдельным человеческим существам. В существование такого специально пекущегося обо мне, за мной следящего, меня охраняющего более высокого разряда лица (не «понятия», а именно лица), я верил так же твердо, как и в Бога и в Сына Его Христа.

Тайну этого, самого близкого ко мне существа мне иногда мучительно хотелось разгадать. Я прямо изнывал, что не могу своего Ангела-хранителя увидать, с ним заговорить. Проснувшись утром, я прикидывался спящим в надежде, что авось я захвачу тот момент, когда ангел «исчезает с глаз». Иногда я обращался к нему со страстной молитвой, чтобы он мне открылся, пред-

стал передо мной. Часто я вел с ним мысленные беседы, причем вопросы я задавал шопотом, а ответы слушал где-то глубоко в себе. Я непоколебимо верил, что при «отлете души от тела» или при рождении человека, ангел сразу оказывается тут же; в одном случае он «берет душу в свои руки и несет куда-то», в другом он «вкладывает ее в тело». Таких ангелов с душами в руках в виде младенцев, я видел на картинках и в скульптурах (два фарфоровых медальона с известными барельефами Торвальдсена над моей кроваткой), но как раз такие изображения я вовсе не принимал за подлинные, к ним я относился как к некиим символам, к иносказаниям. В то же время я не допускал мысли, что такие бесплотные силы вообще не существуют. Я имел и известное «конкретное представление» о природе ангелов. Ничего еще не ведая о различиях пола, я «знал», что ангел не мужчина и не женщина, и всё же нечто, подобное человеку. В том, что за спиной у него крылья, я не был уверен, но окрыленность его мне нравилась и я огорчился бы очень, если бы меня стали уверять, что у ангелов крыльев нет. Не мог я себе представить ангела нагим — однако вот «ангелочки», вроде тех, что представлены у ног «Сикстинской Мадонны», выглядывающими из за какого-то парапета, те «могут быть» голенькими. Ангелочки, «херувимчики», почти что «амуры» — вообще особый разряд небожителей, они милейшие и нежно мною любимые, но наверняка не им поручается попечение о нас. Что же касается до тех одежд, в которые художники облачают ангелов — то я чувствовал, что это «только так», нечто приблизительное и условное... Особенную нежность я, кстати сказать, питал к тем исполинским и действительно прекрасным полунагим юношам, которые восседали и «балансировали» на карнизах по сторонам бокового алтаря в нашей прекрасной церкви Св. Екатерины на Невском...

Что же касается до самого Господа Бога, то Его наружность я рисовал себе не иначе, как в виде почтенного несколько печального старца с длинной бородой (и уже Его я никак не мог бы вообразить не одетым). Впрочем,

меня не смущало то, что иногда я видел Бога, изображенным в виде одного только «всевидящего» ока, заключенного в треугольник. Менее всего в те годы останавливалась мысль на Христе, если не считать, что я радовался Его рождению на Елку и Его воскресению на Пасху. Картин, изображающих страдания Христа, я видел множество, не говоря уже о распятиях, которые встречались на каждом шагу (в спальне моих родителей висело большое скульптурное распятие), но эти изображения почему-то «не доходили до моего сердца». Марианна пыталась мне читать отрывки из Евангелия, но, насколько я любил библейские истории, настолько эти истории Нового Завета мне казались скучноватыми — я не понимал самой сути их.

Очень значительная перемена в моем отношении ко «всему божественному» произошла благодаря тому же киндергартену. Мой «подлог» всколыхнул неведомые мне до той поры духовные ощущения. Библейские же рассказы, из которых состояли субботние уроки тёти Жени, осветили новым светом уже известные мне истории, случившиеся давным-давно в далекой «святой» земле. Я теперь безусловно стал верить в избранность Божьего народа, в благо Божьих путей, всего «Божьего порядка», а также в конечное торжество Божьего начала над всяким злом. Но не ясным оставалось то, что Господь должен был пожертвовать своим Сыном и что избранный Им же народ этого Сына Божьего не признал и даже, несмотря на совершенные чудеса, казнил Его. И как же так «избранный народ» лишился затем Божьего покровительства? В то же время я недоумевал, как этих же самых «евреев, распявших Христа», всё же терпят среди нас, христиан, а «святой землей владеют турки и басурманы»? Это были смущающие вопросы, но любое объяснение, всегда как-то наспех даваемое в таких случаях старшими, удовлетворяло меня, ибо я всё равно был уверен в том, что всё это точно и верно, доказано и признано всеми.

Урок Священного Писания Евгении Аристовны каж-

дый раз неизменно оканчивался особой церемонией. Ее рассказы не захватывали большого периода, а довольствовалась она отдельными эпизодами — историей грехопадения и изгнания из рая, историей Каина и Авеля, историей потопа и т. д. Их хватало на целый урок. Рассказывать же она была мастерица. В драматические моменты ей удавалось заразить своим возбуждением весь класс. Передавая что-либо чувствительное или прелестное (скажем описание рая или ликование Ноя после выхода из Ковчега при виде обновленной, прощеной земли), она вся как-то млела, а в глазах показывались слезы. При этом она импровизировала целые диалоги и подолгу останавливалась на таких подробностях, о которых нет и помину в текстах. И вот, когда тема данного урока была исчерпана, то вызывались двое из маленьких слушателей (этот вызов служил известной наградой за поведение) и они отправлялись в ее спальню для того, чтобы оттуда принести Библию.

Это была не простая обыкновенная книга Ветхого и Нового Завета, а это был толстенный и внушительный фолиант с золотым обрезом и с золотыми гвоздями на черном переплете. Библия эта всегда покоилась на отдельном круглом одноногом столике, крытым вязаной салфеткой и стоявшем перед диваном. Книга была довольно тяжелая, а нам она казалась прямо огромной и пудового веса — до того она была наполнена святостью. Надлежало ее нести вдвоем, взяв ее с двух сторон, нести бережно, отнюдь не торопясь, дабы, не дай Бог, не уронить ее. Когда же книга была передана в руки тёти Жени, то она, не выпуская ее, вплотную придвигалась на костылях к нашим партам и клала ее на ближайшую. Затем с торжественной медлительностью она открывала ту страницу, в которую была вложена расшитая закладка, и тут показывалась картина, изображавшая как раз только что описанное событие. К этому моменту всем было разрешено сойти со своих мест и приблизиться; получался даже некоторый беспорядок, кое-кто взбирался на скамьи, чтобы лучше через головы товарищей всё разглядеть. Я же испытывал в эти минуты дрожь

восторга. Уж очень мне нравились эти большие во всю страницу картины. То не были какие-нибудь обыкновенные, а принадлежали они немецкому художнику Шнорру и рисовали они сцены священной истории с удивительной уверенностью, ясностью и убедительностью. Они были полны благородной красоты, на которую так отзывчива детская душа. Мне всё это казалось не менее прекрасным, нежели композиции обожаемого Рафаэля! Вернувшись домой, всё еще под впечатлением виденного, я спешил поделиться им с папой и папа с большим одобрением отзывался о Шнорре, с которым он, кажется, и лично был знаком в Риме. Это меня трогало чрезвычайно, мой же восторг, видимо, умилял папочку. Вот почему, когда в качестве пожелания на Рождество я заявил, что хотел бы иметь Библию Шнорра, то папа вовсе тому не удивился, не сказал, что этот довольно дорогой подарок не для моих лет, а сразу согласился. Библию Шнорра, приобретенную в магазине Криха, я, к неописуемой моей радости, и увидал на столе под елкой, вечером 24 декабря 1878 года. Моя Библия была точно такая, как библия Е. А. Вертер, и даже переплет с золотыми гвоздями был такой же. Чудесную книгу я мог теперь разглядывать, когда мне вздумается и разглядывал я ее целыми часами. Большой драгоценностью я продолжал ее считать и впоследствии, и вот почему я поднес ее обожаемой девушке, которую избрал себе в подруги жизни. В свою очередь Библия Шнорра красовалась среди приданого моей Ати и она же по сей день находится с нами, взятая с собой в эмиграцию среди вещей, особенно для нас ценных.

Прибавлю еще, что именно восторг от рисунков Шнорра, от чудесной гармонии, коей исполнены эти несложные, но местами полные драматизма композиции, восторг от всего их духа, «действительно святая искренность» этого памятника искусства, много значили в выработке моих эстетических запросов и убеждений. В частности, я через Шнорра подошел к немецким романтикам — к Швинду и Лудвигу Рихтеру, а также и к прерафаэлистам и к нашему Александру Иванову. Бла-

годаря Шнорру я получил некоторое мерило, которое и до сих пор вовсе не утратило своего значения, несмотря на всё то пестрое и частью весьма смущающее, чем постепенно загромоздилась моя художественная память и самая моя «художественная совесть».

Как во всякой образцовой школе, так и в киндергартене г-жи Вертер, преподавались еще два предмета: уроки рисования и уроки танцев. Рисованию учил художник Лемох, танцам известный балетный артист — Стуколкин. Однако, как преподаватели ни тот, ни другой никуда не годились и во всяком случае я от их уроков не почерпнул ровно никакой пользы. Лемох был тихим скромным господином, он говорил еле слышным голосом и позволял нам на своих, довольно редких, уроках шалить и баловаться, сколько нам угодно. И одет он был, как-то «тускло» во всё серенькое, однако не без изысканности, бородка же у него была жиденькая. Мне нравился, впрочем, грустный взор Лемоха, да и вся его ласковость. Значительный ореол сообщало Лемоху то, что он был участником Передвижных выставок[1], и особенно, что он давал уроки детям наследника цесаревича (в том числе и старшему его сыну, будущему императору Николаю II).

Бестолковым учителем был и милейший Стуколкин.

[1] Картины Лемоха мне совсем не нравились, но они вполне отвечали программе передвижников, ибо изображали исключительно печальные события из крестьянского быта: «Больная мать», «Сиротка» и т. п. Позже я встречал Лемоха на многолюдных собраниях у Альбера, который одно время увлекался его красавицей-дочерью. Увидев одну из моих тогдашних, очень наивных и беспомощно-ребяческих композиций, изображавшую Жанну Д'арк при осаде Орлеана, он мне сказал: «Вам следовало бы серьезно заняться рисованием, у вас заметный талант». Возможно, что он таким образом предлагал себя в учителя, но, помня, его преподавание, я, разумеется, не подумал обратиться к нему за руководством.

Возможно, что в Театральном училище, где жили прочно установившаяся система и весьма почтенные традиции, где он должен был подчиняться раз установленной программе, его уроки приносили пользу: возможно, что и как преподаватель «салонных» танцев Стуколкин умел показать, как надо танцовать кадриль, вальс, польку и мазурку. Но в киндергартене он занимался не этим, а час, посвященный уроку, целиком уходил на то, что мы, расставленные в шашечном порядке, без конца шаркали то одной ногой, то другой, и это под гнусавые, убийственно печальные звуки скрипочки, на которой пиликал всюду сопровождавший его унылый господин, в очень поношенном сюртуке. Сам же Стуколкин был с утра одет с иголочки во фрак, а некрасивое, на клоунское похожее его лицо было гладко выбрито. Когда он замечал, что наше шарканье теряет и последнюю степень энергии, он делал перерыв и этого мы ждали с особым интересом, так как тогда он устраивал нам род спектакля. Корча самые уморительные рожи, он показывал, как не нужно танцовать и в этой гротескной имитации он доходил до виртуозности. Смеялись до упаду не только мы, малыши, но и заходившие в зал разные «тёти» с самой Евгенией Аристовной во главе. Оставался печально-равнодушным один только музыкант, которому видно давно успели надоесть эти обезьяньи штучки своего патрона[2].

[2] Мне вспоминается аналогичный случай «преподавательского смехотворчества». Такие же взрывы неудержимого хохота вызывал в казенной гимназии, куда я поступил в 1880 г., наш учитель чистописания г. Шнель. Казалось бы, что может быть скучнее, нежели уроки, ныне всё более пренебрегаемого художества каллиграфии, однако Шнель обладал, несомненно, настоящим даром карикатуриста и этот дар проявлялся не в каких-либо шаржах на людей, а в гениально карикатурных претворениях букв. Шнель рисовал их на доске в громадную величину. Делал он это с похвальной целью присрамить нерадевших или неумелых и показать, как надо рисовать. Нарисует он какое либо уморительное Б или Щ и тут же рядом изобразит, с изумительным совершенством, те же Б или Щ, уже в идеальном преображении — просто неописуемыми красавицами. Увы, и его уроки остались для меня лично совершенно бесплодными. Корявый почерк выработался у меня очень рано и таким-же корявым он и остался.

Что касается до прочего преподавания в киндергартене, то оно было отлично поставлено и я быстро выучился читать и писать; так называемая фонетическая система сразу объясняла мне, в чем дело и почему буквы сливаются. Да и в арифметике, и в каких-то началах географии киндергартен сумел сделать из меня усердного, добросовестного и понятливого ученика. Скажу больше — всё, чему я тогда научился, создало основу, которую не удалось затем расшатать ни дилетантски поставленными домашними уроками, ни безобразной казенщиной гимназии. Даже и до сих пор то малое, что я знаю твердо, это то, чему я выучился во время своего пребывания с осени 1876 г. до весны 1878 г. в школе г-жи Вертер.

В этой же школе я испытал впервые сладость первого «публичного успеха». Это произошло на каком-то чествовании тёти Жени — в день ее рождения или именин. Был подан на всю школу шоколад, были налажены какие-то танцы и игры, а затем кому-то пришло в голову устроить что-то «театральное». Детвору младших классов посадили в зале рядами перед дверью в коридор, а в этих дверях поочередно стали появляться мои товарищи и товарки. Одни лопотали какие-то стишки, другие пели песенки. Всё это показалось мне ужасно скучным и меня стал разбирать какой-то особый задор. Ужасно захотелось что-либо представить удивительное. Что именно, я сам не знал до момента, когда поднялся занавес, точнее, когда отворились двери из коридора в залу, но в этот момент меня «осенило вдохновение» и, побеждая обычную робость, я «начал действовать». Что именно я изображал, я не сумел бы и тогда объяснить. Публика увидала меня сидящим за низеньким (по моему же требованию поставленным) столом, погруженным в какое-то занятие. Я с азартом рылся в книгах, что-то быстро записывал и часто изо всех сил хлопал по столу, корча вдохновенные рожи. Кончилась же эта немая сцена тем, что я влез со стула на стол, на столе изобразил припадок безумного гнева, а затем со всего размаха грохнулся на пол, причем постарался это сделать, как заправский

актер — так, чтобы не было больно. «Зала огласилась неистовыми аплодисментами», я же, счастливый, выходил на вызовы и раскланивался, раскланивался. Курьезно, что этот идиотский мой дебют запечатлелся во мне на всю жизнь. Запечатлелся не один только тогдашний успех, но и то не совсем приятное чувство, которое, несмотря на успех, во мне тогда же пробудилось. Я понял, что мой успех не заслужен, что я бессмысленно что-то наерундил и это послужило мне навсегда уроком; я тщательно с тех пор старался от всякого подобного «бессмысленного гаерства» воздерживаться, но не могу утверждать, чтобы это мне всегда удавалось.

Глава 6

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА

Приближение войны стало чувствоваться задолго до ее объявления и, хотя я пребывал в том блаженном состоянии, когда газет еще не читают и политическими убеждениями не обладают, однако всё же и на мне общие настроения отразились довольно ярко. Но та Русско-турецкая война носила особый, я бы сказал несколько «семейный» характер — такой по крайней мере она представлялась всем тем, кто почувствовал, что семья русских людей вдруг может пополниться присоединением к ней «братьев славян» или как их с чисто родственной фамильярностью называли — «братушек». Все разговоры в обществе, где бы и когда бы они ни велись, вертелись вокруг сербов, болгар и черногорцев. В них главным образом видели несчастных мучеников, стенавших под игом турок, а также изумительных героев, готовых жертвовать всем, чтобы завоевать свободу и независимость. Особенное впечатление на меня производили рассказы про те пытки, которым подвергали «кровожадные башибузуки» жителей подвластных Порте стран. На страницах иллюстрированных журналов печатались картинки на эту же тему, а на выставках появлялись картины иной раз значительных размеров, в которых художники старались выразить свое негодование или свой патриотический восторг.

Одну из этих картин я особенно запомнил, и это

потому, что рассказывали, будто «сам наш добрый Государь», увидав ее, расплакался. Изображала она (описываю по памяти, по своей детской памяти) двух жутких разбойников в чалмах, которые держат под руки полураздетую женщину, казавшуюся мне пьяной. На земле лежала другая полураздетая женщина с закрытыми глазами. Называлась картина, если не ошибаюсь, «Турецкие зверства» и принадлежала она кисти наиболее прославленного в те годы художника — Константина Маковского. Увидав ее в Академии, я скорее был разочарован этой, на мой вкус, слишком пестрой в красках картиной. Еще не побывав на выставке, слушая разговоры старших, я — готовился увидать нечто чудовищно страшное (что в детские годы служит величайшей приманкой), а тут как раз самих зверств я и не приметил. Женщина на полу — была «просто мертвой», а что должно было произойти с девушкой, которую схватили злодеи, об этом я в те дни не мог догадаться.

Весной 1877 г. война была объявлена и с этого момента можно было видеть полки за полками и длиннейшие обозы, отправляющиеся на вокзалы, на городских же площадях происходили смотры и учения. Приехали к нам прощаться отправлявшиеся на фронт наши родственники, все три брата артиллеристы Шульманы, кузен Николай Михайлович Бенуа и кузен Миша Андерсин, явились и разные знакомые, явился в белой блузе-рубахе и в белом кепи, с подвешенным на затылке платком, с биноклем на черном ремне Зозо Россоловский, отряженный газетой в качестве военного корреспондента. Его и без того выпученные глаза теперь таращились от энтузиазма и преданности славянскому делу прямо ужасающим образом (недаром он был родственником Аксаковых). За семейными обедами разговоры на политические темы приобретали обостренный характер и зачастую обрывались «тяжелыми молчками», а в воздухе повисала угроза общей размолвки. Я не узнавал своего зятя Женю Лансере, обычно столь тихого, угрюмого. Он, не стесняясь присутствием Мата Эдвардса, с яростью нападал на англичан, видя всюду их козни и про-

вокации, а позже, в период Берлинского конгресса, от Жени особенно доставалось лорду Биконсфильду. Именно тогда его фанатическое поклонение «святой Руси» обнаружилось с особой силой, не встречая в других настоящего сочувствия. Моментами Женя начинал даже до того вызывающе вести себя, что терпеливая, покорная его жена, сестра моя Катя, принуждена была его урезонивать и призывать к сдержанности.

Появилась и масса песенок, куплетов, а в сатирических журналах только и рисовались в смешном виде турки, англичане, иногда и австрийцы. Цель их была возбудить народный гнев и презрение к врагу и его сообщникам. Даже мальчишки в школах и гимназиях, не говоря уже о кадетиках, все заделались бравыми, на всякое геройство готовыми вояками. Меня же это только смущало. Почему-то мне казалось, что все ломают какую-то комедию и стараются друг друга обмануть. Директриса нашего киндергартена, еще до объявления войны, пыталась вызвать в нас коллективное слезоточение и добилась-таки, что девочки и мальчики рыдали перед принесенной ею лубочной картиной, на которой были изображены злодейства турок. Но к собственному удивлению, мне тогда не удалось выдавить из себя ни одной слезинки, а чтобы скрыть от других такую свою непростительную черствость, я закрыл лицо платком и вздрагиванием и аханием старался передать то, чего не испытывал. Позже, к весне и ранней осенью, нас заставляли в киндергартене часами щипать корпию. Это было не только очень скучно, но и опять-таки раздражало меня ощущением фальши. Работа у меня к тому же не клеилась и как только тётя Наташа поворачивала спину, я клал порученные мне тряпки обратно в общую кучу. Впрочем, моментами мне удавалось вообразить те зияющие раны, на которые лягут эти нащипанные нами волокна, и тогда, движимый состраданием, я снова принимался за работу.

Детям война представлялась не иначе, как победоносной. Так например, мы совершенно не ощущали опас-

ных и трагических перипетий, связанных с осадой Плевны. Правда, это происходило летом, когда игры на воздухе не позволяли сосредоточиваться на чем-либо таком. Зато и я, и все мои маленькие товарищи были потрясены взрывом турецкого монитора на Дунае, но этому особенно способствовали на сей раз эффектные отпечатанные в красках картинки, изображавшие это событие в виде какого-то извержения вулкана, с несколько притом комической нотой. Разве не «смешно» было видеть, как в столбе пламени и в кроваво-красных облаках дыма барахтаются фигурки турок? Мне при этом было лестно узнать, что автором этого извержения был тот самый Дубасов, который год назад спас нашего Колю от гибели в морской пучине. Когда приходило известие о гибели какого-либо знакомого, то это казалось чем-то совершенно исключительным и никакой угрозы для других не представляющим. Я убежден, что так же, как дети, относилось и большинство взрослых; так вообще относятся люди к самому ужасному из бедствий. Происходит же это нелепое и преступное отношение от недостатка воображения. В своем месте я говорю о том, какое потрясающее впечатление произвели на русское (и на всё европейское) общество картины Верещагина, в которых художник представил и подчеркнул нелепость и преступность войны, но именно таких картин никто из бывших на войне тогда не рисовал и не описывал, а те, кто приезжали с фронта (приезжал на побывку и загорелый, как арап, Зозо), те все считали своим долгом выставлять виденное ими в одном и том же ура-патриотическом освещении и в каких-то ликующих красках.

С войной у меня связано и одно довольно яркое театральное впечатление. Я уже выше говорил о балете «Роксана-краса Черногории», теперь же нужно еще раз вернуться к нему. Премьера состоялась не то в конце 1877 г., не то в начале 1878 г., и на первом представлении мы присутствовали, сидя большой детской компанией в двух смежных ложах в Большом театре. Спектакль имел определенно патриотический характер; он на-

чался с национального гимна и завершился им же, причем публика заставляла оркестр повторять «Боже царя храни» несколько раз. Подробности сюжета «Роксаны» стерлись в моей памяти, но отдельные эпизоды сохранились. Особенно меня поразил тот момент, когда во втором действии бравый черногорец, любящий красавицу Роксану, вступает в рукопашный бой со свирепым башибузуком, не то похитившим, не то собирающимся похитить любимую ими обоими девушку. Происходило это ночью на деревенском, лишенном перил мосту, перекинутом через сверкавший в лунном свете водопад; оба соперника встретились на нем, и черногорец, после нескольких схваток, сбрасывал огромного турка в стремительный поток... В конце балета происходило чествование воссоединившихся любовников и среди всяких других плясок, в которых считалось, что балетмейстер в точности воспроизвел подлинные танцы южных славян, выделился детский марш, исполненный воспитанниками театрального училища. Бодрая, веселая музыка этого марша приобрела сразу тогда исключительную популярность и его можно было слышать еще десятки лет спустя во всех увеселительных садах и на детских и других балах. И я запомнил марш из Роксаны целиком; и помню его до сих пор от начала до конца. С этого же спектакля мне знакомо имя Марии Петипа, так как внимание взрослых, сидевших в нашей ложе, было обращено на красоту дочери знаменитого балетмейстера, только что тогда начавшей выступать. О ней было даже больше разговоров, нежели о главной танцовщице, не очень казистой Евгении Соколовой.

Другое театральное воспоминание «военного времени» относится к балаганам. В эту зиму (1878 г.) балаганы, в которых продолжали идти «Арлекинады» и другие безобидные истории, пустовали, зато исключительным успехом пользовался театр Малафеева, где, вместо его специальности — инсценировок народных сказок (довольно грубых и безвкусных), на сей раз поставлены были, на масляницу и на Пасху, по драматической пьесе с сюжетами, отражающими только что происходившие

события. Я не любил такие представления, но меня потащили кузины Храбро-Василевские и кое-что из этих спектаклей я, если и не оценил, то запомнил. Действие начиналось с идиллического изображения болгарского деревенского быта. В тесном семейном кругу шли приготовления к бракосочетанию дочери дома с молодым горцем. Но идиллии тут же наступал конец с момента появления всё тех же злодеев — башибузуков. Древнего дедушку на глазах у всех убивали, отца, главу семейства, привязанного к столбу, подвергали пытке за то, что он отказывался указать место, в котором засели русские, а связанную девушку злодеи собирались увезти с собой. Но, к счастью, очень миловидная, переодетая мальчиком, девочка успела предупредить русский отряд, и помощь поспевала во время. Башибузуки тут же были застрелены, болгарин отвязан от столба, невеста и жених освобождены и воссоединены, а над трупом дедушки все склонились в молитвенном умилении. В это время хата превращалась в апофеоз, изображавший в центре «Спасительницу Россию».

Другая пьеса — почти целиком состояла из военных действий. Генералы и среди них чуть ли не сам Гурко допрашивали турецкого шпиона, а во второй картине, на фоне эффектной декорации, изображавшей снежные вершины Балкан, в течение добрых пяти минут проходили войска «Белого царя» — всё те же сорок человек солдат и всё та же единственная пушка, запряженная двумя клячами. Солдаты и пушка скрывались в левой кулисе и тотчас снова появлялись из правой. В другой сцене было представлено сражение — пожалуй, самое взятие Плевны, если не Карса. Но это было не столько зрелище, сколько «слушаще». От выстрелов и взрывов подымался такой шум, что и после того звенело в ушах — а происходившее на сцене почти скрывалось за клубами дыма. Эти выстрелы были слышны и снаружи на площади и, несомненно, они оказывали притягательное действие; густая толпа ожидала очереди, несмотря на мороз; и приходилось ей ждать очень долго. Не могу сказать, чтоб и эти Марсовы потехи оказывали

какое-либо возвышающее действие на меня. Видно, я в то время уже «перестал быть милитаристом». Если попрежнему я и любовался формами, парадами и смотрами, если любил расставлять своих оловянных солдатиков, то уже ненавидел дело войны, как таковое.

Отражением Русско-турецкой войны явились еще выставки картин Верещагина и те панорамы, которые были показаны Петербургской публике и которые изображали «Взятие Плевны» и «Взятие Карса».

Выше я уже упомянул о том впечатлении, которое произвели на меня картины Верещагина, но здесь необходимо к ним вернуться: уж слишком они взволновали тогда общественное мнение, слишком много толков и споров они возбудили. Наиболее нашумевшая из этих выставок — а именно та, на которой были представлены последние военные события, давно закрылась, а на наших семейных обедах дядя Костя и дядя Сезар всё еще схватывались по поводу произведений Верещагина с дядей Мишей, с Женей Лансере, с Зозо Россоловским и с почтеннейшим синьором Бианки. И как схватывались! Но только «партийной дисциплины» в этих схватках не было, вследствие чего получалась дикая путаница. Те же лица, кто восторгались живописью Верещагина, готовы были его обвинить чуть ли не в государственной измене, а те, кто хвалили Верещагина за его правдивость, возмущались «шарлатанизмом» художника. Этот шарлатанизм они усматривали, как в том, с каким искусством художник «умел рекламировать» свое творчество, так и в том, как эти выставки были устроены и освещены. Окна залы того частного дома (где-то на Фонтанке), в которой была устроена наиболее нашумевшая из них, были закрыты щитами, а в получившемся мраке самые картины, ярко освещались электрическим (только что тогда изобретенным) светом; вследствие этого солнечные эффекты казались ослепительными и предельно иллюзорными.

Как я уже упомянул, споры о Верещагине были до того возбуждающими, что даже мамочка, вообще вы-

ставок не посещавшая, решила отправиться посмотреть собственными глазами, что это такое. И несмотря на то, что ее предупреждали, что там невообразимая давка, она всё же взяла меня с собой. Ее, болезненно боявшуюся толпы, не оттолкнуло и то, что пришлось ждать очереди снаружи у подъезда; внутри же в полутемноте топталось несметное количество народу, но, раз попав за дверь, идти на попятный было поздно и мы, толкаемые со всех сторон и не раз рискуя быть раздавленными, обошли-таки выставку, расположенную в нескольких залах. Почему-то у нас особенно спорили о картине «Si jeune et déjà décoré» («Такой молодой, а уже отличившийся»), так по-французски и озаглавленной, которая изображала юного франтоватого свитского офицерика, увешенного орденами. Я эту картину сразу и стал искать, но власти уже успели ее удалить с выставки, увидав в ней какие-то дерзостные намеки на каких-то салонных военных, которые умели делать карьеру на общем несчастьи. Зато я увидал «Панихиду на поле битвы», и эта картина меня поразила до глубины души. Странное дело, оказала она на меня одновременно и отпугивающее, и притягивающее впечатление. Некоторых очень нервных детей притягивает всё, что «пахнет смертью», и как раз я в те времена отличался в сильной степени этой странной необъяснимой чертой. Поэтому я и остолбенел, увидав это поле, на котором до самого горизонта, вместо травы или вспаханной земли, виднеются серо-желтые обнаженные, точно кем-то посеянные людские тела! Фигуры смиренно и покорно кадящего батюшки в черной рясе и стоящего за ним на вытяжку солдата только усиливают впечатление безнадежного молчания и пустынности, а унылое серое небо лежит тяжелым покровом над всей этой сценой.

Сейчас Верещагин почти забыт и как раз я был одним из первых, кто еще в 1890-х годах восстал против его «абсолютной» славы — ведь в те времена за границами России из русских художников только его и признавали, в России же многие почитали Верещагина за какого-то мага живописи, до которого всем западным

новаторам, как до неба. Это была одна из вечно повторяющихся ошибок общественного вкуса, и я был прав, когда именно восстал против всего того, что в живописи Верещагина было жесткого, подчас даже любительского, и просто безвкусного. Теперь же, мне думается, пора снова переменить такое отношение к мастеру и заняться некоторой реабилитацией его. Верещагин не только возбуждал скандалы смелостью своих тем, но в нем была и та сила убеждения, та воля к творчеству, та острота наблюдения и яркость вымысла, которые, если и не создают еще живописца, как таковою, то во всяком случае являются отличительными чертами подлинного художника. Иные истинно жизненные памятники своего времени, созданные художником, бывают куда ценнее чисто «эстетических удач».

К таким «памятникам эпохи» следовало бы причислить и помянутые панорамы «Плевны» и «Карса», которые были не без мастерства написаны на основании добросовестно собранных документов французским художником Филипото и которые были выставлены на показ публике одна после другой в специально сооруженном круглом здании на набережной Екатерининского канала, недалеко от Казанского моста. К сожалению, однако, панорама, как бы она хорошо ни была написана, не может служить памятником уже по той простой причине, что срок ее существования всегда краток. Панорама требует целого сооружения и представляет собой нечто чересчур объемистое и громоздкое. Почти все панорамы (а на них была большая мода в конце XIX века) и оказались по прошествии немногих лет уничтоженными[1], или, что равносильно уничтожению полотна на которых они написаны, свернуты и сложены в какие либо склады. Между тем, какой громадный интерес представляло бы такое иллюзорное изображение действитель-

[1] Особенно я жалею о гибели превосходной панорамы древнего Рима (в дни Константина Великого), созданной проф. А. Вагнером и бывшей многие годы одной из приманок Берлина. Она, кажется, сгорела. Сгорела, если я не ошибаюсь, и превосходная панорама Пиглъхейма, изображавшая Голгофу.

ности, если бы оно дошло до нас, скажем, от времени Людовика XIV или королевы Елизаветы? Да уж и сейчас было бы не безынтересно увидать панораму, написанную Невилем и Детайлем (фрагмент ее в Версальском музее) или те же панорамы Русско-турецкой войны 1877 и 78 годов, о которых я вспоминаю. Всё это произведения, не удостаивающиеся попадать в «Историю искусств» — но это не мешало им производить в свое время своеобразное и очень сильное впечатление. Что касается меня, то я, склонный вообще ко всякому проявлению иллюзорности, способен был простаивать часами на платформе, составляющей центр панорамы, и тешить свой глаз разглядыванием того, что расстилалось не только передо мной, но и вокруг меня. Нравилось мне чрезвычайно и то, что весь передний план панорамы был совсем как настоящий. Он состоял из пластических деталей: земляных укреплений, кустов, лафетов, пушек, разбросанного оружия, а где-то из-за угла выделялся даже «настоящий» труп турка.

Необходимо упомянуть здесь и об эпилоге военной эпопеи Русско-турецкой кампании. Я говорю о той торжественной встрече, которая была устроена возвращающимся с фронта войскам, что происходило у Московской заставы и чему прекрасной декорацией послужили грандиозные триумфальные ворота, сооруженные (по проекту Стасова) еще в 1830 году. Городское управление столицы обставило это торжество особым блеском, соорудив у подножия черных дорических колонн ворот эстраду для представителей города, ложи для приглашенных и ступенчатый амфитеатр для публики. Всё это было драпировано цветными тканями и украшено гирляндами цветов и лавров. Многосаженные национальные флаги — русские, сербские и болгарские свешивались с целого леса мачт и плавно развевались по ветру. Гре-

мели полковые оркестры, а публика почти несмолкаемо кричала «ура» — еще до того, как появились первые эшелоны «наших бравых героев». Я с родителями сидел в одной из лож, предоставленных членам Городской управы и рядом с нами стояли большие корзины, до самого верха заваленные лавровыми венками. Эти венки надлежало бросать в проходящие войска, и такая «игра» пришлась мне, восьмилетнему мальчугану, особенно по вкусу. К концу я навострился попадать венками на самые штыки, проходящих под нами солдат, а брату Мише удалось даже так ловко бросить три венка в проезжавшего во главе своей артиллерийской части, кузена Колю Шульмана, что два из них увенчали его, а третий Коля словил на лету своей шашкой. Именно благодаря этой удаче и тому, что героем здесь оказался близкий человек, картина эта запечатлелась во мне с несмываемой отчетливостью. Так и вижу счастливую физиономию Шульмана и его широкий жест признательности в нашу сторону. Но не так счастливо кончилась война для другого моего кузена — для Николая Михайловича Бенуа. Раненый осколком в голову, он лишился рассудка и так до конца своих дней и остался калекой.

Глава 7

ANDRE POTELETTE

Осенью 1878 года в моем лично-домашнем быту произошла довольно значительная перемена. Мамочка находила, что я не делаю достаточных успехов во французском языке на уроках слишком добродушного мосье Анри и очень недалекой M-lle Leclerc, стародавних педагогов нашей семьи — и решила прибегнуть к способу, который был ей рекомендован какими-то знакомыми: выписать из Франции мальчика одних со мной лет. Среди публикаций, печатавшихся в «Journal de St. Petersbourg» одна показалась ей вполне подходящей. В ней предлагала свои услуги дама (пожилая), вдова военного, которая готова была поступить в качестве гувернантки (в хороший дом) с условием, чтобы при ней остался сын. Это как раз соответствовало тому, о чем мечтала мамочка. Даму звали мадам Потлет, а сына Андрэ. После обмена письмами настал период ожидания приезда этого моего нового «друга». В том же, что он сразу станет мне самым закадычным другом, я не сомневался: ведь он ехал из Парижа, казавшегося мне каким-то благодатным местом! Я и играть, и рисовать, и читать бросил, до того все мои помыслы были направлены к этой встрече. Всюду я писал своими детскими каракулями карандашом имя Андрэ. Одно из таких на-

чертаний (на сей раз чернилами) можно было видеть еще долгое время спустя, к огорчению мамы, на прелестной цветной скатерти, привезенной дядей Сезаром со всемирной выставки.

Наконец, большой день настал. На вокзал за мадам Потлет была послана карета, а часов около шести вечера новоприбывшие водворились у нас. Им была отведена «красная» (моя будущая) комната, и парижская дама видимо осталась довольна ею, после того, как были исполнены разные, не слишком затруднительные ее пожелания, касавшиеся переставления мебели и прибавления нескольких предметов на умывальном столе. Попросила также мадам Потлет, чтобы были удалены некоторые картины, на месте которых она сразу повесила свои фамильные фотографии и среди них большой овальный портрет бравого офицера с усами и с эспаньолкой à la Napoléon III. Я был несколько смущен, заметив, что Андрэ на вершок выше меня ростом (он был на полгода старше меня); что же касается до его мамаши, то это была плотненькая дамочка с правильными, но совсем не интересными чертами лица.

Первые дни всё шло как по маслу. Мадам Потлет была до нельзя предупредительна и любезна. Андрэ ласков с тем легким оттенком покровительственного тона, который дети постарше берут в отношении детей хотя бы всего на год их моложе. В общем же Андрэ мне скорее понравился. У него были веселые хитренькие глазки, смешной вздернутый носик, вел он себя скромно и тихо, с моими игрушками играл осторожно, ничего из них не ломая. Правда, однажды он мне предложил «подраться», но поняв, что мне это совсем не по вкусу, он не настаивал.

Однако, уже через неделю на мамочкином лице, на котором я умел читать ее затаенные настроения, появилось то особое выражение «душевного страдания», ко-

торое показывало, что она чем-то серьезно озабочена. И выяснилось, что француженка оказалась особой довольно капризной, привередливой и даже порядком несносной. По всякому поводу она обращалась к маме с разными претензиями, с прислугой говорила резко повелительным тоном, явно выражая свое презрение к этим «варварам», а раза три она повздорила и с моей немецкой бонной Софи.

Да и столь желанный Андрэ обнаруживал с каждым днем черты мало приятные. Моим любимым занятием, т. е. рисованием, он видимо совершенно не интересовался, он пренебрегал и моим театриком и моими немецкими книгами, а французские он пробежал в один миг с таким видом, что всё это он уже знает давным давно. Еще большее фиаско потерпели мои любимые книги из папиной библиотеки и даже «Душенька» Толстого и даже «Виольдамур»! Он и глядеть на них не захотел, зато в свою очередь вздумал меня поразить принесенными из своей комнаты двумя альбомами с иллюстрациями в красках, представлявшими события французской революции и империи. За это самовольное распоряжение предметами, почитавшимися г-жей Потлет величайшими драгоценностями, ему была устроена распеканция, альбомы отобраны, а когда и мать и сын ушли к себе, то послышались и громкие пощечины. Хуже всего было то, что Андрэ не оставлял меня в покое. Приняв всерьез свое назначение служить мне каким-то ментором с обязательной практикой французского разговора, он всё время торчал передо мной и болтал, болтал без умолку, а когда я отвечал, то беспрестанно делал мне замечания, быть может, и дельные, но ужасно меня раздражавшие. Я стал остерегаться, как бы он не проник в мой интимный мир, не помешал бы мне жить, как мне хочется.

Кроме того, в этом типичном французском мальчике было что-то определенно чуждое, что меня раздража-

ло. Раздражал его смех — и главным образом причины, этот смех вызывавшие, раздражало его непрерывное хвастовство, раздражала даже его ловкость, увертливость и гибкость. Совершенно же невыносимыми мне казались его ежеминутные каламбуры и двусмысленности. До его приезда я сам себя считал французом, но теперь несравненно более отчетливо, нежели от контакта с мосье Раулем, с мосье Гастоном, с мосье Анри и с мадам Леклерк, я стал понимать, что «французские люди» — нечто совершенно иное, нежели персонажи в книжках «Bibliothèque Rose». «Типичного французика» я отчетливо почувствовал уже тогда, когда он предложил мне подраться и особенно, когда стал мне показывать свои альбомы с картинками французской революции (вперемежку со сценами казней в них были изображены одни только битвы и победоносные триумфы), сопровождая это полными боевого пафоса коментариями.

Первый кризис наступил приблизительно через месяц после поселения Потлетов у нас. Между нами двумя произошла ссора из-за какой-то сломанной игрушки, от перебранки мы перешли к кулачкам и, наконец, дело дошло до столь желанной Андрэ драки. Правда, дрался он «осторожно», но тем большую обиду я почувствовал, когда оказался под ним. Оставалось только прибегнуть к «военной хитрости»: я стал неистово вопить, а затем прикинулся «мертвым». Бедный Андрэ при виде этого так испугался, что побежал, крича во всю глотку: «Шура умер, я убил Шуру!»

Ну и вышла же из этого история! До этого случая мадам Потлет держала себя в отношении сына приличным образом и лишь иногда за обедом скорчив презлую физиономию, она подымала над ним руку, грозя, что наградит его подзатыльником, а тут, вслед за криками Андрэ, я услыхал совершенно странный визг, а когда я, оживший покойник, подбежал к двери красной

комнаты, то увидал и совершенно возмутительное зрелище! Мамаша колотила сына кулаками, куда попало, а затем, схватив Андрэ за волосы, стала его бить головой об стену. Этого я не в силах был вынести; я бросился на мадам Потлет, стал тузить ее изо всех сил, а когда она схватила меня за шиворот, то даже укусил ее в противную пухлую руку... Чем кончилась эта схватка, я не помню, но когда вернулась мамочка, я ей рассказал всё, что произошло, и «выражение страдания» обозначилось на ее добром лице еще отчетливее.

С этого дня подобные расправы с Андрэ сделались явлением обыкновенным, но только для производства их мадам Потлет запиралась в своей комнате на ключ и вопли Андрэ слышались оттуда приглушенными. Несколько раз вслед за такими сценами происходили между мамой и мадам Потлет объяснения, но напрасно мамочка просила строгую и вспыльчивую даму применять другие способы воспитательного воздействия, она не унималась и уже редкий день стал проходить без того, чтобы не раздавались крики и тот ужасный стук головой об стену. Не понимаю, как выдержала черепная коробка Андрэ, не понимаю и того, как он после таких истязаний мог сразу начинать резвиться и играть.

Постепенно положение всё более обострялось, а кроме того, мадам Потлет, как учительница, не оказалась на высоте. Она не обладала никаким даром преподавания. Снова появился на сцене учебник Марго, но я уже не смеялся над его глупыми фразами, а она заставляла их заучивать наизусть; когда же я не точно их передавал (я был склонен по-своему их варьировать), то, не решаясь прибегать к пощечинам и к подзатыльникам, она всё же делала мне незаслуженные строгие выговоры. Придиралась она и к моему произношению, требуя, чтобы я картавил или глотал «эры» на парижский манер, чтобы я соблюдал оттенки разных «е», между тем у нас в доме на все эти тонкости не обращали внимания, и

считали всё же, что говорим мы все безукоризненно, «как французы». Правда, у старшей сестры папы, тети Жанетты и у старшего брата, дяди Лулу выговор был несколько иной, какой-то более шлифованный и деликатный, но это казалось просто их индивидуальной особенностью, а не какой-то их большей близостью к настоящему языку наших дедов.

В конце концов пришлось отказать мадам Потлет; ей дали нужный срок для подыскания другого места, ей заплатили выговоренную по условию неустойку, и три месяца после въезда Потлеты от нас выкатились. Всё обошлось по-хорошему, без скандала, но последние расчеты со вдовой «командана» были произведены в подчеркнуто официальной обстановке, в зале; мадам Потлет была уже в шляпе и в тальме. Андрэ сидел на кончике стула и держал в руках свою шотландскую шапочку. Уходя, он подал мне левую руку, так как правой он поддерживал портрет своего усатого папаши. Красная комната опустела (туда вскоре въехал Мишенька), а я вернулся к своим играм и занятиям — с облегченным сердцем. Это происходило в конце января или в начале февраля 1879 года.

Совершенно случайно встретился я с Андрэ через двадцать лет на даче в Финляндии. Несмотря на побои и мучительства, из него вышел совершенно нормальный, очень почтительный к памяти матери, типично французский господин — рядовой француз. Он обрадовался нашей встрече и заговорил о возобновлении нашей «дружбы». Однако, первый же проведенный с ним вечер заставил меня принять меры, чтобы таковые не повторялись. Добродушный, веселый и любезный, он всё же показался мне каким-то олицетворением вульгарности и пошлости. При этом окончательно обнаружилось, несмотря на то, что теперь Андрэ говорил по-русски не хуже меня, его типично французское «нутро», его склонность к болтливости, к очень дешевому остроумию, к каламбурам,

к безвкусному балагурству. В те два часа, что длился его визит, он совершенно затормошил меня и шуточками, и всё той же прежней своей подвижностью, поминутным вскакиванием с места и бесцеремонным разгуливанием по комнате. Но особенно меня оттолкнули его рассказы про какие-то удачные аферы, его хвастанье хитроумными финансовыми комбинациями, его склонность к сутяжничеству: «И тогда я сказал моему адвокату», «Он понял с кем имел дело». Эти и подобные фразы так и сыпались, а мне становилось всё скучнее и скучнее. На этом наше знакомство и прекратилось.

Глава 8

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА I. ЦАРЕУБИЙСТВО 1-го МАРТА

Большое удовольствие зрелищного порядка я получил среди зимы 1877-78 года на выставке, посвященной царствованию Александра I. Выставка была устроена Городской думой в ознаменование столетия со дня рождения Благословенного, под наблюдением моего отца в Манеже Конногвардейского полка и представляла собой два ряда специально для данного случая написанных картин очень большого формата, поставленных лицом к окнам. Ввиду того, что темнота в эту пору года наступает чуть ли не в два часа, то над каждой картиной было прилажено освещение газовыми рожками, спрятанными за черные щиты. Общее впечатление от этих, ярко освещенных, пестро расцвеченных картин и от масс обрамлявшей декоративной зелени, получалось праздничное и в то же время чуть «похоронное». Что же касается самых картин (если я не ошибаюсь, тут были работы Шарлеманя, Горавского и Верещагина), то они оставляли желать многого. Папа не скрывал своего огорчения от неудовлетворительности работ тех художников, к которым он особенно благоволил, я же не был столь требователен и вся эта «иллюминация», все эти персонажи, написанные в натуральную величину и одетые в костюмы времени, до того мне нравились, что я не желал портить себе удовольствие замечаниями о де-

фектах, которые, однако, даже мне бросались в глаза. Картины были писаны наспех клеевыми красками, людьми, никогда до того к такому формату не обращавшимися, и этим, главным образом, объясняется помянутая неудача.

Особенно меня подкупало, что всюду на этих картинах фигурировал знакомый мне не менее, нежели образ Петра I, образ того, кого я хорошо изучил по разным портретам в папином собрании. А в том, что он прозвище Благословенного заслужил, я нисколько тогда не сомневался. Ведь это он с Божьей помощью прогнал французов, ведь это он прославился своим благочестием, ведь это он погладил по голове папу, когда тот, будучи совсем малышем, встретился как-то с ним в саду Павловского дворца, и ведь это он был изображен в виде древнего витязя на медных медалях гр. Толстого, разглядывание которых доставляло мне огромное наслаждение. В честь него же поставлена колоссальная Александровская колонна, увенчанная ангелом, держащим крест! Наконец он был сыном как-то особенно меня пленившего Павла и его жены, которая была восприемницей от купели моего отца. Да и самая наружность Александра Павловича, его круглое лицо, с небольшим носиком, с еле заметными белокурыми баками на щеках, с ясными глазами и с ласковой улыбкой на устах, вся его чуть склоненная фигура, наконец, тот костюм, в котором его представляли — с громадной треуголкой и в высоких блистательных ботфортах, — казались мне до нельзя близкими и милыми, почти что родными. Такого государя я бы не боялся... И вот на каждой из этих картин юбилейной выставки был изображен то какой-либо героический, то какой-либо благородный его поступок. Среди последних особенное впечатление произвела на меня сцена, на которой государь, сошедши с коляски, устремляется к лежащему на земле совершенно нагому мужику с намерением его поднять и оказать ему помощь. Глубоко тронула меня и та картина, на которой была изображена смерть Благословенного. Простую его кровать, в самой простой, вовсе не дворцовой ком-

нате, обступают несколько предающихся горю военных и штатских, и среди них выделяется фигура милой Елизаветы Алексеевны, представлявшейся мне просто каким-то ангелом.

Но я потому еще так запомнил эту выставку, что в дни, пока она устраивалась, я несколько раз бывал на ней — всё благодаря баловству моего отца. Я видел, как выставка зреет, как устанавливаются деревянные устои и самые щиты с картинами. Интересно было видеть, как некоторые художники еще что-то на месте добавляли, подмазывали и исправляли. Не обошлось тут и без ублажения моего тщеславия. Три раза выдалось мне счастье проехаться по выставке в высоком придворном шарабане, запряженном цугом в четыре лошади с жокеями на них. Правда, шарабан не был парадным и таким нарядным, как тот, в котором сидели члены царской семьи (или сам Государь) в Петергофе. Это был служебный шарабан, специально служивший для таких «репетиций»; да и жокеи не были в парадной форме, а одеты были в дежурные темные сюртуки, однако не всякому простому смертному может выдаться случай прокатиться на царский манер à la Daumont, да еще в закрытом помещении, в колоссальной зале манежа, пол которого усыпан песком. Немудрено, что посаженный отцом в экипаж я как-то весь «взбух» от чванства, и уже окончательно на несколько минут поверил, что я высокопоставленное лицо, когда некоторые рабочие и какие-то господа, проникшие в помещение выставки до ее открытия, столбенея при виде этого экипажа с мальчиком в нем, вытягивались в струнку и снимали шапки. Произошла эта странная церемония ввиду того, что на следующий день должно было состояться открытие выставки и на нее ожидали «царей». Вот для того, чтобы приучить лошадей к необычайной обстановке и к эволюциям в закрытом и затемненном помещении, и была устроена эта пробная прогулка.

Вообще семья наша отличалась совершенной лойяльностью. Правда, папа несколько критически относился как раз к царствующему государю. Он чувствовал себя обиженным, ибо именно со вступлением на престол Александра II кончилась блестящая эра его художественного творчества. Правда, друг нашего дома, писатель Дмитрий Васильевич Григорович, прямо глумился над государем, называл его «бодрилой» и уморительно имитировал его басок и картавость. Правда, и среди нашей молодежи стали появляться люди, не питавшие благоговейного отношения к самому принципу монархии. Но и такие проявления «фрондирования» были у нас весьма благодушного характера и не носили в себе оттенка действительного возмущения. Немудрено поэтому, что к тому рокоту революции, который всё громче и настойчивее стал доноситься до нашего патриархального дома — отношение было не только отрицательное, но даже полное известного омерзения. Что же касается, в частности, мамочки, то она была глубоко этим встревожена и месяцами не выходила из какого-то состояния перепуга. То и дело замечала она на улицах каких-то «подозрительных личностей», а таковых в те времена и впрямь встречалось не мало. Особенно пугали ее студенты, не носившие больше форменной одежды и любившие во всей своей наружности выражать независимость, а то и близость к народу. Многие и действительно происходили из низов, из среды, только тогда начинавшей стремиться к просвещению. Типичными чертами такого студенческого образа — была широкополая мятая шляпа, длинные неопрятные волосы, всклокоченная нечесанная борода, иногда красная рубаха под сюртуком и непременно плед, положенный поверх изношенного пальто, а то и прямо на сюртук. Нередко лицо студента было украшено очками и часто эти очки были темными. Именно такие фигуры с темными очками казались мамочке особенно жуткими, она в них видела несомненных крамольников и была уверена, что по карманам у них разложены бомбы. Под пару студентам были курсистки — явление для того времени новое и носившее доволь-

но вызывающий характер. Для типичной курсистки полагалась маленькая шапочка, кое-как напяленная, неряшливо под нее запрятанные, непременно остриженные волосы, папироска во рту, иногда тоже плед, сравнительно короткая юбка, а главное, специфически вызывающий вид, который должен был выражать торжество принципа женской эмансипации. В нашем семейном быту не было ни таких студентов, ни типичных курсисток, но мы их видали на улице в большом количестве. К тому же под студентов и курсисток «гримировалась» и вообще вся «передовая» молодежь, а быть не передовым считалось позорным... Это была мода дня!

Можно себе вообразить какой ужас обуял наш лойяльный дом, когда началась та серия террористических актов, которыми омрачился конец царствования Царя-Освободителя. Положим, уже были случаи покушения на русского государя и раньше — но всё же с парижского покушения в 1867 г. прошло много лет и воспоминание о нем успело как-то сгладиться. Нигилисты теперь больше стреляли в разных градоначальников, министров, губернаторов, а не в священную особу самого государя... Александр II продолжал совершать свою ежедневную прогулку пешком по дворцовой площади и по набережной — до Летнего Сада — без всякой видимой охраны, и лишь на очень большом расстоянии от него шли агенты тайной полиции. И вот как раз в одну из таких прогулок царь чут было не стал жертвой покушения террориста.

Год назад Вера Засулич стреляла в Трепова, и этот факт крепко засел мне в память потому, что Трепова я «знал»; он приезжал однажды по какому-то делу к папе и его я часто видел мчавшимся на дрожках с пристяжной, причем сам градоначальник стоял в экипаже, придерживаясь за сиденье кучера и бросая во все стороны грозные взгляды. Последний раз я встретил страшного генерала на соседнем мосту через Крюков канал, и это произошло, вероятно, не более как за неделю до того, что он был ранен и чуть не погиб. Тем не менее

большого впечатления это покушение на меня не произвело, — а что большие о нем (и в особенности позже, во время суда над Верой Засулич) много и страстно говорили — то это было именно «делом больших» и меня оно не касалось. Иное дело покушение на царя. Что этот человек, стоявший выше всех на свете, вынужден был «удирать», как перепелка, как заяц от выстрелов какого-то студентишки, представилось мне беспредельно чудовищным! Картина убегающего большими зигзагами императора преследовала меня; я даже нечто подобное увидал раза два в кошмаре. Помню, какой взрыв негодования вызвало вообще это покушение! Помню еще более обострившийся азарт споров за семейными обедами. Помню, как консерватор и «дипломат» дядя Костя требовал беспощадной расправы, а дядя Миша (уже скомпрометировавший себя в глазах папы тем, что он стоял за Веру Засулич) пробовал «объяснить» поступки нигилистов. Помню совершенно выкатившиеся во время спора глаза Зозо Россоловского, который и тут нашел случай во всём обвинить Бисмарка и англичан. Особенно же меня удивили намеки тети Лизы Раевской на какую-то Божью кару, перешедшие год спустя, когда государь женился на княгине Юрьевской, в определенное пророчество, что ему не миновать наказанья! Но не эти споры и суждения производили во мне какую-то пертурбацию и даже не самый факт, что «бедного царя хотели убить», а что вот Помазанник Божий при всех, среди бела дня, у самого своего дворца, с «охотничьей хитростью улепетывает» от какого-то мальчишки, вот это казалось мне верхом безобразия!

Покушение Соловьева 14 апреля 1879 года открывает в моем детстве целый период, завершившийся только года три-четыре спустя... Все эти годы представляются мне подернутым каким-то сумраком. Не мало всяких радостей и увеселений досталось мне и за этот период, да и лично я вовсе не стал из за этого менее жизнерадостным, веселым и непосредственным; политические события отнюдь не затрагивали моего благополучия и благополучия всего нашего дома. И всё же,

всё как-то потускнело и омрачилось. Этому омрачению способствовало и то, что с этого времени государь Александр II стал появляться на улицах Петербурга, не иначе как мчась во всю прыть в закрытой блиндированной (как говорили) карете, окруженной эскортом казаков. Рассказов об этой проносящейся карьером карете было очень много, да и мне самому случалось ее видеть не раз. Однако, я и боялся этих встреч: а вдруг тут-то и бросят бомбу, а осколок попадет в меня! Одна из этих встреч произошла у самого памятника Николаю I у Синего моста; карета, окруженная казаками, пересекала площадь с Вознесенской на Морскую. И может быть, потому именно картина эта запечатлелась с такой отчетливостью в моей памяти, что я, не вполне отдавая себе отчет, всё же, как-то особенно ощутил контраст между гордой осанкой Николая Павловича, невозмутимо сидящего на своем вздымающемся коне, и видом его сына, уподобившегося преступнику, которого как бы влекут куда-то под охраной.

Вслед за покушением Соловьева произошло еще несколько террористических актов, среди коих особенно грозное впечатление произвел взрыв в Зимнем Дворце, погубивший почти всех солдат, находившихся в это время в помещении гауптвахты под той (временной) столовой, в которой должен был состояться обед в честь ожидавшегося из-заграницы принца Баттенбергского. На сей раз царь и прочие члены царской фамилии избегли гибели только вследствие случайного запоздания поезда, на котором прибыл принц. Но то, что при этом стало известно о порядках, точнее беспорядках в самой резиденции Государя в Зимнем Дворце — превосходило всё, что можно было себе вообразить. По городу ходила масса слухов — и два из них особенно поразили мое детское воображение. Рассказывали, что чья-то «невидимая рука» клала ежедневно на стол государя письмо с угрозой близкой «казни». Очевидно в Зимнем Дворце было столько переходов, коридоров, тайников, что уследить за всем этим, что происходило в этом колоссальном лабиринте, не было никакой возможности. И

вот хоть и буфонным, но всё же угрожающим доказательством этого чудовищного беспорядка, послужило то, что при ревизии дворца после взрыва, где-то на чердаке, была обнаружена корова, приведенная туда каким-то служащим, нуждавшимся в свежем молоке для своего ребенка!

В атмосфере нараставшего ужаса и какой-то непонятной беспомощности всего гигантского охранного аппарата подошел день чествования двадцатипятилетия царствования Александра II. Всеми как-то чувствовалось, что царю сейчас не до того (большие толки возбуждал и ставший известный всему русскому обществу «роман» царя с княжной Долгорукой), и тем не менее приготовления к чествованию шли, и мне как раз этот период с особенной ясностью запомнился потому, что у нас в квартире готовился, под ближайшим наблюдением папы, тот роскошный подарок, который Городская дума, собиралась поднести Государю. Подарок этот состоял из большого ящика драгоценного дерева, украшенного серебряными орнаментами и цветной эмалью. Ящик этот покоился на особом превосходно резанном подстолье (как ящик, так и стол были исполнены по рисункам моего брата Леонтия), в ящике же покоилось двадцать пять больших листов, на которых акварелью были изображены, как наиболее значительные события, происшедшие в Петербурге за время царствования Александра II, так и наиболее значительные здания в нем за этот период сооруженные.

В течение нескольких недель у нас только и было разговоров об этом подарке. У папы в кабинете собиралась особая комиссия, к папе за советами являлись один за другим художники, получившие заказы. Совершенно естественно, что несколько сюжетов были поручены двум сыновьям папы — уже успевшим к тому времени приобрести известность в качестве превосходных мастеров акварели. Каждый из них и справился с порученной ему задачей наилучшим образом. Кроме того, Леонтию была поручена и орнаментальная обработ-

ка всех листов. В изготовлении картин принимал участие и целый ряд других мастеров акварельной живописи: «сам Луиджи Премацци», фигурист Адольф Шарлемань, пейзажист Вилье-де-Лиль-Адам, архитекторы Китнер, Шрётер, Лыткин и др.

Можно себе вообразить то возбуждение, то любопытство, те радости, которые меня охватывали, когда постепенное созревание этого монументального подарка стало происходить на моих глазах. Одна за другой акварели появлялись у нас, обсуждались во всех подробностях и присовокуплялись к предыдущим. Кое-какие замеченные неточности в подробностях приходилось исправлять — и наименее значительные производились тут же, в папиной чертежной, при мне. Я мог любоваться, с каким уверенным мастерством это производилось, как смывался целый дом или роща деревьев и как на месте получившегося грязноватого пятна уже через четверть часа вырастал новый дом или открытое место вместо сада. Некоторые картины вызывали общий восторг и наибольший успех заслужила картина во весь лист, на которой Вилье-де-Лиль-Адам (в сотрудничестве с Шарлеманем?) изобразил площадь Зимнего Дворца — в день объявления манифеста об освобождении крестьян. В первый раз я тогда увидал как бы воплощенным самый дух Петербурга. Но и в другом смысле я испытал при виде этой акварели своего рода откровение.

Все другие работы (за исключением только еще акварелей Альбера) казались робкими, чуть любительскими или по архитектурному засушенными. С этого момента я ощутил, почти что понял и разницу между манерой «архитектурной и живописной». Восхищен я был и самим роскошным ящиком и столом. Оба предмета, составлявшие одно целое, были сначала доставлены к нам и я мог их трогать, любоваться вблизи тонкостью чеканки, богатством эмали; приятно было и гладить идеально резанное и отполированное дерево. Зато как я был огорчен, когда в 1917 году, после раз-

грома Зимнего Дворца — я нашел это же юбилейное подношение Городской думы в комнате рядом с той, которая когда-то служила кабинетом Александру II, в полуразрушенном состоянии, с разбитым стеклом витрины, прикрывавшей ящик-альбом, с полусодранной и испорченной крышкой, тогда как акварели лежали разбросанными и запачканными по всей комнате.

Самое торжество двадцатипятилетия прошло без особой помпы. Горела «обязательная» иллюминация по улицам столицы; по краям тротуаров, распространяя чад, пылали плошки, домовладельцы обязаны были вывинчивать обыкновенные фонари и вставлять, вместо них, фигурные рожки в виде звезд, которые и были вечером зажжены, а на казенных и городских зданиях были устроены более сложные светящиеся украшения в виде императорских вензелей под короной и т. п. Но всё это было слишком известно и повторялось по всякому поводу... Свою долю печали сообщало лойальной части населения тяжелое, не подававшее надежд на выздоровление состояние здоровья императрицы Марии Александровны. Рассказывали, что специально для нее в Зимнем Дворце устроена особенная герметически закрывавшаяся камера для ингаляции, и мне это представлялось ужасно жутким, что супруга Самодержца должна часами сидеть в своего рода темнице и дышать особенным, «для нее специально приготовленным воздухом». Бедная царица! Она не была популярна, но теперь нечто вроде популярности ее окружило, благодаря тому, что измена ее державного супруга стала известна уже во всех слоях общества, о ней говорили всюду: и во дворцах, и в буржуазных домах, и в людских, и в трактирах. Тут-то тетя Лиза и перешла с критического тона на угрожающий и пророческий: «Только бы старик не вздумал жениться!» Обсуждался и вопрос о том, какова эта княжна Долгорукая, действительно ли она такая красавица? Действительно ли она совсем «забрала» государя? В художественных магазинах можно было теперь купить ее фотографии, и одну такую приобрела мама. И вот царица умирает

(10 мая); погребение происходит согласно раз принятому церемониалу, но без какой-либо особой торжественности, в которой выразилось бы горе овдовевшего супруга, а уже через месяц по городу начинает ползти слух, что княжне дарован титул княгини Юрьевской, что государь собирается узаконить детей, от нее рожденных, и, наконец, что он уже с ней и обвенчался. Казалось совершенно невозможным, чтобы наш «добрый и сердечный», государь мог совершить такой поступок; чтобы хотя бы из простого приличия, он, не дождавшись положенного конца годичного траура, назвал кого-либо своей супругой! Бог знает, что это готовило в будущем! Уже не собирался ли он короновать «эту княжну Долгорукую, свою любовницу?» Негодование тёти Лизы приняло патетический характер. В это лето мы не переехали на дачу, и тётя Лиза не прерывала своих еженедельных посещений, оттого мне особенно и запомнился этот ее гнев, сопровождавшийся совершенно убежденными пророчествами: Бог де непременно накажет его за такое попрание божеских и людских законов!

И, увы, пророчества эти сбылись всего через несколько месяцев. Самая катастрофа 1-го (по новому стилю 13-го) марта 1881 г. связана у меня опять-таки с домашним воспоминанием. У папы в это время было рожистое воспаление ноги и мой кузен (бывший на сорок лет старше меня) доктор Леонтий Л. Бенуа (а по-домашнему просто Люля-доктор) был как раз занят бинтованием больного места, когда раздался звонок на парадной и, опережая Степаниду, бежавшую по длинному коридору, я, находясь в соседней зале, открыл входную дверь. Передо мной стоял полицейский, сразу поразивший меня своим перепуганным видом. Быстро, комкая слова, он отрывистыми фразами произнес следующее: «У вас доктор Бенуа? Его вызывают в часть! Царя только что убили! Ранен оберполицмейстер! У него тридцать четыре раны! Бомба оторвала ноги государю...» Какой это был ужас! Со мной чуть не сделалось дурно, но в то же время обуяло странное подо-

бие восторга, которое люди, и особенно дети, испытывают, когда они узнают нечто чудовищное и особенно когда им надлежит передать это другим. Уже в спальню папы я вошел «с настроением вестника смерти» и к доктору я обратился с чем-то вроде приказа: «Надо тебе сейчас ехать в часть, государя убили, у полицмейстера тридцать четыре раны!..»

Никто не хотел верить. Столько уже раз Бог спасал государя, наверное, и на сей раз обойдется. Правда, в Казанскую часть прибыла, по словам того же полицейского, карета государя в совершенно разбитом виде, но из этого еще не следовало, что государь убит или тяжело ранен. Постепенно, однако, стали прибывать вести из других источников. Ужасное известие подтверждалось: Государю действительно почти оторвало обе ноги, но его всё же еще живым довезли до дворца, довезли в открытых санях, так как полуразрушенной каретой, из которой он вышел, после первой бомбы, нельзя было пользоваться. Дважды врачи пробовали вернуть кровообращение, и царь еще успел что-то вымолвить. При чьей-то помощи он даже смог осенить себя крестным знамением, но после этого он впал в безпамятство, а через несколько минут его не стало. Известно еще было, что на площади Зимнего Дворца со всего города стекается народ и что когда императорский штандарт над главными воротами спустился, то все бросились на колени и площадь огласилась рыданиями.

На месте преступления я побывал с мамой дня через два. Однако, к самому месту, т. е. к перилам набережной Екатерининского канала, нельзя было подойти изза толпы. Издали было видно, что на том месте, где взорвалась вторая, убившая Государя, бомба, выросла целая гора венков и цветов, а вокруг этой горы стояли часовые и никого не пропускали. Запомнилось, как брат Леонтий приехал с эскизом временной деревянной часовни на месте покушения и как папа делал свои замечания насчет этого рисунка, а брат наносил тут же

поправки. Еще через день окончательный проект был готов, а дней через десять выросла на месте покушения и сама часовня, скромная, но изящная, построенная из непокрашенного дерева и увенчанная золоченой луковицей. Внутри часовни перила набережной, панель тротуара и мостовая обагренные кровью Государя, оставались нетронутыми, и их можно было видеть, подойдя к двери. Всё нараставшая гора цветов теперь была расположена вокруг часовни, и тут же стоял стол для пожертвований на постройку храма на месте убиения Царя-Мученика, — иначе убитого Государя не называли. Рассказывали, что уже собраны баснословные суммы. Все рассказы носили тогда одинаковый характер — ужас перед совершившимся и абсолютное осуждение преступников-террористов, тогда как до того «нигилисты» были «почти в моде». Наступил период усиленных арестов, доносов, слежек, обысков, всего, что на жаргоне революции называется реакцией и контрреволюцией. Мне лично делалось невыносимо больно, когда я себе представлял, какие муки должен был испытать Государь пока он не впал в беспамятство, и как-то особенно кошмарным представлялось то, что врачи «насильно пытались ему вернуть кровообращение! Ужасно было жаль и кучера и казаков, которые были убиты взрывом и особенно того мальчика-разносчика, который случайно тут же проходил со своей корзиной и также был убит. О самом же происшествии ходило несколько версий, но все сходились на том, что Государь мог еще спастись, если бы после первого взрыва, он, выйдя нетронутым из разрушенной кареты, не оставался бы на месте взрыва и не пожелал сам удостовериться, не пострадал ли кто из сопровождающих. Позже Григорович рассказал еще одну подробность о последнем моменте катастрофы. Государь, выйдя из кареты, встал у перил набережной и прислонился к ним. В это время двое полицейских схватили человека, которого они считали за бросившего бомбу. Александр II окликнул их и приказал подвести человека к себе. «Оставьте его»», — обратился он к полицейским: «это ты бросил бомбу?» — спросил он и

укоризненно прибавил (сильно картавя): «Хог'ош, хог'ош!» В эту секунду подведенный выхватил из-за пазухи снаряд и бросил его под самые ноги Царя. Произошел взрыв, убивший бросившего снаряд террориста наповал, Государю же оторвало обе ноги, изранив всё тело. Несколько осколков попало ему и в лицо. Следы этих ран были заметны тогда, когда положенные в гроб останки были выставлены народу. Сотни тысяч прошли в немом ужасе, преклоняя колена перед обставленным свечами гробом и прикладываясь к образку, который был положен в сложенные руки покойного. В Бозе почивший, — поминали теперь официальные реляции того, в честь которого только что пели гимн: «Боже царя храни, сильный державный, царствуй на страх врагам». Фотографии с лежавшего в гробу, одетого в форму — государя, до пояса закрытого покровом (жутко было подумать, что там, где должны быть ноги , были лишь какие-то «клочки»), висели затем годами в папином кабинете и у Ольги Ивановны в ее каморке. Ольга Ивановна, Степанида и прочие наши домочадцы ходили в Зимний Дворец прощаться с Государем, и на это у них ушла целая ночь.

Погребение состоялось ровно через неделю после убийства — в воскресенье 8/20 марта. Удивительно, как в такой короткий срок церемониальная часть, застигнутая врасплох, со всем справилась! Похороны должны были быть обставлены со всей торжественностью, подобающей при предании земле первого лица огромного государства Российского, а тут еще этот трагический конец и всенародная печаль. Папа получил приглашение на несколько мест в Академии Художеств; из ее окон открывается вид на Николаевский мост, че-

рез который должны были везти кружным путем убитого Государя в Петропавловский собор. Шествие должно было затем следовать по 1-ой линии через Тучков мост (Биржевого моста тогда еще не существовало, а другие мосты были разведены). Правда, окна в канцелярии Академии из-за холода оставались закрытыми, но через большие и хорошо по этому случаю вымытые стекла всё было видно отчетливо, как на ладони. День выдался пасмурный, но сравнительно мягкий, с наклонностью к оттепели, так что лед на Неве получил тот серый оттенок, который предвещал его скорое вскрытие. За невозможностью перебраться на Васильевский остров по Николаевскому мосту, занятому шпалерами войск, нам пришлось пересекать реку по льду, по тому санному пути, который шел от Английской набережной — наискось к Николаевской набережной. Эта дорога, за последние дни очень изъезженная, представляла собой непрерывную цепь ухабов, и четырехместные сани до того швыряло по ним вверх и вниз, что меня даже затошнило. Приехали мы задолго до начала церемонии и целых два часа пришлось томиться, сидя на одном месте в тесноте среди незнакомых или малознакомых людей, причем меня стал томить и голод, едва утоленный откуда-то появившимися бутербродами.

Наконец, раздались далекие, глухие выстрелы пушек, послышался погребальный гул колоколов (вторые зимние рамы окон были вынуты и некоторые звуки с улицы доходили до нас довольно явственно), появились и первые эшелоны процессии, поскакали на конях в разные стороны церемониймейстеры и ординарцы. Увы, тут-то, после столь долгого ожидания сразу началось мое разочарование. Многие из составных частей были каждая в своем роде интересны, но, вместо того, чтобы им непрерывно следовать одна за другой (в стройном порядке) как это я видел изображенным в «Illustration» или в «Illustrated London News», они путались, наталкивались одна на другую и отходили в замешательстве в сторону. Некоторые группы надолго застревали перед

нами. Особенно надоела группа цеховых корпораций со своими знаменами, носившими каждое какое-либо символическое изображение — сапог для сапожников, ножницы для портных и т. п. При своем появлении эта курьезная компания меня забавила, но, когда эти знамена целую четверть часа, если не более, стали мозолить глаза, закрывая то, что творилось за ними, то я чуть было не стал плакать от досады. Разочаровался я и в том, что ожидал с наибольшим трепетом, а именно в «рыцарях». По церемониалу, установленному еще Петром I, погребальное шествие высокопоставленных лиц (а тем паче государя) должно было, на манер того, что происходило в других европейских государствах, включать в себя и геральдическое олицетворение Жизни и Смерти. Жизнь была представлена закованным в золотую броню рыцарем, верхом на покрытом золотой парчей коне. Смерть же олицетворял рыцарь в черных доспехах, следовавший пешком. Эти рыцари, наконец, и появились, но золотого как-то оттиснули другие группы, так что я его заметил только тогда, когда он уже готов был исчезнуть из моего поля зрения, а черный рыцарь с опущенным забралом, шел такой ковыляющей походкой, его так качало во все стороны, он так волочил ноги, что можно было заподозрить его в крайней степени нетрезвости. Потом рассказывали, что, дойдя до крепости, этот несчастный пеший «рыцарь смерти» свалился в беспамятстве, а по другим сведениям он даже тут же умер — несмотря на то, что для этой роли нашелся какой-то доброволец мясник с Сенной, знаменитый своей атлетической силой. Видимо и сам Геркулес не смог бы одолеть весь этот бесконечный путь в пять по крайней мере верст, пешком, местами по скользкому снегу, коченея от холода, неся на своем теле пуда два железа и стали. Ведь его «доспехи» не были бутафорскими, а то были подлинные исторические латы XVI века, выданные на этот случай из Императорского царскосельского арсенала...

Наконец-то, после многосотенной толпы духовенства в черных ризах, появилась и печальная колесница

с гробом. В этой части процессии всё отличалось примерным порядком и торжественностью. Цугом запряженных лошадей (в четыре или шесть пар) в траурных попонах, вели под уздцы конюхи в своих эффектных мрачных ливреях. Тут же шли еще более эффектные в своих касках со спадающим черным плюмажем — скороходы. Четыре края высокого балдахина были уставлены рядами рыцарских шлемов с колыхающимися перьями. Шнуры держали важнейшие, облаченные в золотом шитые мундиры сановники. Гроб, покрытый золотой парчей, стоял на высоком помосте. Непосредственно за колесницей шествовали (на конях ли, пешком ли, я, странное дело, не запомнил) вместе с новым Государем, великие князья, а также иностранные короли, герцоги, прибывшие отдать последний долг усопшему. Это было особенно внушительно. Но Александр III поразил меня своей тучностью, которую только подчеркивала форма прусского образца с каской на голове. Взрослые зрители подле меня обменивались своими впечатлениями. Они отметили утомленный вид нового Государя; эта усталость, эта понурость были вполне понятными после всего того, что им было пережито и что еще его ожидало. Шествие замыкалось траурными каретами, в которых сидели дамы — с новой нашей царицей во главе. Длинный ряд этих карет всё еще тянулся под окнами Академии, когда меня потащили домой. По дороге к выходу и пока меня закутывали в зале Академического совета, я (именно тогда и несмотря на усталость) был поражен чудесными портретами, сплошной массой покрывавшими обширную комнату. В первый раз я оценил портретную живопись, как таковую (и без того «родственного чувства», с которым я оценивал наши домашние портреты). Тут были сгруппированы портреты Левицкого, Щукина, Боровиковского, Яковлева, Кипренского, Брюллова и других больших мастеров русской школы. И еще с трагической кончиной «моего первого

императора» у меня связано воспоминание о бесчисленных и утомительных панихидах в гимназической церкви. Но это имело и свою хорошую сторону, так как панихиды освобождали учеников от уроков на весь остаток дня. Неизменно директор после окончания панихиды говорил: «Все могут идти по домам». А это ли не было радостью? Своего рода маленькие каникулы!..

Глава 9

ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ

В предыдущей главе я упоминал, что в 1881 году я уже учился в гимназии. Действительно, меня в такое казенное учебное заведение определили осенью 1880 года. Однако прежде, чем продолжать в хронологическом порядке, нужно рассказать про то, что происходило со мной в 1879 и в начале 1880 года.

В киндергартене «тёти Жени» я оставался два с половиной года и за это время научился многому существенному: читать и писать по-русски и по-немецки, а также первым правилам арифметики. Там же я познакомился с главнейшими эпизодами Священной Истории. Я охотно пробыл бы еще один год (полагавшийся для лучшего усвоения пройденного) в этом заведении, о котором у меня сохранились лучшие воспоминания, но наш Детский сад вздумал переменить местожительство и переехал в очень далекий квартал. Поэтому родители решили, что я его покину и что дальнейшее «совершенствование в науках» будет, на первых порах, происходить домашним способом, а там наступит и пора поступления в казенную гимназию. Папа готов был сделать это не откладывая, но мама считала, что рано: она знала, как трудно далась гимназия моим старшим братьям и как им был противен самый гимназический быт.

Мое домашнее обучение было налажено следующим

образом. Уроки французского и английского языков происходили у нас на дому, уроки же русского, немецкого, а также арифметики и географии, сообща с моими сверстниками и друзьями маленькими Брюнами, у них. Это было удобно уже потому, что «Брюны» жили на нашей же Никольской улице — в громадном доме барона Фитингофа, у Поцелуева моста. Соединенными усилиями наших двух мамаш был выработан план и приглашены учительницы. Как звали учительницу русского и арифметики, я забыл. Учительницей же немецкого была фрейлейн Зубург. Моей первой учительницей английского языка была Mlle Будаго и, наконец, французский язык преподавала мне всё та же мадемуазель Леклерк, которую я знал чуть ли не с колыбели.

Что я не запомнил имени первой из упомянутых особ, можно скорее всего объяснить тем, что и оба Брюна и я возненавидели эту, довольно миловидную блондинку. Она сразу оказалась не обладающей даром «подойти к нашей душе»; она раздражала нас своими ироническими словечками и замечаниями. Всё это мы окрестили тогда словом «пошлость», и с этого самого времени понятие о пошлости, осуждение ее и омерзение к ней, стали нам всем чем-то весьма привычным. Мы даже упражнялись в том, что делили всевозможные явления, предметы, факты, знакомых людей, рассказы, слышанные или читанные на пошлые и непошлые, причем всё характерно русское мы (без малейшего поощрения со стороны взрослых) почему-то были склонны относить к разряду пошлости. Я затрудняюсь указать, откуда вообще взялось это слово у нас и как оно могло так пропитать наши детские умы, но самый факт его появления именно в эти годы (когда мне и старшему из Брюнов было всего около десяти лет) остается фактом. Возникновение же такого, в сущности необычайного и изощренного понятия в столь ранние годы, может служить доказательством какой-то его прирожденности, инстинктивности. Но да не подумают при этом, что все наши оценки отличались проницательностью и справедливостью, что наш этот «вкус» всегда был безупречен. Мы

были еще совершенные мальчишки, во многом просто нелепые, подверженные всяким случайностям и капризам.

Совершенным контрастом русской учительницы была фрейлейн Зубург. Девица она была очень некрасивая и, как нам казалось, пожилая (хотя ей едва ли было много за тридцать лет); она была высокого роста, держалась прямо и осанка у нее была гордая. С первого взгляда она производила впечатление неприступности, но тем приятнее оказывалась ее настоящая сущность. Фрейлейн Зубург была сама доброта и уютность, а величественность ее была напускная, прикрывавшая, вероятно, природную застенчивость. Ее юмор (она любила шутить) был нам по вкусу; «пошлости» мы в нем не усматривали, а потому и уроки ее мы любили, но относились к ним, если не с похвальным усердием, то всё же без того внутреннего сопротивления, с которым мы относились к ее русской коллеге. Благодаря фрейлейн Зубург, немецкий язык, на котором я уже свободно изъяснялся, стал теперь моим любимым; я писал на нем свободно и правильно, и, что особенно удивительно, — более каллиграфически, нежели на других языках, включая сюда и родной русский.

Что же касается до моей первой англичанки Будаго, то, должен сознаться, она была одной из моих жертв. Выше я уже упоминал про то сложное чувство, смешанное из жалости и постоянного раздражения, которое во мне возбуждал мой безногий учитель музыки Мазуркевич. Подобное чувство я испытывал и в отношении мадемуазель Будаго — очень еще молодой девушке, с довольно миловидным, кругловатым, типично армянским, лицом; больше всего меня раздражало в ней абсолютное отсутствие юмора. Она была печальна до глубины своего существа, и, несомненно, что она имела веские причины быть таковой. Была она дочерью когда-то богатых, но разорившихся родителей, а теперь ей пришлось бороться с нуждой. Она должна была уроками кормить не только себя, но и других членов семьи, в том числе своего

совершенно расслабленного брата Николая. Но мало ли я знал людей и нуждающихся, и страдающих, однако сохранявших бодрость духа и даже какую-то жизнерадостность. У бедной же мадемуазель Будаго ее унылость была как будто чем-то прирожденным или даже расовым — ведь обладал же аналогичной чертой и один из самых моих близких друзей князь В. Н. Аргутинский; эту свою «органическую печаль» он выражал уже тогда, когда еще не ведал тех грустных испытаний, которые ему впоследствии доставило эмигрантское существование.

Мне теперь трудно во всех подробностях вспомнить, каким именно образом я мучил бедную Будаго, но что я ее мучил, это я запомнил вместе с теми угрызениями совести, которые тогда же испытывал. Несколько раз она даже отказывалась от уроков, и только убеждения мамы заставляли ее продолжать их. Мучил я ее, впрочем, без злого умысла а просто потому, что ненавидел эти уроки и мне было убийственно на них скучно. Поневоле, вместо того, чтобы относиться внимательно к тому, что толковала учительница или к тому, что стояло в книжке, я заинтересовывался всякой всячиной, никакого отношения к делу не имеющей. Я вскакивал и подбегал к окну или тащил из шкафа свои любимые книжки и показывал в них понравившиеся мне или смешившие меня картинки, расчитывая развеселить моего унылого профессора. Или же я принимался тут же рядом на бумаге что-либо рисовать, а то и вырезывать. Особенно же раздражало мадемуазель Будаго то, что я поминутно всматривался в выпуклые голубоватые стекла очков, прикрывавшие ее воспаленные глаза. Это у меня сделалось чем-то вроде тика. Чем больше она сердилась на меня за это всматривание, тем сильнее становилось искушение еще и еще заглянуть в них, и, несомненно, это каждый раз вызывало в ней болезненное раздражение.

Наша обоюдная пытка продолжалась сезона два (1879-80, 1880-81), но затем бедную Будаго сменила мисс Эванс, и вот эта милая старушка, являя полный контраст с моей первой «не-английской англичанкой»,

пришлась мне по вкусу. Жизнь не побаловала и мисс Эванс. В Россию она попала случайно, лет сорок до того, потерпев кораблекрушение где-то у берегов Дании и лишившись тогда всего своего имущества (как это произошло, я теперь не совсем помню, но рассказ об этой катастрофе был одним из ее «любимых номеров»). Через Данию попала она в Германию, оттуда в Россию, и с тех пор она жила, зарабатывая свой хлеб уроками... О том же, чтобы найти себе мужа и семейное счастье, бедняжке нечего было и думать: мисс Эванс была исключительно уродлива, и по отзыву лиц, знавших ее раньше, выглядела она так и в годы сравнительно еще молодые; теперь же ей было больше семидесяти. Ростом мисс Эванс была крошечная, совершенно сгорбленная, тощая-претощая, с каким-то смешным чепчиком на почти лысой голове, с двумя черными бородавками на щеках, с крючковатым носом и костлявыми, «как у ведьмы», пальцами. Да и вся она походила на тех колдуний и злых фей, которых рисовали Дорэ и Берталь. Она не ходила, а как-то катилась, ни на минуту не выпуская из рук своего ридикюля и шурша своей шелковой, старинного покроя юбкой.

И всё же приветливость не покидала ветхую, больную и обиженную судьбой, но милую, милейшую мисс Эванс. Эта жутковатая с виду старушенция, эта «ведьма» была всегда в наилучшем настроении и полна юмора. Юмор же ее был очень хорошего, чисто английского тона. Любимым ее писателем был, само собой разумеется, Диккенс, а среди произведений его любимой книгой «Записки Пиквикского клуба». С чтения этой классической юмористики и начались наши уроки, затем мы прочли и многое другое того же автора. В чтении проходила вторая половина урока, тогда как первая была посвящена премудростям грамматики, а также истории Англии, которую мисс Эванс знала на зубок, благодаря чему и я кое-что в этом предмете усвоил с детства довольно прочно.

В основе преподавания истории Англии у мисс

Эванс лежали чисто монархические принципы, мало того — чисто католические принципы. В своем убежденнейшем приверженстве к католической церкви она сходилась с моим зятем Эдвардсом и, вероятно, поэтому то он ее нам и рекомендовал. Оценка же разных английских государей мисс Эванс зависела от того, в какой степени они сохранили свою верность к Наместнику Христа, восседающему на римском престоле. Поэтому особенной ненавистью мисс Эванс пользовался король Генрих VIII и королева Елизавета, и, наоборот, превыше всех ставились разведенная супруга Генриха Екатерина Аррагонская и дочь их Мария. Сколько раз я ни наводил добрую мисс Эванс на эту тему, она каждый раз с одинаковой страстностью возмущалась тем, что королеву Марию прозвали «кровавой» (The blood Mary) — тогда как в ее представлении это была самая добродетельная и самая благородная из монархинь Англии. Впрочем, «дух справедливости», живший в мисс Эванс, заставлял ее отдавать должное и Елизавете, но это делалось с явным насилием над собой и со всевозможными оговорками. И уж, разумеется, не казнь (католички!) Марии Стюарт могла нарушить ту антипатию, которую она чувствовала к «королеве Шекспира»... Твердо верила мисс Эванс в то, что и Карл I и Карл II, первый перед самой казнью, второй на смертном одре, вернулись в лоно католической церкви, а уж о Якове II она иначе не говорила, как о святом, глубоко скорбя о том, что не его потомству дано править Англией...

Вот до чего курьезна была «моя» мисс Эванс! Но раз я заговорил о ней, то скажу тут и о том, до чего живописно и необычно она кончила свою жизнь... Это случилось несколько лет после того, что она перестала давать мне уроки (вероятно, в 1888 или в 1889 году). Можно думать, что очи такой фанатичной католички сомкнет кто-либо из наших доминиканцев св. Екатерины, на самом же деле вышло иначе. Чувствуя приближение смерти, старушка вызвала к себе моего зятя Матвея Яковлевича, а когда он очутился перед ней и спросил ее, какова ее последняя воля, он услыхал самый неожидан-

ный ответ: «Мне хочется устриц и немножко шампанского»... Матвей Яковлевич тотчас же помчался к Смурову, купил дюжину остендских и бутылку Клико и с этим вернулся к умирающей. И что же, мисс Эванс съела устрицы, запила их бокалом пенистого вина — и, получив такое исполнение, быть может, и очень старого желания, она мирно отдала Богу душу, которая, наверное, сразу была водворена в рай, где эта душа, надо думать, смогла засвидетельствовать свои верноподданнические чувства и Марии («Некровавой») и светящемуся всеми добродетелями Якову II.

И моя третья англичанка, о которой я уже рассказал в главе о дяде Сезаре, миссис Кэв, не блистала красотой и также была не первой молодости. И она была ярой католичкой, но в ней не было ничего фантастического, чего-либо напоминавшего ведьм и колдуний. Это была степенная, но ласковая, бодрая, с едва ощутимым налетом меланхолии дама. Вспомнив о муже, она вынимала платочек и прикладывала его к глазам, хотя с момента кончины мистера Кэва прошло немало лет. Свой же педагогический дар она доказывала тем, что дети (в том числе и я) страстно к ней привязывались. Когда она после смерти дяди Сезара решила покинуть моих кузин, не будучи в силах дольше терпеть неприязнь старушки ключницы, возникла целая драма. Плакали мои кузины, плакала миссис Кэв, очень расстроился и я. Миссис Кэв к тому же навсегда покидала Петербург, решив, что лучшего употребления своих небольших сбережений нельзя придумать, как обратить их на то, чтобы поселиться в Лурде, где бы она могла всецело посвятить себя культу Пречистой Девы. Несколько лет еще продолжалась наша переписка (для меня это была хорошая практика английского языка, что, однако, не помешало мне затем совершенно разучиться на нем изъясняться), но затем эта переписка прекратилась и, к стыду своему, я не знаю, как и когда кончилось земное существование миссис Кэв.

Глава 10

БРЮНЫ

Мальчики Брюны, в квартире родителей которых происходили наши общие уроки, были моими первыми близкими друзьями. Настоящая фамилия Брюнов — звучала гораздо сложнее и эффектнее; они были сыновьями Анатолия Егоровича Brun de Saint Hippolyte и его супруги, сестры моего зятя — Елеоноры Александровны Лансере. Благодаря этому свойству, а также благодаря тому, что мы были почти сверстниками (Валя Брюн был на полгода моложе меня, Лева — года на два) и наконец, благодаря тому, что они были «русскими французами» — между нами установилось тесное единение, которое наши родители всячески поощряли. Мы были «одного поля ягоды». И всё же дом Брюнов сильно отличался от нашего. В нем совсем не было искусства, ни малейшего намека на художественную атмосферу. Анатолий Егорович был инженером (кажется путейцем) и решительно никакого интереса к чему-либо, что выходило за пределы его профессии, не проявлял. Его отношение к музыке выражалось только в том, что иногда он в течение минут пяти — играл род бойкого, состоявшего из аккордов «аккомпанимента», под который мы пробовали танцевать. Однако нельзя сказать, чтобы эта музыка была особенно вдохновляющей и, если я, избалованный домашними виртуо-

зами Альбертом и Нетинькой, всё же что-то отплясывал под аккорды Анатолия Егоровича, то это отчасти из вежливости, а отчасти потому, что мне было как-то жаль этого милого, добрейшего и столь скудно одаренного человека. Я сердечно любил его; мне нравилась его наружность, в которой пленял контраст между его резкими крупными чертами, говорившими чуть ли не о какой-то героической мужественности, и добрым, мягким взором серых глаз. Под необычайно выдающимся и круто согнутым носом стлалась густая, но уже почти седая борода; этот бурбонистый нос и эта «дикая» борода досталась ему, вероятно, от каких-то далеких воинственных предков. Сам же он был кроткий покладистый человек, ни во что в собственном доме не вмешивавшийся, нежно любивший детей, но как-то сконфуженно их сторонившийся, а главное беспрекословно во всём повиновавшийся своей супруге Елеоноре Александровне.

Напротив, эта «тётя Лёля» была, как почти все члены семьи Лансере, особой до крайности нервной, раздражительной и властной. С совершенно болезненным самолюбием относилась она к своему, не Бог весть какому хитрому хозяйству и с не меньшей ревностью отдавалась она своим материнским обязанностям. Почти за каждым завтраком и за каждым обедом (я не редко оставался у них к столу) происходили сцены между ней и мужем; точнее она устраивала бедному Анатолию Егоровичу жестокие распеканции за то, что он то или другое из блюд недостаточно по ее мнению оценил. С гневным наскоком она требовала от него объяснения, почему он не доел супа, почему не попросил вторично жаркого. Меня эти сцены особенно озадачивали, так как ничего подобного в нашем доме не бывало и не могло быть. Да и детям от матери попадало по всякому пустяку, чаще всего совершенно зря. Мальчики были в общем безупречно благонравны, точно сошедшие со страниц добродетельных рассказов; они усердно готовили уроки и тихо занимались своими играми. Но мне и их удавалось растормошить; начиналась дикая беготня по комнатам, а наши игры в индейцев приобре-

тали подчас и весьма буйный характер. Происходили же эти безобразия в отсутствие Елеоноры Александровны, и тогда, когда для присмотра за нами оставалась одна лишь древняя старушка-няня, которую мы все трое очень любили, но с которой всё же абсолютно не считались.

Одним из оснований моей дружбы с Брюнами было то, что мы жили очень близко друг от друга — на двух концах той же недлинной улицы — мы у собора Николы морского, они у Поцелуева моста. Ходу от нас до них было, даже детской походкой, не более семи минут, а самая прогулка была интересной — надлежало перейти Театральную площадь, что всегда доставляло мне удовольствие из-за двух украшавших эту площадь театральных зданий. Интересно бывало идти от Брюнов зимним вечером, когда уже начинались спектакли: кареты и сани подъезжали к колоннам Большого театра, в круглых просторных грелках, стоявших среди площади, пылали костры, вокруг которых толпились кучера, а в окнах обоих театров виднелись зажженные люстры, освещавшие фойе. Всё это придавало площади праздничный вид. Сам я тогда бывал в театре два-три раза в году не более, моих же друзей никогда в театр не водили, и им приходилось довольствоваться моими (сильно приукрашенными) рассказами.

Квартира Брюнов находилась на самом верхнем этаже громадного дома барона Фитингофа. В подъезде встречал толстенный круглолицый, необычайно почтительный швейцар, которому я на Новый год вручал полученный от мамы на этот предмет целковый — и этот обычай до такой степени укоренился, что и тогда, когда я перестал бывать у Брюнов — я всё же 1-го января входил в подъезд и вручал тому же швейцару положенный на-чай, после чего он провожал меня с низкими поклонами до улицы. Лестница к Брюнам была необычайная. В широком, пустом пространстве пролета могли бы уместиться в каждом этаже по зале, а всё вместе производило впечатление довольно жуткого колодца.

Эта лестница запомнилась мне еще потому, что однажды старушка-нянюшка, застала Леву Брюна, которому тогда было не более шести лет, сидящим над этой притягивающей бездной, на перилах у двери их квартиры. «Еще минута и он слетел бы вниз». Нянька, увидав эту картину, от испуга онемела. Однако, осторожно подкралась и «сняла» Леву с перил — после чего сама лишилась чувств.

А какая это была чудесная нянюшка! Она воспитала еще отца — Анатолия Егоровича (сына французского эмигранта, застрявшего в России), но и тогда она уже была не первой молодости; теперь же ей было за девяносто лет. Она хорошо помнила «нашествие двунадесяти языков», иначе говоря, отечественную войну 1812 года, но, к сожалению, как мы ни старались выведать у нее какие-либо подробности об этой героической эпохе, она кроме самых общих фраз, в ответ ничего не сообщала.

«Что вы ко мне пристаете? Ну была война и всё тут». — «А самого Наполеона, нянюшка, ты видала?» — — «Видела». — «Какой же он был?» — «Да такой невзрачный, маленький, по московским улицам верхом ехал». — «А пожар Москвы помнишь?» — «Нет, не помню, а только, что она сгорела, это верно». После такого ответа оставалось посмеяться над старушкой, а она, ворча, удалялась к себе в каморку у кухни. Вообще же она была добрейшая — позволяла с собой делать что угодно. Так, иногда мы сажали ее в наш индейский «вигвам» и заставляли изображать какую-нибудь «мать» или «сестру» Ункаса и Чингахгука.

Каковы были наши игры в самые первые годы дружбы, я не помню, но после того, что и я и Брюны принялись за Купера, мы и сами превратились в индейцев, что было в ту эпоху явлением среди мальчиков почти повальным. В течение суровой петербургской зимы мы были естественно существами «комнатными», однако эти нам во всех подробностях знакомые комнаты

теряли свой реальный характер и превращались, по повелению фантазии, то в непроходимые девственные леса, то в безграничные пампасы или в скалистую горную местность с пропастями, потоками и озерами. Реквизитов у нас тоже было сначала немного, но постепенно их накопился целый арсенал — томогавки, копья, головные уборы из перьев, мокассины и т. д. При этом мы владели и довольно обильным специальным словарем и тем особенным жаргоном, который так убедительно выражает и благородство делавэров и гнусность гуронов, которые вообще в «Зверобое» и в «Следопыте» создают самую атмосферу этих романов. Моментами наше наваждение доходило чуть ли не до галлюцинации. Неважные гравюрки на стали в книжках Вольфовского издания Купера (по одной на роман), изображения дикарей в разных изданиях Робинзона (что это были другие дикари, нежели те, о которых речь шла у Купера — не имело значения), а иногда и картинки в заграничных детских журналах или в «Живописном журнале» давали нам достаточное представление о костюмах и нравах коренных обитателей Северной Америки. Кроме того, я живо помнил тех краснокожих, которых я «сам видел» нападавшими на поезд Филеаса Фога в одной из сцен феерии «80 дней вокруг света».

О сценарии и распределении ролей наших коллективных иллюзионных действий мы заботились по очереди. То это я решал, что Валя будет Зверобоем, я Чингахгуком, а Лева Ункасом (врагами бывали в тех случаях стулья и разные другие предметы), то вчерашние выразители всяческого благородства брали на себя роль лукавых предателей и гнусных интриганов. Пройдя коридор и обе детские, мы вступали в столовую, и это означало, что мы, миновав страшные опасности, очутились в блокгаузе, в «сравнительной безопасности»; совершив путь в обратном направлении и попав в залу, мы оказывались среди бесконечного простора прерий, а большая отоманка под зеркалом между окнами являлась одинокой неприступной скалой. Тропические растения в горшках заменяли джунгли, из которых того

и гляди выбежит медведь, а приложив ухо к паркету, мы явственно слышали приближающийся топот тысяч бизонов. В таком случае надлежало оставаться распластанными «на земле», и тогда стада страшных рогатых животных с диким мычаньем проносились над нашими головами. Но особенную иллюзию создавала постройка вигвама, происходившая по хорошо знакомому рецепту. Брался плед, под него устанавливали половую щетку, концы пледа привязывали за бахрому к четырем опрокинутым стульям. Получалась идеальная палатка, в которую мы, в качестве немого и только охающего статиста, усаживали няньку, принуждая ее вертеть суповой ложкой в котле — котлом же служила шляпная картонка. Но долго засиживаться за курением трубки мира в палатке не полагалось. Насторожившись, как раз услышишь грозный шум: это приближается на своих мустангах вражеское племя или, может быть, близится в нашем направлении лесной пожар и надо бежать без оглядки.

Как-то раз, вероятно, из желания смягчить наши воинственные нравы и отвлечь нас от постоянного «снимания скальпов», нам дали прочесть «Хижину дяди Тома» — эту самую трогательную из трогательнейших повестей. Однако, результат получился совсем неожиданный. Мы, правда, серьезно огорчились судьбой, постигшей доброго старого негра, но в то же время мы особенно оценили неограниченную власть плантаторов, и это увлечение тотчас нашло себе отражение в наших играх. На время индейцы были забыты, заменил же их новый мир самых жестоких негодяев и самых беспомощных жертв. Лева почему-то с особенной готовностью брал на себя роль «беглого шклава», укрывавшегося в тростниках и в зарослях, а я с Валей с упоением играли роли его преследователей. В известный момент мы находили убежище несчастного, нападали на него, связывали (делали вид, что связываем) и вели на казнь. Лева так входил в роль, что скрежетал зубами, шипел, у губ от сознания собственного бессилия образовывалась пена. Мы же бывали обуреваемы настоящим восторгом

садизма (разумеется о Саде мы ничего не знали) и, не будь во время подоспевшей тёти Лёли или одной из старших сестер Анатолия Егоровича, мы смогли бы в разгаре игры учинить и настоящую беду, наказывая «беглеца». Пленного щипали «калеными щипцами», его «пронизывали пиками», ему, несмотря на страшное сопротивление, «вырезали язык», ему «выкалывали глаза»! Когда же большие, заметив, что детки в играх перешли всякие границы благонравия, усаживали нас для успокоения за рисование, то и при этом занятии мы продолжали предаваться тому же «садизму», причем появлялись в рисунках не одни рабы, но и рабыни. Не имея еще никакого понятия об эротике, мы доходили до крайнего возбуждения, изображая страшно бородатых людей в сапожищах и в широкополых шляпах, которые режут, колют и всячески терзают бедных негров. Это безобразие продолжалось несколько месяцев, пока, наконец, Елеонора Александровна не осознала вполне, что происходит нечто вовсе не соответствовавшее педагогическим идеалам. С того дня такие игры были строго запрещены, мало того, тётя Лёля навестила мою маму специально по этому поводу, рассказала ей о наших ужасных радениях. Тогда эту игру заменила другая — театральная. Я уже сказал, что мальчиков Брюнов никогда не водили в театр, — родители их никогда не позволяли себе такой роскоши. Но тем более моих друзей интересовало узнать и увидать, что творится «на сцене». Иногда я их угощал кукольными спектаклями на моих детских театриках, но куда интереснее показалось самим сделаться актерами и играть. За фабулами не далеко было ходить — они имелись в обилии в том альбоме карикатур Буша, из «Münchener Bilderbogen», которого в каждом из наших семей было по экземпляру. Эти смехотворные рассказики в картинках были совсем коротенькие и укладывались почти все на одну страницу, но мы их разукрашивали подробностями и наш спектакль затягивался на добрый час. Особенным успехом пользовалась история про двух воров, забирающихся в дом, а также история «Похищение из сераля».

Для последней пьесы требовались тряпки для тюрбанов и для чадры, покрывающей лицо прелестной Зулеймы. Я приносил из дому огромный маскарадный нос для палача, а игрушечная скрипка вполне заменяла гитару для того красавца-трубадура, который и похищал красавицу из гарема. Частью немецкий текст Буша оставался нетронутым, но он служил лишь как некое вступление для каждой сцены, тогда как дальнейшие диалоги импровизировались уже нами. Зрителями служила, если это происходило у Брюнов, та же старуха нянька, а позже немецкая гувернантка фрейлейн Зельма Августовна. То что последняя носила почти то же имя, как наша героиня Зулейма, и то, что она была миловидной крошечной блондиночкой придавало особую пикантность нашему представлению. Если представление происходило у меня, то тут в «царскую ложу» мы усаживали мою бонну, а если в это время гостили у нас маленькие племянники, то и они удостаивались такой чести. И Боже мой, в какое я впадал бешенство, если мои зрители говорили, что им скучно, или если они (какой скандал!) просто покидали «зрительный зал».

Особенно запомнились мне такие наши спектакли в имении Брюнов Глазово под Лугой, куда они уезжали на лето и где я гостил по несколько недель два раза. Усадьба состояла из поместительного, но совершенно простого деревянного домика — комнат в десять, к которому вела аллея старых берез и за которым спускался к реке большой, частью плодовый сад. На косогоре, по другую сторону реки, была расположена деревня, состоявшая из низких, темных, крытых соломой изб — типичная картина для севера России. Ясные дни мы, разумеется, проводили на воздухе, в прогулках, но когда лил дождь (а лил он часто, превращая и двор перед мызой и сад в непролазное месиво), то приходилось или оставаться на крытом балконе или же, когда становилось уже слишком неуютно, в комнатах. Тут эти импровизированные домашние спектакли и служили нам самым приятным и интересным препровождением времени. Стекла окон поливаются как из ушата; в печках

трещат сырые дрова, а мы себе гуляем в волшебных садах багдадского калифа, греемся на мраморных плитах залитой солнцем террасы или же плывем по морю при луне с похищенной красавицей.

В Глазово я был доставляем либо сестрой Катей, либо самим Анатолием Егоровичем. Меня до того манило деревенское приволье, что и разлука с мамой не казалась столь страшной. Три часа поездом, небольшая остановка в пыльной, убогой, безалаберно разбросанной Луге и затем двухчасовая тряска на тарантасе по песчаным ухабам. То были мои первые «далекие» выезды и я с ненасытным интересом разглядывал все новые для моего глаза предметы, попадавшиеся по дороге. В совершенный восторг я пришел как-то от тех лесистых холмов, мимо которых лежал наш путь. Солнце, стоявшее ровно за ними, обрисовывало их контуры светлой каймой, к низу же масса зелени была подернута синеватой дымкой. Тут я, кажется, в первый раз понял, что такое «красота природы», о чем я часто слышал, но что до того времени оставалось для меня чем-то не вполне осознанным...

Вообще эти пребывания в Глазове сыграли как раз в моем художественном развитии некоторую роль. Там от скуки во время дождя мной был нарисован первый пейзаж с натуры: забор, яблони, а на первом плане идущая с коромыслом Маша-скотница, довольно смазливая баба, про которую мы сложили глупейшую песенку. Там же на прогулках по песчаным дорогам через сосновые рощи, спускаясь в дикие заросли оврага («здесь и медведи водятся», — говорил лесничий), или во время лежания на траве у речки, пока Валя и Лева занимались ужением, я вкушал всю прелесть деревенской поэзии. И именно то, что я проводил в этой «простейшей красоте» целые дни, что я успевал вдоволь и поскучать в ней, что я ее видел при разном освещении, то под ясной лазурью, то под свинцовыми грозовыми тучами, что я успевал иногда и промокнуть и снова высохнуть, это всё «ввело меня в природу». Имя Пана

в те времена я еще не знал, но самое существование его я как бы чуял. Как раз в Глазове я испытал и характерный «панический» страх. Совсем недалеко от дома открывалась на несколько верст по лесу широкая просека, как-то неравномерно проведенная. Справа и слева точно театральные кулисы, вступали или отступали, лесные массивы. Стоило здесь, хотя бы не громко что-либо крикнуть — как с поразительной отчетливостью раздавалось эхо и не один раз, а три, четыре, если же крикнуть во всю силу, то и раз десять. Однажды нам втроем вздумалось громко захохотать и вдруг в ответ раскатился «настоящий адский хохот». Казалось, что хохочет сам лес, хохочут все находящиеся в нем лешие, о которых с ужасом и с убеждением рассказывала нянька, и нам стало так жутко, что мы опрометью бросились бежать домой и такого опыта больше не повторяли.

Хоть в Глазове на приволье мы иногда и играли в довольно буйные игры, изображая тех же краснокожих, однако мы, будучи, в общем, довольно благонравными мальчиками, никогда не дрались и вообще физических насилий избегали. «Представляя» самые жестокие схватки, пленения, казни, мы не делали друг другу больно, разделяя в этом обычай щенят, львят и других животных, отлично также знающих, что такое игра, что значит «ломать комедию». Тем более остается странным случай, происшедший как-то летом 1880 года, когда приехал гостить к Брюнам их дальний родственник, юноша лет четырнадцати, на голову выше самого высокого из нас троих. В общем, несмотря на разные шалости и всяческие кривляния, мы были скорее смирными довольно благовоспитанными ребятами. Валя и Лева, те даже никогда не капризничали, да и не посмели бы, отчасти опасаясь не столько довольно крутых выговоров их матери, сколько самого факта огорчения родителей. Этот же новоприбывший Алеша был «настоящий мальчишка» — охотник до буйных игр и даже до драки. Вот он и затеял как-то на Глазовском дворе игру в городки. Долгое время всё шло дружно и весело; разделившись

на два лагеря, мы с увлечением разрушали поочередно вражеские крепости. Но вот от слишком большой горячности, я угодил брошенной палкой в самую голову Алеши! Будь пострадавшим кто-либо из нас, всё кончилось бы жалобами, перебранкой, слезами, но Алеша пришел в ярость и, перелетев громадными шагами через двор, он дал мне со всего маху — пощечину. Сначала я совершенно опешил! О том, чтобы, вступить в бой с таким великаном, не могло быть и речи, и в моем распоряжении оставались только мои обычные «решительные средства». Я не просто заплакал, а завопил как зарезанный, а затем умчался в свою комнату, заперся в ней на ключ, и оттуда на весь дом понеслись пронзительные крики-требования, чтобы мне немедленно был подан экипаж, что я уезжаю, что своего обидчика убью и т. д. Трагедия эта длилась довольно долго, но затем я устал сам, и, сознавая, что в достаточной мере всех «наказал», я лег на постель и заснул. Несколько раз сама Елеонора Александровна подходила к двери, стучала и звала меня, но я «представлялся мертвым» и упорно молчал. Однако, когда через щели двери до меня донесся запах свежеиспеченных к чаю хлебцев «тамбовок», то я не утерпел перед соблазном, отпер дверь и направился в столовую. Алеша стоял у стола смущенный и, увидев меня, первый подошел и с чувством произнес: «Прости меня, Шура». Я же, почувствовав прилив великодушия, молча пожал ему руку и трижды с ним облобызался. На следующее утро Алеша покинул Глазово и с тех пор мы никогда с ним более не встречались.

В долгие дождливые вечера мы с Валей и Левой вели всякие «умные беседы», иногда даже не лишенные философского оттенка. Особенно склонен был к ним Лева (этому «философу» было в то время лет восемь), который никак не мог успокоиться, размышляя на темы о бесконечности, о вечности, о Боге, о загробной жизни. Что за последним мыслимым пределом мира всё же должно открыться новое «хотя бы пустое пространство, а что, быть может, в этой, пляшущей в солнечном луче,

соринке — могут быть целые солнечные системы и такая же земля, как наша, а в ней такой же Лева, а на Леве опять такие же соринки — эти мысли наполняли его ужасом. Вообще в Леве было больше, чем в его брате, поэтического и даже художественного начала. Так он, младший из нас трех, лучше рисовал животных, и особенно ловко их вырезывал из бумаги, не прибегая к предварительному очерку. Небольшой квадратик бумаги под ударом ножниц превращался в целую группу зверей, расположенных в разных направлениях и соединенных между собой маленькими перемычками. Сколько надо было иметь сообразительности, какой заранее установленный в голове план работы, чтобы такой «фокус» мог удаться! И каждая такая зверушка, имевшая в длину не более двух сантиметров — будь то лев, хорек или слон — были снабжены всеми характерными чертами, причем это не были ребяческие бесформенные схемы, а силуэты, точно скалькированные с картинок зоологического атласа. Мне всегда казалось, что из Левы мог бы выйти совершенно замечательный художник, но едва ли это пришлось бы по вкусу его родителям. Такая «карьера» не соответствовала всему жанру Брюновского дома, лишенного всякой художественности, и Леву не только в этом направлении никто не поощрял, но, напротив, его направили по совершенно другой дороге. В конце концов, из него вышел образцовый агроном, и последний раз я встретил этого милейшего, добрейшего человека, после перерыва по крайней мере в двадцать лет, в имении графа А. Орлова-Давыдова Отраде, где он и состоял кем-то вроде эксперта при экономии графа[1].

Валя был совсем не похож на брата и эта контрастность с годами обострилась в чрезвычайной степени. Насколько Лева был прямым, открытым и простым, настолько Валя, не будучи ни фальшивым, ни каверзным, был всё-же «извилистым» и «туманным». В

[1] В 1947 г. получено из России известие, что Лева Брюн скончался.

Лёве, несомненно, доминировало мужественное начало, в Вале — женственное. Жизненная же судьба Вали получила трагический исход. Он был превосходным учеником гимназии и, кажется, окончил ее с золотой медалью; он необычайно серьезно отнесся (не чета мне и моим позднейшим друзьям) к изучению законоведения в университете. Поступив затем в Министерство Юстиции, он быстро стал подниматься по бюрократической лестнице и ему еще не было пятидесяти лет, когда он был назначен директором департамента полиции, а в будущем ему сулили и министерский портфель. В это время я его уже не встречал, и, вероятно, вот почему в моем воображении представление о «моем» Вале — хрупком, нежном, необычайно похожем на мать мальчике, — никак не вяжется с образом какого-то сурового инквизитора, каким, говорят, он себя и зарекомендовал. Во всяком случае в революционных кругах у него *была* такая репутация, и он это отлично знал, а потому, когда произошел переворот 1917 года — Валентин Анатолиевич счел более для себя осторожным исчезнуть с петербургского горизонта и куда-то спрятаться. Увы, год спустя он был выдан большевикам своими же близкими, и когда власти явились его арестовать, то мой бедный друг детства, запершись у себя в комнате, повесился! Произошло это где-то в провинции, кажется в Нижнем Новгороде.

У Вали и Левы были еще два брата, Боря и Леша, но они в моих воспоминаниях не имеют места, особенно последний, появившийся на свет тогда уже, когда наша дружба, пережив свой подъем, начала слабеть и тускнеть. Что сделалось с Лешей я вообще не знаю, ибо с конца восьмидесятых годов я его уже больше не видел. Что же касается Бориса Анатольевича, то он рос прехорошеньким мальчиком и из него вышел необычайно милый и приятный, живо мне напоминавший Анатолия Егоровича человек. При большевиках ему удалось всей семьей натурализоваться французскими гражданами и

«вернуться на родину предков». Во Франции он снова принял графский титул, почему-то его родителями не употреблявшийся, и скончался Боря Брюн уже во время немецкой оккупации где то на юге Франции.

Глава 11

КАЗЕННАЯ ГИМНАЗИЯ

Я поступил в гимназию со значительным запозданием. Весной 1880 года мне уже минуло десять лет; осенью того же года я поступил в приготовительный класс. Вследствие этого я и окончить гимназию должен был-бы не восемнадцати лет, как нормально полагалось, а девятнадцати. На самом деле я ее кончил двадцати — но это вследствие того, что я два года просидел в седьмом классе, о чем будет рассказано в своем месте. Почему это так случилось, я не знаю, но я подозреваю, что тут действовала мамочкина забота о том, чтобы я не переутомлялся. На самом деле я был готов для первого класса, поступив же в приготовительный, я имел значительное преимущество перед моими товарищами; я уже почти всё знал, чему нас учили, и мог без труда занять положение одного из лучших учеников. Зато страдало самолюбие в другом смысле. Мне казалось, что я «совершенно большой», а приходилось сидеть на одних скамьях с «малышами». Впрочем, когда я осмотрелся, то оказалось, что среди моих одноклассников имеются и мальчики, вполне «достойные моего внимания», а иные, пожалуй, были даже более развиты, нежели я. Среди них я выделил того, кто оказался моим соседом по парте (пюпитры-парты были двуместные и ученики сидели парами, между рядами таких парных парт оставались проходы) Володю Николаева, который,

к общему недоумению, среди года превратился в Володю Потапова; вероятно, тут произошло запоздалое узаконение отцом.

Володя был некрасивый мальчик. У него был сильно вздернутый и постоянно красневший нос и пухлые бесформенные губы; зеленые глазки сильно косили. Он вечно беспокойно озирался, а когда его вызывали к кафедре, то Володя, не переставая, обдергивал свою блузу. Он был всего на три месяца моложе меня, но ростом едва достигал моего плеча. По разным признакам было видно, что он сын родителей очень не зажиточных. Сначала он меня дразнил и высмеивал (впрочем, без злобы), но потом мы сошлись на «коллекционерской почве», так как оба оказались страстными собирателями — он перьев, я — марок. Позже (еще в том же году) у нас оказались и другие «более возвышенные» общие интересы, ибо и он очень увлекался Купером, Жюль Верном. При этом в нем уже сказывалось известное критическое отношение, тогда как мы — и я, и Брюны — брали наших любимых авторов безоговорочно; наши симпатии и антипатии скорее касались самих героев, а не того, хорошо ли их изобразил автор[1].

Меня определили в гимназию императорского Человеколюбивого общества. Выбор мамой этого заведения объяснялся двумя обстоятельствами: во-первых тем, что оно было горячо рекомендовано ее подругой Терезой Бентковской, двое сыновей которой в нем уже учились, во-вторых же, — гимназия эта находилась на очень близком расстоянии от нашего дома. Однако мне она с первого же дня не понравилась, и эту антипатию я сохранил в течение всех пяти лет, в ней проведенных.

[1] С момента, когда я в 1885 году покинул гимназию Человеколюбивого общества, я потерял Потапова из виду, но позже уже в университетское время я узнал, что он погиб где-то на Волге, куда был отправлен в командировку в качестве студента-медика и где свирепствовала холера. Погиб он, однако, не от холеры, а потому что в очень жаркий день по ошибке выпил залпом стакан раствора сулемы, приняв его за воду! Такой конец как-то соответствовал всей личности этого, усердного, азартного, вечно спешившего, вечно разгоряченного человека.

Суммируя свои впечатления, я думаю, что она особенно претила моему вкусу, что в ней был какой-то специфический — «слишком русский» дух. Позже, когда я в литературе и в театре, в изображениях Гоголя, Островского, Щедрина познакомился с тем, что представляла собой типично русская жизнь, типичные русские чиновники, типичный быт мещанский, то я во всём этом узнавал именно дух и, так сказать, «тон» моей первой гимназии. С другой стороны, мне кажется, что в какое бы казенное заведение меня ни определили — я бы там страдал не менее, и как раз не от каких-либо особенностей данного учреждения, а от всей «казенщины» вообще, к которой я уже тогда чувствовал непреодолимое отвращение.

С другой стороны, ничего особенно плохого я о своей гимназии Человеколюбивого общества рассказать не могу. Отношение учителей было скорее гуманное, классы, если и не отличались чистотой, то были просторны и светлы. Правда, по всей гимназии стоял какой-то довольно таки тошнотворный кисловатый дух, но происходило это от того, что половина нижнего этажа была занята столовой, в которой кормились жившие на полном пансионе ученики-интерны, казенный же обед не отличался изысканностью и, кроме гречневой каши и кислых щей с мясом, ничего не полагалось. Выпекаемый в гимназии хлеб, разумеется, был черный, но, странное дело, выпечка хлеба в казармах давала восхитительный и аппетитный «аромат» (этим ароматом я буквально упивался, проходя по Благовещенской улице, на которую выходили пекарни Флотских казарм), а вот выпечка хлеба в нашей гимназии порождала этот самый отвратительный кислый дух. На этот хлеб жаловались пансионеры, будто он ложится камнем на желудок. Впрочем, вообще кормили их довольно голодно и поэтому немудрено, что, возвращаясь со своего полуденного обеда в классы, они принимались клянчить у «богатых» товарищей, чтобы они с ними поделились своими домашними бутербродами и пирожками со вкусной начинкой. Свои бутерброды, над которыми каждое утро трудилась

мамочка, я отдавал без всякого сожаления; во-первых я знал, что, когда вернусь домой (около трех часов пополудни), то найду там оставленный для меня настоящий завтрак с кофием, с пирожными, а затем, я брезгал всем, что приходило в соприкосновение с чем-либо гимназическим — и даже брезгал своими руками, которые пачкались чернилами, от засаленных столов, больше же всего — от пожатия десятков нечистоплотных и потных рук. Моя брезгливость доходила до того, что, придя домой, я не только основательно мылся, но даже менял форменную одежду на домашнюю, только бы не слышать тошнотворный гимназический запах, которым всё на мне было пропитано.

Гимназическая форма была двух родов. «Парадная», которую в самой гимназии никто никогда не носил. Она была общая по покрою и цвету с формой всех других классических гимназий, т. е. синяя куртка с серебряным шитьем на вороте и с серебряными пуговицами. Эта форма в других гимназиях не имела характера исключительно парадного, ее ученики носили всегда. Классная же одежда в нашей гимназии была более своеобразна: она состояла из черной блузы, обшитой по вороту лиловой тесьмой, спускающейся наискось к кушаку. На пряжке же кушака из белого металла стояли буквы Г. И. Ч. О. и эти же буквы занимали середину того серебряного, «ажурного» значка, между двух дубовых ветвей, которыми была украшена фуражка. Я еще застал в 1880 г. фуражку французского образца, т. е. кепи, со слегка накрененным к переду донышком и с плоским кожаным козырьком, но в первые же годы царствования Александра III ее заменила фуражка круглая, с козырьком полукруглым. Парадную форму сшили мне только к свадьбе брата Михаила в 1884 году; шитье на ней было отменного качества и подкладка была белая шелковая. При всей моей ненависти к ношению формы, этим своим «шикарным» мундиром я гордился и охотно щеголял в нем в театре.

Юпитером среди педагогического Олимпа был ди-

ректор Голицынский — тучный, пожилой человек, с круглой, как шар головой, с глазами, прикрытыми очками, вечно съезжавшими с его носа. Под носом торчали белые усы, а щеки подпирались бритым двойным подбородком. Он ходил всегда несколько понурый, с руками, заложенными за спину. Для придачи пущей важности Голицынский взглядывал на учеников поверх очков и это действительно придавало ему грозный, «инквизиторский» вид. Ученики его побаивались, на самом же деле Голицынский был скорее добряком и всё его грозное величие было напускным. Я отчетливо запомнил и двух классных наставников, из которых одного — маленького, черномазого, с густой, плохо чесаной бородой, Василия Васильевича Щеглова, я нежно полюбил с первого же дня за его ко мне ласку, а другого (Николая Петровича), длинного, болезненного, вялого с испитым лицом и тоскливым взором — все почему-то презирали. Далее шли учителя математики Цейдлер, Фицтум фон Экштедт и Карпов, русского языка Орлов, латинского и греческого Евгенов, Томасов, позже Мичатек, «француз» Бокильон, «немец» Шульц, каллиграф Шнэ (или Шнель) и, наконец, учитель Закона Божьего — отец Палисадов, который был священником принадлежавшей гимназии церкви, соединенной с ней крытым переходом.

Назвал я всех учителей вместе, но, разумеется, преподавали они в разное время и в разных классах. Так преподавание латинского языка начиналось только с первого класса и я, в приготовительном, целый год ему не учился; греческий же начинался еще позже — с третьего или с четвертого класса. Из математиков первый по порядку стал нам преподавать добрейший, долговязый и близорукий Цейдлер, обладатель самой длинной во всём Петербурге (и притом рыжей) бороды. Он преподавал начальную арифметику, был вообще снисходителен к ученикам, ко мне же в особенности — вероятно, в силу того, что он был братом близкого приятеля моего брата Леонтия (архитектора Владимира Цейдлера). Ходил гимназический Цейдлер враскачку, причем борода его развевалась, «как флаг». Его через год заменил кор-

ректнейший, даже элегантнейший Фицтум фон Экштедт, про которого ходила молва, что он «настоящий граф». Его мы не любили за сухость и аристократическую надменность. Ко мне Фицтум относился с оттенком известной «светскости», которой отличалось его обращение и с другими представителями «приличного общества» в нашем классе — с Жоржем Бруни, с графом Костей Литке, с братьями Княжевичами. Был и он огненно рыжий, но подбородок по-английски брит, щеки же его были украшены бачками-котлетками. Мне Фицтум скорее нравился, потому что в нем не было ничего типично русского, грубоватого. Это был джентльмен. Зато без симпатии относился я к его коллеге Николаю Афанасьевичу Карпову, грубому, заносчивому, придирчивому человеку. Этот Карпов однако впоследствии обнаружил значительные административные таланты и это он с успехом сменил Голицинского на посту директора гимназии.

Не знаю почему, отсутствием всякой симпатии среди гимназистов пользовался учитель русского языка Орлов. Имени и отчества его я не запомнил, вероятно потому, что они ничего характерного в себе не имели, но прозвище, данное учениками, — Скула ему подходило вполне и я его запомнил. Он, действительно, иначе не говорил, как улыбаясь слащавой приятнейшей улыбкой во весь, обложенный седой бородой рот; это выражение не сходило у него и тогда, когда он ставил двойки, единицы и нули или когда он просил кого-либо из учеников «встать лицом к стене». Такое несоответствие между приятностью улыбки и причиняемыми Орловым неприятностями и создало ему репутацию человека фальшивого и лицемерного. Надо отдать Орлову справедливость, что он не выделял и своего сына, учившегося вместе с нами. Не раз получал, вообще прескверно учившийся Володя Орлов, по русскому языку единицы и нули, не раз, в назидание прочим, папаша-педагог, заставлял его в течение четверти часа любоваться унылой загрязненной стеной... Меня несколько обижало то, что Орлов никак меня не выделял; даже тогда, когда я счи-

тал, что я ему ответил на пятерку, он, ставя четверку, ничем мои успехи не поощрял.

Латинский язык мне сначала не давался — несмотря на то, что мне, знавшему французский, было сравнительно легко заучивать слова и строить фразы. Не давался же он мне по вине учителя — чеха. С виду учитель мне скорее нравился, так как я находил в нем какое-то сходство с Шекспиром, а лицо Шекспира, благодаря комбинации оголенного лба и заостренной бородки, мне казалось необычайно красивым. Но на этом сходстве г. Евгенова с автором «Гамлета» и «Бури» кончалось. Был же он, если и не злой, то бестолковый и в педагогическом смысле недаровитый человек. Он вечно суетился, часто гневался, а когда гневался, то терял самообладание, и его, и без того дефектное произношение русского языка, становилось комичным. При основательных, вероятно, знаниях, он часто путался, сбивался, и в этих случаях обрушивался на учеников. Но мы были уверены, что Евгенов в душе добряк, а потому, когда он собрался вернуться к себе на родину в Прагу, и в честь него было устроено прощальное сборище в актовом зале, то не только он сам, произнеся свою последнюю речь, прослезился, но и все ученики были тронуты, многие даже всплакнули.

Лишившись Евгенова, мы, однако, оказались в выигрыше, ибо его заменил Николай Николаевич Томасов — единственный из учителей гимназии, которого я не только полюбил, но к которому и исполнился глубокого уважения. Между тем, это был совсем молодой человек, необычайно тощий, некрасивый, сдержанный, державшийся с той суховатой корректностью, которую вообще дети не очень любят. Привлекало же меня к Томасову не только его болезненный, несколько чахоточный вид (напоминавший мне незабвенного мосье Станисласа) и не только его сходство с Гоголем, что особенно сказывалось в его остром носе и в его жидких белокурых усиках, но то, что он необычайно быстро помог мне (и многим из моих товарищей) преодолеть трудности ла-

тыни и тем самым как бы приотворил двери, вводившие в понимание классиков. Этому усвоению латыни посредством «форсированного» чтения, способствовал и мой домашний репетитор В. А. Соловьев, о котором я уже упоминал выше. Впрочем, Соловьев действовал скорее каким-то, я бы сказал, внушением. Он заставлял меня читать Цезаря и Овидия, «как читают роман», без словаря, бегло, стараясь вникнуть в смысл фразы по контексту, а также по сходству латинского с другими мне знакомыми языками. Уже через две недели такого форсированного натаскивания я, действительно, читал названных авторов, причем сам Соловьев ограничивался одними краткими пояснениями. Я очень жалею, что впоследствии так и не собрался познакомиться с литературными работами Соловьева, подписывавшегося Андреевич, и, если я не ошибаюсь, принимавшего деятельное участие (он чуть ли не состоял редактором?) в редактировании одного из значительных толстых прогрессивных журналов («Русского Богатства»?). Если он и в отношении своих читателей действовал с такой же энергией и «насилием», как когда-то в отношении меня, то для меня становится понятным тот авторитет, которым он пользовался в известном кругу. Однажды мне по делу пришлось посетить его в редакции, но он с трудом вспомнил про нашу давнишнюю кратковременную дружбу, а от его заразительной веселости не осталось и следа. Он мне показался типичным представителем серьезной и передовой журналистики, которая, в общем, была мне далеко не по нутру.

Увы, Томасова сменил в четвертом классе снова чех. На них у нас тогда был большой спрос: они всегда соединяли солидную немецкую ученость с довольно быстрым усвоением, родственного для всех славян, русского языка. Эта смена оказалась для многих, и для меня в особенности, «роковой». Он преподавал латынь и греческий, но преподавал так скверно, с таким отсутствием всякой чуткости к психологии учеников, он был так свиреп и так глуп, что не только я не постиг, благодаря Мичатеку греческого языка, но я забыл и возненавидел латинский.

Такой педагог, как он и многие ему подобные, были причиной того, что гимназисты в те времена ненавидели и тогдашнего министра народного просвещения графа Дмитрия Николаевича Толстого, в котором все видели главного виновника своих страданий. У Мичатека всё сводилось к тупому зазубриванию, причем никаких отступлений от того, что стояло в книжке, он не допускал. Томасов, напротив, как бы даже поощрял нас на «фантазирования» — пользуясь ими, чтобы разъяснять особенности и самую прелесть латыни. Очень скоро мои отметки в журнале по древним языкам стали пестреть единицами и нулями. Мама и папа недоумевали, откуда такая странная перемена в моих успехах, а от других родителей на Мичатека поступали даже жалобы директору, но это не помогало. Злющий чех внедрился, как крепко засевший клещ, причем безнадежная глупость его не допускала мысли, что он ошибается, что взятый им курс неправилен. При этом Мичатек был необычайно уродлив, и физиономия его могла бы отлично служить моделью для какого-либо кошмарного монстра. Косой, с кривым ртом, с отвратительной, хлопьями росшей грязно-серой бородой, с нескладными движениями рук и ног, он напоминал и каких-то жутких нищих. Хуже всего было то, что мои неуспехи по классическим языкам обескураживали меня вообще, деморализовали меня. Мое школьное нерадение дошло, наконец, до того, что я (вместе с несколькими другими мальчиками) не был допущен до весенних экзаменов. Не желая, чтобы я прогулял целый год, родители решили тогда взять меня из гимназии Человеколюбивого общества. Именно в этом Мичатек и оказался «роковым», не будь его, я, вероятно, до конца курса учения не покинул бы казенной гимназии, я бы не поступил в частную гимназию Мая, я бы не подружился с Философовым, с Сомовым, с Нувелем, далее не произошла бы моя встреча с кузеном Философова — Дягилевым и т. д. и т. д.

Вернусь к моим учителям из гимназии Человеколюбивого общества.

Французскому языку обучал нас мосье Бокильон.

Совершенно естественно, что я, уже свободно говоривший по-французски, здесь оказался «вне конкурса». Даже другие мальчики «приличных семейств» — оба Княжевича, Бруни и граф К. Лидтке, не могли в этом со мной тягаться. Кроме балла «5», я других отметок на уроках французского языка и не получал. Но, пожалуй, если бы я и не был силен во французском, то и тогда мосье Бокильон относился бы ко мне с особым благоволением. Ведь кроме своей педагогической деятельности, он был поставщиком французских и вообще иностранных вин, и в качестве такового каждый год являлся к нам для получения очередного заказа. В те времена (до конца 1880 годов) не принято было пить русское вино и тем паче угощать им гостей; напротив, и у нас, и у многих наших знакомых вино выписывалось бочками из Франции и разливалось по бутылкам на дому. Что касается мосье Бокильона, то он вполне оправдывал оказываемое доверие. Выдержанное у нас в бутылках красное вино «Сент Эмилион» приобретало с годами изумительный «букет», а попивая «Фин-Шампань» отдаленных годов, знатоки щелкали языком, и, держа рюмку на свет, любовались янтарно-золотой влагой. Доставлял нам мосье Бокильон и превосходную мадеру.

Заодно расскажу здесь и про самую процедуру разливки вина. Происходила она у нас в папиной чертежной, и на эти дни эта комната освобождалась от всей лишней мебели, а вместо нее устанавливались три или четыре бочки, из которых одна, с красным вином, была чрезвычайных размеров. Сюда же вносилось и всё нужное для предстоящей операции: корзины с порожними бутылками, большой ушат воды, в котором мокли пробки и т. п. Священнодействие начиналось с утра. Человек, отряженный соседним винным погребом Фейка, являлся со своей хитрой машиной для закупорки и с краном. Со вставления его в бочку и начинался обряд. Момент, когда образовывалась дырка в бочке, а из нее, как кровь из чудовища, дугой начинала бить красная струя — был особенно волнующим. Разлив-

щик, все жесты которого отличались уверенностью, сразу останавливал «кровотечение» вставлением крана, после чего дальнейшее шло с надлежащей методой и на это было очень весело смотреть. Быстро, быстро влага поднималась в подставленную под кран бутылку, одна наполненная бутылка сменялась пустой и все устанавливались на полу вокруг оператора. Почти от каждой бутылки разливщик сбрасывал толику вина в специальный сосуд, этот сосуд шел затем на кухню. Самым же интересным была закупорка посредством принесенного инструмента. Полные бутылки вставлялись в особое «стойло», к горлышку прилаживалась пробка, оператор нажимал рычаг и трах — пробка уже прочно сидела в стеклянном кольце. После этого оставалось надеть поверх пробки блестящую разноцветную капсюльку мягкой жести и наклеить на бутылку одну из тех этикеток, которые лежали в прилаженной к бочке коробке. Наш «Сент-Эмилион» украшался в былое время эффектной овальной картинкой, изображавшей золотого льва на красном фоне, но впоследствии мода на такие украшения прошла, и этикетки стали простыми, белыми с каллиграфически написанным названием. Поданые в особо торжественные дни такие бутылки со львом вызывали всегда восторг дяди Миши Кавоса и моего брата Леонтия: ведь эта этикетка означала, что вину по крайней мере десять, а то и больше лет... Под вечер после того, как всё вино было разлито, являлся сам мосье Бокильон и, попробовав от каждого вина по рюмочке, с авторитетом произносил: «Отлично!», после чего оставалось разместить бутылки по разным, специально для того устроенным в стенах квартиры и в погребе помещениям.

С разливом вина у меня связаны и два личных, довольно позорных воспоминания. Именно дважды во время этих разливов я испытал опьянение до полного одурения. Пользуясь тем, что бонна и мама оставили меня в чертежной любоваться работой разливщика, я стал подставлять ему, после наполнения каждой бутылки, свою игрушечную рюмку с тем, чтобы излишек попадал

не в специальную посуду, а в мою рюмку, и хоть это и замедляло работу, однако разливщик благодушно потворствовал мне. Рюмочка была крошечная, с наперсток, однако, выпивая одну за другой, я стал пьянеть, а на двадцатой или тридцатой рюмке мною уже овладевало то чудесное чувство «потусторонности», для получения которого люди часто и предаются культу Бахуса. Увы, за этим чувством следовало другое — весьма неприятное: всё начинало быстро вертеться вокруг, а сам я оказался уже лежащим на полу.

Первое такое опьянение, происшедшее осенью 1881 года, прошло сравнительно благополучно; меня вырвало, и я сейчас же пришел в себя, но второе имело более тяжелые последствия. Я пролежал несколько дней в постели, и одна мысль о вине ввергала меня после того в мучительные повторные приступы тошноты... Из этого можно заключить, что я вообще не рожден быть пьяницей, что просто моя натура не выдерживает. Эти два случая меня отвратили от вина — однако не настолько, чтобы я сделался каким-то адептом полной prohibition. Вино — вещь чудесная и поистине божественная, но надо знать меру в пользовании им. Сейчас я спрашиваю себя, как могли старшие допустить чтоб уже раз случившееся могло повториться? Вероятно, во второй раз, забыв о первом предостережении, я хитростью проник в разливочную и напился умышленно, просто из озорства, тогда как в первый раз я напился нечаянно. Любопытно еще, в этот раз, и то, что, уже лежа почти в беспамятстве на полу, я стал во всё горло выкрикивать всякие бранные и самые неприличные слова, которым я только что научился у гимназических товарищей. Воображаю, какой получился конфуз! В полутумане я еще видел, как хихикает Степанида, как гувернантка фрейлейн Штрамм делает вид, что она ничего не понимает и как мамочка, подавляя смех, пытается сделать строгое лицо и остановить отвратительное словоизвержение. Сейчас же вслед за последним проблеском сознания я погрузился в мрак небытия и снова вернулся к жизни только тогда, когда с забинтованной

головой и с омерзительным вкусом во рту лежал у себя на постели... Этот второй урок, в котором косвенно повинен учитель французского языка мосье Бокильон, был и последним.

Как это ни странно, но с персоной гимназического учителя немецкого языка у меня тоже связано воспоминание домашнего характера. Шульц был русский немец и едва ли не лучше говорил по-русски, чем по-немецки, но физиономия и вся повадка были у него тевтонские, а его манеры и обычаи еще более соответствовали классическому представлению о грубом, нахальном и лукавом германце... У меня к немцам вообще, несмотря на все политические события, сохранилось и по сей день самое симпатичное отношение: я очень хорошо чувствую всё то, что есть чарующего в немецкой натуре, хотя бы к этому чарующему часто бывает примешана доля неискоренимой грубости. Но этого немца Шульца, его широкую рожу, окаймленную густой рыжей бородой, его ярко-красные волосы, ежиком торчавшие на голове, его неестественно бодрый тон, его вечную Aufmunterung, я ненавидел, несмотря на то, что и у него (вполне естественно) я тоже получал одни пятерки. Впрочем, и мои товарищи терпеть не могли Шульца за склонность к ябедничанью, за пресмыкательство перед начальством, за шпионство, назойливые придирки и т. п. И вот этого самого Шульца я получил себе совершенно неожиданно в менторы. Случилось же это ранней весной 1884 г., когда мне было около четырнадцати лет. Это тогда со мной приключился в классе один из первых моих любовных кризисов. Девочка, в которую я был тогда влюблен и которая сначала как будто отвечала моим чувствам, затем переменила свое отношение ко мне и всячески стала выказывать полное ко мне равнодушие. Всё это было нечто очень детское и довольно таки нелепое, но переживал я свое несчастье с настоящими страданиями. К тому же я как раз тогда зачитывался романами Дюма и, кроме того, только что «совершенно сошел с ума» от прочтения «Призраков» Тургенева. Мои любовные терзания сопровождались

подобием галлюцинаций, я пробовал вызывать духов, которые должны были явиться мне на помощь, и, разумеется, некоторая доля подлинности во всём этом тонула в целом море самовнушения и самообмана.

Дело дошло до того, что несколько раз у меня, при мысли об измене той, к которой тянулось всё мое существо, делались припадки отчаяния. Ни с того ни с сего я заливался слезами и мне казалось, что вот-вот я умру от горя. Один из таких приступов и случился как раз на уроке Шульца. Вызванный отвечать урок, я вдруг разрыдался и повалился на пол как бы в беспамятстве. «Немец» переполошился ужасно; при помощи других мальчиков он постарался меня привести в чувство (до настоящего обморока было далеко), затем вызвался сам отвести меня домой. Дома меня уложили в постель и обложили компрессами, отчего я размяк еще более и окончательно поверил, что «болен любовью» безнадежно и что мой конец близок. В естественной тревоге мамочка обратилась к Шульцу за советом, а он сразу ухватился за представившуюся оказию и уверил ее, что вся беда в том, что я не имею достаточно моциона, что я не делаю гимнастики и что я совсем не гуляю. Тут же Шульц предложил свои услуги, чтобы именно посредством моциона вывести меня из моего состояния, а мама с радостью за это предложение ухватилась. Настоящую же причину моих (наполовину воображаемых) страданий я при этом тщательно скрывал.

Но не так-то легко было преодолеть мою ненависть ко всяким бессмысленным, бесцельным упражнениям. Из гимнастики сразу ничего не вышло; я чувствовал к ней определенное отвращение, весь же проектировавшийся «моцион» свелся к прогулкам. Три раза в неделю Шульц за приличное вознаграждение являлся к нам и я с ним отправлялся гулять пешком по улицам. Сначала мне это даже нравилось, ибо я показывал Шульцу достопримечательности Петербурга (благодаря папе я уже начинал их знать и любить, а к тому же у меня вообще сильно сказывался уже тогда какой-то инстинкт пропаганды), однако, не встречая в Шульце на-

стоящего отзвука, я вскоре охладел к этому бесплодному путеводительству. Иногда я заставлял Шульца войти в какую-либо церковь или в музей, но он уже через две минуты обнаруживал непреодолимую скуку, к тому же его честную немецкую натуру, видимо, начинали мучить угрызения совести. Ведь ему платили деньги за то, чтобы я с ним маршировал, дыша свежим воздухом, а не для того, чтобы топтаться в закрытых помещениях. А тут случился еще и такой глупейший казус — я его завел в открывшийся где-то на Невском проспекте паноптикум, в котором целое отделение было посвящено ужасающим «по натуральности» пластическим картинам разных венерических болезней! Шульц, по своему тупоумию, не сразу разобрал, в чем дело, и я успел осмотреть половину этих ужасающих экспонатов, когда он спохватился и в ужасе бежал из столь пагубного места. Зато какое удовольствие я испытал, рассказывая об этом случае дома, при всех за обедом. Мамочка сочла нужным объясниться с моим ментором, он же сдуру впал в амбицию. Прогулки после этого прекратились, а к тому же казалось, что они уже «успели принести всю, ожидавшуюся от них пользу». Никто из взрослых не догадывался, что перемена в моем настроении и прекращение моих кризисов произошли вследствие того, что между мной и предметом моего обожания снова водворились полный лад и согласие и что из «несчастнейшего» человека я снова превратился в «счастливейшего».

Наиболее живописной фигурой из всего учительского персонала в гимназии был, несомненно, отец Палисадов, с которым читатель уже познакомился в моем рассказе о том воздействии, которое проповедь этого батюшки имела на нашу домашнюю театралку Ольгу Ивановну. Теперь же надо сказать два слова о Палисадове, как об учителе Закона Божьего. Правда, в качестве католика, я не состоял среди его учеников — и я мог бы даже вовсе и не присутствовать на его уроках, но эти уроки были до того занимательны, что первые два года, я, вместо того, чтобы проводить эти часы

вне класса в рекреационном зале, предпочитал оставаться в классе на своем месте.

Занимательность и даже забавность уроков отца Палисадова заключалась в том, что он вел их сплошь в юмористическом тоне. Из того Саванароллы, каким он являлся в церковных проповедях, он превращался в шутника, в подобие капуцина из «Лагеря Валленштейна». Одна из его «забав» заключалась в том, что не знавший своего урока ученик мог всегда вымолить себе пощаду (заключавшуюся в том, что вместо единицы ставилась в журнале тройка) — посредством подчинения себя своего рода епитемии. Заключалась же епитимия или в простаивании на коленях у кафедры в течение пяти минут, или в том, что мальчик подставлял свою голову священнослужителю, а тот, схватив ее за волосы, ударял ею довольно сильно по кафедре, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе за то, что у Адама был сын Ной» или «за то, что Авраам спасся из Содома». При этих экзекуциях (не очень жестоких; за каждым уроком их было пять или шесть) весь класс неистово хохотал; смеялся, делая гримасы, и наказуемый.

Несколько предосудительнее была склонность отца Палисадова к скабрезностям, иногда даже довольно рискованным. Он любил задавать вопросы вроде: «Мог ли у Адама быть пуп?» или же, складывая свою бородатую физиономию в сатирическую улыбку, делал прозрачные намеки на то, в чем выразилось первое грехопадение или на то, что произошло между Авраамом и Сарой после посещения трех ангелов и т. п. Едва ли эти отступления от приличествующего этим урокам тона можно было счесть за нечто образцово-педагогическое или хотя бы за свидетельство хорошего вкуса, но зато популярность отца Палисадова в гимназии именно они и закрепляли.

Теперь несколько слов о моих гимназических товарищах. Но тут я буду краток. О том мальчике, которого я в течение двух лет мог считать своим другом — о Володе Потапове, я уже говорил, а, кроме него, друзей я себе среди гимназистов так и не приобрел. Одно время намечалась было дружба с двумя Княжевичами. Они были милейшими и очень благовоспитанными мальчиками. Несмотря на то, что они были близнецами, они представляли собой поразительный контраст. Единственное сходство между ними была худоба и легкая склонность к заиканию, но старший, Володя, был определенный блондин с удивленным или рассеянным выражением на некрасивом, но очень симпатичном лице, младший же, Коля, был смугл, как арапченок, и в ласковых и лукавых его черных глазах «прыгали чортики». Наша дружба завязалась на том, что часть пути из гимназии мы иногда проделывали вместе (Княжевичи жили в собственном доме на пересекавшей нашу Никольскую Офицерской улице), а еще более на том, что у нас были какие-то общие «духовные» интересы. Поощрительно к этой дружбе относились и наши родители. Тем не менее, я только один раз побывал у них, а они ни разу — у нас, а через два года после их поступления в гимназию оба брата были переведены в Лицей, куда и я сам за ними стал проситься. Изредка впоследствии я еще встречался то с Володей, то с Колей, но уже мы обращались на вы и наши жизненные дороги совершенно разошлись. Володя посетил нас в 1915 г., когда я с семьей жил в Судаке; в это время он был всё такой же симпатичный, но уже и очень почтенный предводитель дворянства, Колю же я встречал изредка на светских собраниях. Эффектная форма лейб-гусара очень шла ему, но на его лице, в общем мало изменившимся, я уже не видел прежней веселости. Николай Княжевич был адъютантом Николая II и его имя встречается в рассказах о последних годах царствования несчастного государя. Доживал свой век Н. Княжевич недалеко от Парижа, в Русском доме Сент-Женевьев де Буа, где он коротал свои досуги, исполняя роль садовника на кладбище.

Недавно (писано в 1950 г.) я узнал, что Коля Княжевич скончался, оставив по себе память прямо святого человека. Меня в это время не было в Париже, и я не мог проводить своего товарища детства до могилы.

Почти то же приходится сказать о моей дружбе с двумя Литке — Саней и Костей. И это были очень приятные, милые, благовоспитанные мальчики. Мне несколько импонировало, что они графы, но они не кичились своим титулом и были необычайно ласковыми и простыми ребятами. С Саней я потом встречался часто, когда он уже был студентом, а я готовился стать таковым, но затем мы почти совершенно потеряли друг друга из виду — и это несмотря на то, что Литке состояли в каком-то родстве с Философовым, и Саня иногда появлялся на Галерной в дни семейных торжеств. То, что кроме того, он был в родстве и с П. И. Чайковским, казалось, должно было бы способствовать моему сближению с человеком, которому ничего не стоило меня свести о обожаемым композитором, однако, как будет сказано дальше, я никогда не стремился лично знакомиться со своими кумирами. Теперь же не один десяток лет как граф Александр Николаевич покоится в земле, скончавшись сравнительно в молодых годах.

Музыка могла бы подружить меня с еще одним товарищем — с Жоржем Бруни, и это тем более, что между семьями Бенуа и Бруни существовали стародавние очень близкие отношения, носившие даже оттенок чего-то родственного. Родная тетка Жоржа — Тереза Антоновна Бентковская (та самая Терезина, которой посылал мой отец свои чудесно иллюстрированные письма), была одной из немногих дам, с которыми мама сохраняла еще в детстве завязавшуюся дружбу. Отец же Жоржа (сын знаменитого живописца Федора Антоновича Бруни) — Жюль с полным основанием славился на весь Петербург, как гениальный импровизатор (он являлся в некоторой степени соперником моего брата Альбера), и этот дар мой сверстник унаследовал от отца. Всё же из моей дружбы с Жоржем ничего не вышло.

Этот высокий, стройный и очень красивый мальчик, с типично итальянской наружностью, слишком отставал от меня в умственном развитии. Бедный Жорж, благодаря своей простоте, служил даже посмешищем в нашем классе, мишенью разных злых шуток со стороны озорников-товарищей. Говорят, родители в раннем детстве опасались, что Жорж просто вырастет кретином, но своевременно были приняты какие-то чрезвычайные педагогические меры и постепенно удалось научить его говорить и читать не только на русском, но и на других языках (по-французски он даже любил изъясняться, причем неизменно принимал при этом слегка фанфаронский вид). Когда ему минуло десять лет, родители решились поместить его в гимназию. Но следы какого-то странного умственного дефекта оставались у Жоржа; учился он отчаянно плохо, а когда его вызывали отвечать урок, то весь класс хохотал, до того уже комично он выкладывал свою неспособность что-либо усвоить и хотя бы вызубрить. Для меня было очевидно, что бедняжке хотелось со мной сблизиться, но как мог я дружить с мальчиком, который был так далек от всего, что меня занимало и интересовало? Что же касается до его музыки, то тут, пожалуй, те восхваления, которые уделяли импровизации Жоржа его кузены — все трое Бентковских (старший Альфред Карлович был сам удивительно музыкальным человеком и даровитым импровизатором), то это скорее ущемляло мое самолюбие и вызывало во мне чувство зависти, столь знакомое в детские годы. Несомненно, что импровизации Жоржа служили известным отводом для страданий родительского самолюбия и компенсацией за то, что во всём прочем трудно было им гордиться. Впоследствии из Жоржа вышел вполне нормальный человек. После того, как отец его, «знаменитый» Жюль Бруни спустил не только всё наследство, полученное от отца, но и большое приданое своей жены (урожденной Пель), Жорж, женился и не без достоинства стал играть роль уважаемого отца семейства. Виделись мы однако редко и больше на улице. Его музыкальные способности нашли себе

применение в том, что он по воскресеньям играл на органе в Швейцарской церкви на Большой Конюшенной.

Об остальном классе у меня осталось смутное и далеко не отрадное впечатление. Уже с самого начала я почувствовал к массе этих шалунов и дуралеев известное презрение, но оно только еще усилилось и достигло настоящего страдания, когда с осени 1881 года в наш («первый») класс были определены человек двенадцать настоящих, мы бы теперь сказали — хулиганов. Это были ученики какого-то Ивановского училища, воспитывавшиеся полными пансионерами на казенный счет. Почему их перевели в гимназию Ч. Л. О. и с какой стати наш класс подвергся их поистине тлетворному влиянию, это осталось загадкой, но что это были действительно разбойники и будущие преступники, — стало ясно с первых же дней прибытия к нам дикой и во всех смыслах развращенной оравы. К тому же это были грязные, в самом прямом смысле, мальчики, от которых шел неприятный запах. Со мной рядом посадили по другую сторону от Потапова — коренастого, удивительно уродливого хохла Дзубенко, который чуть ли не с первого дня принялся за пополнение моего «просвещения» в очень специальном смысле. От него я узнал целый словарь площадных выражений. На русском языке они отличаются исключительной звучностью — не даром Достоевский посвятил несколько страниц своего Дневника писателя «главному» среди них. От него же я узнал всё то, что для меня до тех пор было тайной. Другие мальчики производили тут же на глазах разные игры, курили, пряча при входе учителя в класс зажженную папиросу в рукав, пили из горлышка водку, которую держали в парте за книгами или в печке, с ожесточением дрались и с удовольствием умыкали в свою пользу всё, что «плохо лежало». Постепенно они терроризировали весь класс и особенно доставалось от них одному крошечному, но необычайно усердному и способному еврею — Гурвичу, бывшему у нас первым учеником, но державшемуся на большой дистанции от товарищей. Любимым мучительством ватаги диких башибузуков было

«крещение жида», для чего устраивалась целая церемония с пением богохульных гимнов. Кончилось это тем, что однажды Гурвичу вымазали всё лицо чернильными крестиками, но смыть эту татуировку сразу не удалось. В таком виде несчастный предстал перед учителем, а тот повел его показать директору. Башибузуки были наказаны и зачинщики даже снова переведены куда-то. Но брошенные ими семена взошли на благодарной почве — и это с тем большей легкостью, что всё же часть ивановцев осталась.

Я покинул гимназию весной 1885 года. Главной причиной тому было, как я уже говорил преследование, которому я подвергался со стороны гнусного Мичатека и получившаяся вследствие того моя полная деморализация. Деморализация привела к тому, что я совершенно запустил не только древние языки, но и все другие предметы, вследствие чего меня оставили за неуспехи на второй год без экзаменов. Это было слишком постыдно, и мне без труда удалось убедить маму, чтобы меня взяли из казенной гимназии и перевели без потери года в какое-либо частное училище. Я мечтал о Лицее — плененный тем, что это было нечто аристократическое и «шикарное». По окончаниии Лицея я уже видел себя на дипломатическом поприще... Но папа решительно воспротивился этой «глупой фанаберии» (он неохотно согласился и на перемену школы) и, после наведения разных справок, — выбор пал на немецкую гимназию Мая — правда, находившуюся от нашего дома на расстоянии двух с половиной километров — по ту сторону Невы, но зато рекомендованную разными знакомыми и в особенности милым Обером, как образцово поставленное заведение. Туда, благополучно сдав осенью того же 1885 года вступительные экзамены, я и был определен.

Глава 12

«ЗАГРАНИЦА»

Не знаю как сейчас в России относятся к «загранице», но в моем детстве, в Петербурге и в нашем кругу — заграница представлялась чем-то в высшей степени заманчивым, каким-то земным раем. О загранице мечтали стар и млад, и едва ли младшее поколение не более сильно, нежели старшее. Ездили заграницу все, и даже люди с очень скромными достатками, и даже те, кто, из патриотизма, готовы были всё чужеземное хаить. Весьма многие ездили заграницу лечиться, но часто и это бывал только предлог, чтобы перевалить заграницу и очутиться в одном из таких заведомо приятных мест, как Карлсбад, Мариенбад, Эмс, Баден-Баден или Висбаден, в которых «столько чудесных прогулок» и в которых собиралось такое «избранное общество»... Мечтал о загранице и я, когда еще был крошечным карапузом и имел самые смутные представления о географии. Одной из забав моего отца, когда мне было 3-4 года было подымать меня высоко над своей головой и спрашивать: «Ну что, видишь Москву?» Я делал усилия, вглядываясь пристально, и хоть бы это происходило где-либо в Петергофе, в конце концов, мне действительно казалось, что я различаю вдалеке какой-то чудесный город. Из заграницы шли все

самые прелестные вещи: рельефные картинки, присылавшиеся из Гамбурга семьей дяди Саши, фантоши, которые бабушка привозила из Венеции, чудесные швейцарские стереоскопические виды в коллекции дяди Кости и т. д. Из Мюнхена шли забавные картинки («Мюнхенер Бильдербоген»), из Парижа всевозможные смехотворные, а иной раз и таинственные вещицы. В своем месте я забыл упомянуть о той «волшебной» книжке, которой я особенно любил изумлять своих товарищей. Она была так устроена, что, если ее листать в одном направлении, то все страницы оказывались пустыми. В обратном направлении каждая страница была украшена красиво раскрашенной картинкой. В доме у нас все свободно говорили по-французски и по-немецки, а многие друзья дома были иностранного происхождения, и как раз они казались мне более воспитанными и изящными, нежели русские знакомые. Наконец, папа увлекательно рассказывал о своем пребывании в Риме, в Орвието, в Венеции и в Англии, и хотя это всё происходило за тридцать лет до моего рождения, однако рассказы его отличались такой живостью, они были так прекрасно дополняемы его акварелями, что всё это представлялось мне близким и современным. Я не сомневался, что, когда я, наконец, поеду заграницу, то увижу всё таким же, каким видал папа. В Риме ожидал встретить, среди непролазных развалин, стада буйволов, и я был уверен, что все итальянцы до сих пор одеты так, как они одевались в годы римского пенсионерства папы, иначе говоря, как одеты были те пифферари, которые, по стародавнему обычаю, всё еще ходили по петербургским дворам и плясали под заунывные звуки волынки.

Помнятся, наконец, мне и те мечты, которые вызывал во мне издали из Петергофа видимый Кронштадт, с цепью его, прямо по воде разбросанных фортов. В ясные летние вечера всё это отчетливо вырисовывалось

на фоне заката. Сидя на Мраморной площадке Монплезира, глядя вдаль, где между Фортами лежала дорога заграницу, туда, куда заходило солнце, — я испытывал томительное, сладкое чувство — род ностальгии. В зрительную трубу (в кабинете Петра I в Монплезире стояла огромная такая труба и придворный лакей, хорошо всех нас знавший, охотно позволял ею пользоваться) эти форты казались уже совсем близкими. Чудно было видеть, как какой-либо большой трехмачтовый корабль, пройдя между ними, удалялся дальше дальше и, наконец погружался за линию горизонта. Этот корабль плыл заграницу, в Гамбург, в Лондон, а то еще дальше, в Америку, в страну милых краснокожих и смешных янки. И ах, как мне хотелось оказаться на таком корабле — хотя бы юнгой! Только бы уехать, повидать, что творится там, где, по общему свидетельству, так хорошо.

Я думаю, в тогдашней западной Европе едва ли можно было бы найти культ иностранщины, столь интенсивный, как тот, что царил в России и особливо в Петербурге — в этом «окне в Европу». Город С.-Петербург попрежнему служил перстом его основателя, указующим на то, что должно служить россиянам образцом всяческого подражания. Всё Петровское и самый дух Петра, витавший по улицам и площадям Петербурга — еще более Петергофа, — вещали, что оттуда, из-за границы, идет спасение. Много было смешного и много было несправедливого в этом поклонении русских чужому; жизнь тогдашней России обладала, в сущности, большой (и даже ни с чем не сравнимой) прелестью, но к этой прелести так привыкли, что ее больше не замечали. О ней скорее можно было слышать восторженные отзывы от заезжих иностранцев — особенно от англичан, но мы этим восторгам не верили и принимали их за вежливые комплименты. С другой стороны, всякие уродливые и дурные стороны российского быта — будь то на улице или дома —

лезли в глаза, люди «тонкого вкуса» не переставали их обличать, находя в этих обличениях своеобразное упоение. Много таких хулителей всего русского было и у нас в семье; к ним принадлежали и дядя Костя, и бабушка Кавос, и дядя Миша и синьор Бианки, и Саша Панчетта. Напротив, убежденной и чуть комичной защитницей была тетя Лиза Раевская и настоящими урапатриотами были Зозо Россоловский и мой зять Женя Лансере, за что я их немножко и презирал, убежденный в несомненной ошибочности их оценок. Впрочем до известной степени защитниками, если не всего русского, то весьма многих хороших сторон русской жизни, были и мои родители... но мамочкин «патриотизм» подвергался осмеянию ее же братьев, а папочкин «патриотизм» носил явно космополитический характер. Его «приятие России» входило в «общую систему его приятия»...

Быть заграницей казалось мне до того соблазнительным, что как-то не верилось, что когда-нибудь я сам там побываю. И однако уже в 1881 г. это чудо свершилось! Зато я и вкусил неожиданно представившееся наслаждение, как только в сказках вкушают какие-либо фантастические чудесные лакомства. Продлилось это «пребывание заграницей» всего десять дней, да и эта «заграница» была не настоящей, так как я оказался не где-либо за пределами государства Российского, а в одном из ее же губернских городов... Но этот губернский город был Варшавой — столицей бывшего царства польского! Всё население там говорило не по-нашему, одеты были тоже по-иному, а многочисленные церкви не были похожи на наши петербургские православные церкви; не перечесть всего, что с полной несомненностью свидетельствовало о «заграничности» Варшавы. Вместо наших чумазых ванек с их дребезжащими дрожками, тут были наемные коляски, запряженные парой, с кучером, одетым «по-господски»; вместо

ужасных мостовых, некоторые главные улицы были залиты асфальтом, вместо наших грязных бородатых мужиков, всюду видел я бритых и опрятно одетых людей. А затем какая прелесть были встречавшиеся на каждом шагу кофейни-цукерни, где так весело гудел и свиристел хлесткий польский говор, где подавался такой нектароподобный кофий со сбитыми сливками и такие соблазнительные булочки и крендельки. Когда через четырнадцать лет я снова посетил Варшаву, то она произвела на меня далеко не столь приятное впечатление. Я как раз попал в нее, возвращаясь в Петербург из Вены. Сравнение резиденции Франца Иосифа с Варшавой 1894 года оказалось отнюдь не в пользу последней. Мало того, я увидал ее тогда в зимнюю распутицу. В те же июньские дни 1881 года стояла чудесная погода. Одуряюще пахли каштаны и цветы в Саксонском саду, гулявшие пешком или разъезжавшие в нарядных экипажах поляки были действительно не по-нашему элегантны и даже молоденькие евреи в пейсах, с тросточками в руках и в длинных лапсердаках, были полны сознания своего щегольства. Надо еще прибавить, что мне всё тогда показалось каким-то праздничным, потому что мы очутились в совершенно необычайной обстановке. В Варшаву родители поехали с целью навестить своего сына — моего брата Николая, корнета лейб-гвардии его величества Уланского полка — а потому мы почти не расставались с целой ватагой молодых офицеров, эффектно носивших свою красивую форму, не испорченную нововведениями только что вступившего на престол императора и гарцевавших на своих прекрасных гнедых конях. Многие из офицеров при этом были титулованными, и так как все ближайшие друзья Николая в шутку, со мной, мальчишкой, выпили при первой же встрече брудершафт, то мне особенно лестным казалось, что я «на-ты» и с графом Ф. и с князем Г. и с бароном Д. ... Вероятно, совсем иначе на русских офицеров смот-

рели поляки; для них они являлись ненавистными чужеземцами, чуть ли не притеснителями, но для моего детского глаза это не было заметно, тем более, что и среди друзей нашего необычайно общительного Николая было не мало и поляков (и тоже титулованных). Все они вместе смешивались для меня в «одну компанию» — веселых, приветливых, необычайно ласково ко мне относившихся людей и к тому же — людей «заграничных»! И еще прелестно было то, что стоял уланский полк в Лазенках, в этой очаровательной загородной резиденции польских королей. Сильнейшее впечатление произвела на меня тогда в Лазенках беломраморная группа на мосту, изображавшая Яна Собесского на коне, попирающем турка. В совершенный же восторг я пришел в Лазенках от «античного» театра — несменяемая каменная декорация которого под открытым небом представляла руины, а места для зрителей возвышались амфитеатром насупротив — через узкий пролив.

Самые казармы улан были невзрачны: низенькие, однообразные, симметрично расположенные каменные домики без всяких украшений, но и в этих казармах, с моей тогдашней точки зрения, шла особенная и притом сплошь праздничная жизнь. То один то другой из офицеров нас чествовали обедом или завтраком, причем рекой лилось шампанское — тот божественный напиток, который у нас дома так скупо наливался в узкие бокалы только на свадьбах и крестинах. Снаружи в садиках, под окнами офицерских квартир, во время этих пиров распевали солдаты-песенники или гремел полковой оркестр. А как «шикарно» было приезжать в Лазенки в открытом (наемном от гостиницы) ландо и из него раскланиваться с попадавшимися навстречу по Уездовской аллее всадниками, многие из которых подъезжали к нашему экипажу и сопровождали его...

Всего десять дней провели мы тогда с родителями в Варшаве, остановившись в Европейской гостинице,

окна которой выходили на площадь перед Саксонским дворцом, но эти десять дней моей «первой заграницы» врезались в память так, точно я пробыл в Варшаве несколько лет. Уже одно то, что мы жили в гостинице (это была моя первая гостиница); что нас встречал и провожал эффектный швейцар, что столько сновало всюду лакеев во фраках и горничных с наколками на голове, что комнаты наши были убраны, по тогдашнему обычаю, коврами и тяжелыми драпировками на окнах и дверях, — уже это всё складывалось в самое «ощущение заграницы».

Моя «первая заграница» оказалась богатой и чисто художественными впечатлениями. Мои довольно еще беспомощные зарисовки в альбоме, подаренном папой, запечатлели то, что особенно меня тогда поразило. Разумеется, эти впечатления были довольно сумбурными, бессвязными и отнюдь не свидетельствовали о каком-то «верном вкусе». Так например, едва ли не самое сильное впечатление на меня произвел огромный, несуразный черный обелиск, который стоял на площади прямо перед нашими окнами и загораживал вид на открытую колоннаду, соединяющую оба флигеля Саксонского дворца. Этот обелиск был сооружен Николаем I в назидание полякам, после бунта 1830 г., и был снабжен золотой надписью: «Полякам, оставшимся верными своему Государю». Папа, вообще пиэтетно относившийся к Николаю Павловичу, не одобрял постановку такого монумента прямо «на носу» у поляков и на главной площади польской столицы[1], но мне этот аляповатый,

[1] Еще большей бестактностью было сооружение в позднейшие времена огромного православного собора в «византийском» вкусе на том самом месте, где прежде стоял обелиск (перенесенный в сквер у одной из боковых улиц). Я ненавидел этот собор, хотя он и был построен моим братом — Леонтием, ненавидел, как всё, что отзывалось фальшью нарочитого патриотизма. Для поляков же этот собор, кроме того, был свидетельством их порабощения, и ненависть к нему выразилась в том, что собор,

несуразно огромный монумент, необычайно нравился. В нем было что-то кошмарное и это меня больше всего и пленило (вообразите тупоконечный тяжелый обелиск на ступенчатом подножье, со львами по бокам и всё это, сплошь покрашенное в черный цвет).

Вообще меня особенно поразили тогда памятники и то, что их было так много в Варшаве. Импонировал памятник, сооруженный князю Паскевичу (усмирителю всё тех же бунтовавших поляков), и такой уютный и вдохновенный Коперник, который сидел перед зданием гимназии, тогда еще не перестроенной в «русском стиле». Но больше всего, «даже» больше черного обелиска, меня очаровала колонна Сигизмунда — то, что она такая тонкая, что она увенчана такой тяжелой и вычурной капителью, что на ней стоит с крестом в руках коронованный рыцарь и что к подножию колонны неожиданно прильнули четыре сирены (сирена — герб Варшавы). Эту колонну я потом без конца рисовал на память, и она мне казалась куда интереснее, нежели наша хваленая и всё же такая скучная (передаю тогдашнее мое мнение) Александровская колонна. Да и вся площадь посреди которой стоял Сигизмундов памятник, была в 1881 году еще необычайно живописна и «по-заграничному» занимательна. Ее высокие, узкие, иной раз в одно окно, дома с их треугольными завершениями, были совсем такими, какими изображались дома на площадях знаменитых средневековых городов... Тут же неподалеку стоял готический кафедральный собор. Я тогда не понимал, что эта церковь изуродована плохой реставрацией, изуродована до того, что ее подлинная готика стала походить на псевдоготику 1830-х годов. Для меня достаточно было того, что это настоящий старинный собор — такой же собор, как те, в которых вен-

---

несмотря на свои колоссальные размеры, был сразу, около 1920 года, снесен, как только Царство польское возобновило свое самостоятельное существование.

чались и погребались любимые мои рыцари, паладины и короли. Внутри в стены его были вделаны изваяния, изображавшие закованных в броню рыцарей, а над могилами кардиналов (настоящих кардиналов!) свешивались со стрельчатых сводов красные шляпы, снабженные переплетенными кистями и шнурами. Это ли было не «заграничнό»? Одно это разве не говорило, что находишься не у «окна в Европу», а уже в ней самой.

И всё же Варшава в 1881 году была лишь известным преддверьем к ней, тогда как уже в следующем году я был осчастливлен превыше всякой меры, побывав в самых подлинных и несомненных заграничных столицах. Мои родители вообще были домоседами и не любили больших передвижений, но тут их соблазнило приглашение дяди Кости принять участие в небольшой поездке по северу Европы, и в течение трех недель мы побывали в Стокгольме, Копенгагене, Гамбурге и в Берлине. Ехали мы довольно большой компанией — в обществе дяди Кости, его дочери Оли, ее тетки Е. А. Кампиони и моего брата Коли. Таким образом, вместе со мной нас было семь человек, что давало возможность в гостиницах снимать целый ряд смежных комнат, а это придало всему путешествию (начавшемуся 1-го июля, прямо по окончании традиционного пира в честь папиного дня рождения) характер какого-то семейного пикника. Впрочем, родители не всегда были довольны этим пикниковым характером нашей поездки. Много того времени, которое они и я с ними предпочли бы уделять более подробному обозреванию незнакомых мест, уходило на всякие файв-о'клоки, на поездки в загородные рестораны и вообще на тот вздор, который счи-

тается «приятным препровождением времени». И этого было столько, что то, что удалось увидать действительно интересного, я с папой обозревали как-то урывками, контрабандой, во время утренних прогулок, сразу после кофе. Зато эти наши прогулки носили особенно чарующий, слегка конспиративный характер. Мама была в заговоре с нами и благодаря этому нам каждый раз удавалось улизнуть — и мы оказывались вне досягаемости, когда остальная компания только-только начинала вставать...

На сей раз «заграница» началась почти тотчас же по выезде из Петербурга — ведь приходилось уже в Белоострове выходить из вагонов, предъявлять паспорта и тащить багаж на таможенный осмотр. А когда утром на следующий день я проснулся и подошел к окну, то поезд мчался по совершенно чуждому пейзажу, среди розовых и довольно высоких гранитных скал. В Гельсингфорсе я изумился собору, несколько похожему на петербургского Исаакия и всё же отличавшемуся от него тем, что эта церковь стоит не на плоском петербургском «болоте», а высоко над городом и к нему надо подыматься по колоссальным лестницам. В каком-то загородном ресторане, в котором мы обедали, меня опять-таки привели в восторг обступившие его скалы, розовые, круглые, покрытые тонкими соснами. *Настоящее* же путешествие началось с момента, когда мы вошли на палубу и расположились по каютам парохода «Фон-Деббельн», совершавшего постоянные рейсы по шхерам между Гельсингфорсом и Стокгольмом. Вот где мне вспомнились романы Фенимора Купера и Жюля Верна. До чего же мне показался прекрасным строгий и всё же любезный, «совершенно заграничный» капитан, величественно председательствовавший во время обедов за общим столом и так изящно беседовавший (по-немецки) с соседними дамами. В первый же вечер я объелся превкусными закусками, которыми был уставлен

стол. Расположились мы за ним, как только пароход отделился от набережной и Гельсингфорс с его квази Исаакием и с остроконечным силуэтом русской церкви в порту, медленно поплыли от нас, а «Фон-Деббельн», разбивая волны, устремился в догонку за спускавшимся к горизонту солнцем.

Хоть я запомнил почти каждый час этого путешествия, однако я не стану здесь передавать всех своих впечатлений. Ограничусь главнейшим, причем «главнейшим» окажется не то, что было значительным по общепринятой оценке, а то, на что я особенно реагировал. Если бы мне тогда поручили составить путеводитель подобного путешествия, то, несомненно, он представил бы довольно сумбурный набор пестрых и «разнокалиберных» вещей. Но всё же я должен отдать себе справедливость, что мало из действительно достойного ускользнуло от моего внимания, а то, что схватывала тогдашняя, еще совершенно свежая, восприимчивость — запечатлелось с такой отчетливостью, что я и до сих пор, без всякого насилия, способен вызвать в памяти яркие видения всей поездки и каждого отдельного момента. Мало того, в отношении Стокгольма, в котором я снова побывал в 1914 году, и даже в отношении Берлина, в котором я потом бывал столько раз, я должен признаться, что над этими позднейшими впечатлениями, продолжали господствовать впечатления — мальчика двенадцати лет.

На пути в Стокгольм, после первой ночи, проведенной в каюте, я весь день простоял на палубе, не уставая любоваться сменой тех пейзажей, которые плыли мимо нас и состояли из трех элементов — из воды, из скал и из сосен. То розовые скалы-островки расступались и мы оказывались как бы среди широкого озера, то снова они сдвигались и временами так близко подходили к пароходу, что ветви деревьев почти касались его. Большинство этих островков были пустынными и

дикими, но иногда на них виднелась серенькая избушка рыбака, и совершенно вблизи можно было разглядеть его хозяйство, а дети бежали за пароходом и обменивались какими-то возгласами с нашими матросами. Очень эффектно в четыре часа пополудни выглянул вдали старинный замок, предвещавший город Або. Это был подлинный средневековый замок, и хотя бывшая резиденция рыцарей служила теперь тюрьмой, однако я всё же впился в нее глазами и тут же набросал ее в альбом. В самом Або, где наш пароход простоял часа четыре, папа успел свести меня в древний собор. Меня поразили росписные стекла XIX века, представляющие какие-то события из шведской истории (отказ королевы Христины от престола?) и грандиозное, как мне тогда показалось, старинное надгробие. Выезжая из залива, в глубине которого расположено Або, я снова увидал поразивший меня замок, но уже в лучах заходящего солнца.

Впечатление от Гельсингфорса и Або, от всей их «заграничности» померкло, когда пароход поравнялся с нарядными, чистыми, точно гранеными набережными столицы Швеции, и когда предстал во всей своей величественности строгий королевский дворец с его террасой-садом, усаженной пирамидальными тополями. От первой же прогулки, совершенной после того, что мы расположились в прекрасном большом отеле у Музея и позавтракали (как вкусно, как совершенно по-особенному!), я совершенно обезумел. Сколько тут было садов, сколько цветов в этих садах. И всё это мне казалось таким чистым, «шикарным». Необычайно изящными казались мне гуляющие в садах и какую особенную нарядность придавала всему сверкающая сбруя экипажей и белизна бесчисленных, спущенных над окнами маркиз. Да и тогдашняя моя страсть к памятникам нашла себе здесь особенное удовлетворение: вот благородный Густав Адольф верхом на величаво ступающем коне

(он стоял у моста между двумя одинаковыми, необычайно красивыми зданиями[2]); вот уродливый Карл XII тяжело ступающий в своих сапожищах и протягивающий руку туда на восток, как бы завещая потомкам долг мщения за претерпенную под Полтавой обиду; вот облаченный в порфиру Густав III, с трагической кончиной которого я уже был знаком по либретто Скриба в опере «Бал-маскарад». Да всех и не перечислить!

Максимум наслаждения мне доставили два посещенийя Риддаргольмской церкви и королевского дворца. Первую, готическую, с черным чугунным шпилем на кирпичной башне, живописно обступают капеллы, служащие королевскими усыпальницами, внутри же так жутко горели в глубоких сводчатых погребах десятки свечей, окружавшие не преданные земле гробы с положенными на крышки коронами. Во дворце я пропустил без особенного внимания довольно-таки однообразные и безличные парадные комнаты, зато был польщен, что нас впустили в спальню царствующего короля, в которой не только кровать еще не была сделана, но даже еще стоял перед ней ночной сосуд, что доказывало, что его величество Оскар II всего за несколько минут до того покинул свою опочивальню. Совсем в ином роде было впечатление, полученное от тронного зала. В спальне меня удивила столь мало отвечавшая моему представлению о монархе простота; в тронном зале я снова почувствовал королевское величие. Две исполинские белые мраморные статуи — Густава Адольфа и Густава Вазы стоят здесь по обоим сторонам трона, и тогдашнее впечатление от этих двух колоссов было до

---

[2] Выдержанная красота этой площади у моста впоследствии была нарушена тем, что одно из двух одинаковых зданий, а именно оперный театр, было перестроено и на месте прежнего здания, такого изящного в своей простоте, выросла одна из тех громадин, которыми в 1880-х и в 1890-х годах, все столицы сочли своим долгом обзавестись в качестве главных оперных театров.

такой степени сильно, что я видел их затем не раз во сне.

Подробное изучение Стокгольма под руководством папы происходило на следующий же день, но уже третий день ушел на те «обязательные» для взрослых развлечения, которые мне доставляли одну только досаду и скуку. К полудню взобрались мы в ресторан на верхушку Мозебаке, откуда расстилается широкий панорамный вид, весь же остальной день ушел на несносные мытарства: чай мы пили в каком-то садовом ресторане, где, к довершению бед, присоединилось к нам несколько петербургских знакомых, обедали же мы за городом и уже в сумерки, так что мне не позволили пуститься на «исследование местности», а заставили томиться за нескончаемым табл д'отом.

Если уже Стокгольм мог меня так пленить, то что сказать про Копенгаген, про город несравненно более живописный и курьезный. Особенно таким он был, когда Копенгаген еще сохранял почти целиком свою старосветскую уютную прелесть, самую атмосферу Андерсеновских сказок. Каждый дом на узких кривых улицах и на рыночных площадях казался мне каким-то родственником того «старого дома», о котором так поэтично рассказывает мой любимый писатель, а за мутно поблескивающими их окнами чудились комнаты, где на камине стоят фарфоровые пастушка и трубочист, а «стойкий оловянный солдатик» вздыхает по балерине. К тому же Копенгаген был мне вообще уже несколько знаком. В папиной библиотеке хранились два толстенных фолианта архитектурного увража «Le Vitruve Danois», там я видел и эту площадь, среди которой, на выкрутасистом бронзовом коне какой-то король топчет побежденного врага, и этот совершенно необычайный шпиль Биржи, сплетенный из хвостов трех драконов, и башню какой-то церкви, кончавшуюся спиралью, вьющейся наружной лестницы, и эту массивную круглую башню, на

верхнюю площадку которой можно было подняться хотя бы верхом по круговому «пандусу»... Теперь я всё это видел на яву. Кроме того, подъезжая на пароходе я заметил замечательный портовый маяк, увенчанный короной — вроде того, как был увенчан наш Ораниенбаумский дворец. Особенно мне понравился дворец Амалиенборг, на круглом проездном дворе которого стоит еще один медный королевский всадник; видел я и другие весьма замечательные дворцы и замки, и наконец, мы с папой посетили то своеобразное здание, в котором умеющие ценить своих великих людей датчане сгруппировали в оригиналах и слепках творение Торвальдсена. Странность этого, выстроенного в каком-то архаическом стиле музея подчеркивается тем, что наружные стены его украшены фресками, с фигурами на темном фоне — и эти фигуры изображают не богов и не героев, а господ в сюртуках и в цилиндрах, представляющих сцены из жизни Тордвальдсена... Перед красотой же изваяний «датского Фидия» я пришел в совершенный восторг; а особенно меня порадовал уже знакомый по Варшаве Коперник, которого я теперь видел не издали на высоком пьедестале, как там, а в непосредственной близости. Кое-что я запомнил и об остальных коллекциях музея, особенно те простые сценки из жизни, на которые обратил мое внимание папа и среди которых была картина, изображающая сборище веселых художников в каком-то итальянском кабачке. Некоторых из них папа знавал в Риме лично и мог их мне назвать поименно. Это та картина на которой художник между прочим решился изобразить в курьезном раккурсе тень на полу от протянутой руки одного из пирующих.

К сожалению, в Копенгагене последний вечер ушел опять на нечто такое, от чего я бы охотно отказался. Как могла нехудожественная часть компании отказаться от посещения знаменитого сада Тиволи? Прокатившись после обеда в колясках по ближайшим окрестно-

стям столицы Дании, мы и отправились в это увеселительное заведение, а там прохлаждались какими-то напитками, слушая совсем неинтересные музыкальные номера и поглядывая на каких-то акробатов. Стоял мягкий, нежный вечер... Как бы я предпочел посвятить его посещению близ лежащих замков, среди которых меня особенно манил Эльсинер, знакомый по «Гамлету», печальная история которого мне была хорошо известна. В тот же вечер мы погрузились на пароход и к утру прибыли в Киль. Папа, в ожидании Гамбургского поезда, не пожелал упустить случай осмотреть и этот город, и от прогулки по нем в ранний предутренний час у меня сохранилось очень отчетливое воспоминание. Несомненно, с тех пор Киль, превратившись в грандиозный военный порт, утратил свой прежний характер, тогда же это был скромный провинциальный городишко, с ухабистой мостовой, с островерхими домами, которые только-только начинало золотить восходящее солнце.

В Гамбурге нас ждали родственные объятия. Проживавшая в своем небольшом особняке вдова дяди Саши (брата папы) тётя Мари и ее четыре дочери буквально затискали меня, зацеловали и сразу же задарили всякими, издавна припасенными для этого случая подарками. Самое это погружение в чисто немецкую уютность оставило во мне наилучшие воспоминания. Сердечность приема, незатейливый благодушный юмор, царивший при всех беседах и на семейных обедах, самая старомодность обстановки, украшенная лишь несколькими художественными предметами, доставшимися «Гамбургским» от деда Бенуа, всё это обладало необычайной прелестью.

Завершением Гамбургской идиллии явилась прогулка на пароходе в местечко Бланкнезе. Против этого я не протестовал, тем более, что вожаком экспедиции была пятнадцатилетняя кузина Клара, в которую я

вздумал чуть-чуть влюбиться. И тут всё носило уютнейший характер. Особенно же весело было за прекрасным, изобиловавшим морской снедью обедом, который мы съели в простеньком ресторанчике, стоявшем среди рощи на самой макушке холма, откуда открывался чудесный, далекий вид на Эльбу.

Впрочем и от самого Гамбурга с его озерами, с его высокими готическими церквами[3], с его каналами, в то время еще обставленными древними, прямо к воде подходившими деревянными домами, я был в восторге. Побывал я с родителями и в Музее, в котором гвоздем коллекции считалась исполинская картина тогдашнего кумира Ганса Макарта «Торжественный въезд Карла V в Антверпен». Мне она, однако, несмотря на великолепие зрелища и на роскошь костюмов, не понравилась. Я как-то инстинктивно почувствовал, что художник выбрал этот сюжет только потому, что он давал ему случай развернуть особый блеск, и, между прочим, представить полдюжины совершенно нагих красавиц, шествовавших по улицам города перед юным императором. Казалось бы, что присутствие столь соблазнительного элемента могло бы особенно заинтересовать мою как раз тогда просыпавшуюся чувственность. В какие только картины, в каких только изображенных на них особ я тогда не «влюблялся». Однако вот Макартовские голые дамы были мне не по вкусу. Они показались мне неправдоподобными, не жизненными.

В последний день пребывания в Гамбурге мы познакомились с нашим свойственником Гансом фон Бартельс, блестящая художественная карьера которого тогда только начиналась. Это был еще совсем молодой чело-

---

[3] Одна из этих церквей, Николас кирхе, особенно заинтересовала моего отца. Он еще помнил прежнюю церковь, которая погибла в большом пожаре лет сорок назад, а вновь воздвигнутая грандиозная церковь считалась выдержанной в строжайшем средневековом характере.

век, довольно красивый, но, как мне показалось, несколько спесивый. Быть может, впрочем, та горделивая манера, с которой он показывал нам свои крупные акварельные этюды, только что привезенные им из Италии, являлась просто следствием смущенности. Во всяком случае, при позднейших моих встречах с Гансом он мне предстал в совершенно другом свете — самым благодушным, веселым, общительным малым. Акварели его мне тогда в Гамбурге тоже не слишком импонировали; я нашел, что они грубоваты, недостаточно разработаны и выписаны. Но моему тщеславию льстило, что этот молодой «заграничный» художник, о котором критика отзывалась с большой похвалой — мой почти родственник, что мне разрешено его называть Гансом и быть с ним на ты. Много лет спустя между нами установились дружеские отношения и эту дружбу Ганс распространил даже на Сережу Дягилева, которого, по моей рекомендации, он возил по разным достопримечательностям Мюнхена — с чего, в сущности, и началась художественная деятельность моего знаменитого друга.

В Гамбурге мы посеяли некоторых наших спутников. Дядя Костя со своими дамами отправился на воды в Мариенбад, а брат Коля, отпуск которого кончался, проследовал прямо в Варшаву. Я остался с родителями — и поэтому в Берлине я уже совершенно овладел папой (приятно было сознавать, что и мама теперь в моем исключительном распоряжении). Берлин мы с папой осмотрели досконально, тем временем как мама делала всевозможные закупки, удивляясь добротности товаров и необычайной их дешевизне. Вскоре две наши комнаты (в тогда только что отстроенном «Отель де Ром», поразившем меня роскошью мраморов и позолоты) оказались заваленными пакетами и коробками. В то же время возникла тревога, как это всё перевезти через границу, как бы не заплатить непомерной пошлины, как бы чего не конфисковали? Этой тревогой заразился и я — тем

более, что среди этих покупок не мало было всяких мне принадлежащих вещей; был тут, между прочим, и новый микроскоп, и какая-то книжка с движущимися картинами и складной театр, и даже какая-то кукольная мебель. Но на русской таможне всё обошлось благополучно — очевидно подействовал папин паспорт, его чин, и нашего багажа просто не осматривали вовсе.

Не мало я наслышался речей, что Берлин де скучный город, что в нем нечего смотреть, что это город новый, «казенный», «провинциальный», что это нечто вроде «плохого Петербурга». Мне же Берлин вовсе не показался таким, а, напротив, он меня поразил своим богатством, великолепием и даже тем, что я теперь назвал бы романтикой. Возможно, что произведенное именно тогда впечатление — предрасположило меня к тому, что я и в дальнейшем чувствовал всегда к Берлину некоторую нежность. Почти каждое путешествие заграницу в последующие времена непременно начиналось и кончалось Берлином — и таким образом я перебывал в нем по меньшей мере раз двадцать, и вот каждый раз я с особенным удовольствием (иногда и без всякой нужды), в нем останавливался, причем меня к этому располагали не только чудесные музеи, но и удовольствие «побегать» по улицам — по тем улицам с которыми я познакомился, когда мне было двенадцать лет и которые на моих глазах, из года в год, стали менять свой облик по мере того, как Берлин терял свой старосветский характер Прусской столицы и становился мировым городом.

За исключением двух-трех сказок, Гофман в 1882 году мне еще не был знаком, да и эти сказки я знал в детском переложении и без того, чтобы слышать что-либо об их авторе. Мое увлечение Гофманом началось приблизительно только с 1885 года. Но я положительно уже почувствовал Гофмана на тогдашних улицах Берлина — и особенно в том мало известном туристам

старом Берлине, что расположен за Курфюрстенбрюке и что группировался вокруг высокой красной готической церкви Св. Марии. Тогда там было еще немало улиц с низенькими домами, с остроконечными фасадами в два-три окна на улицу, с плохой, ухабистой мостовой. Чувствовалось, что еще недавно то был курьезный и «скурильный» город именно в духе Гофмана. Особенно это чувствовалось на площади, где возвышались две странно вытянутые купольные церкви, — Жандарменмаркт. Ряд старых домов Schlossfreiung подходил к самой реке у бокового фасада дворца. В одном из них помещался рекомендованный нам ресторан и там, изменив чинному табль-д-оту в «Отель де Ром», мы обедали в беседочке, увитой хмелем, — у самой воды. Как это было мило, как уютно, как по-провинциальному простодушно.

От посещения в те дни берлинских музеев я запомнил немного. Музея императора Фридриха еще не существовало (да и сам несчастный кайзер Фридрих вступил на престол лишь шесть лет спустя). Главным художественным хранилищем служило еще Шинкелевское здание Старого музея, нижний этаж которого был заполнен античными статуями. В Новом музее меня поразили гигантские фрески Вильгельма Каульбаха, украшавшие лестницу. Папа попробовал мне объяснить содержание некоторых из этих «синтетических» картин по Всеобщей Истории, и меня они очень заинтересовали. Разглядывая их, я получил представление о «решительных моментах» летописи человечества.

Берлином завершился праздник моего первого посещения заграницы. Вероятно, родители, утомленные переездами и ночевками в чужой обстановке — были рады вернуться к себе. Но не то чувствовал я, сидя в мчавшемся на восток поезде. Моментами, забившись в угол мягких диванов, я тихо плакал, до того горько я ощущал это водворение в повседневную прозу... Даже очутившись в милой домашней обстановке, имея возможность снова

приняться за свои любимые занятия, я долго еще продолжал томиться, чувствовать, что мое сердце осталось там, где только что мне было так хорошо, где всё меня так занимало. Напротив, Петербург показался мне пыльным и унылым. Один грохот ломовиков и дрожек по корявому булыжнику представлялся мне безобразием и олицетворением возмутительного варварства. Я даже стал брезгать домашней кухней, наша кухарка, наши горничные казались мне неопрятными, не говоря уже о дворнике, вваливавшемся в комнаты в своих смазных сапожищах. А что сказать об их манере изъясняться, столь мало похожей на «тонкость обращения» заграничной прислуги?

Это отношение к «загранице» я сохранил затем на всё время своего отрочества и отчасти своей юности. Не зная еще ничего об учении западников и славянофилов (или руссофилов), я заделался на добрый десяток лет завзятым «западником».

В известном смысле и мой «роман жизни», начавшийся в конце 1885 года (когда мне минуло 15 лет), протекал в «заграничной атмосфере». Пожалуй, и прочность этого романа была в некоторой степени обусловлена тем, что та девочка-подросток, которая на моих глазах и в постоянном со мной общении превратилась в «барышню» и в «даму», была дочерью иностранцев и разделяла со мной то, что я не могу иначе назвать, как фанатическим культом иностранного.

Впрочем, я и теперь не каюсь в этом — ни за себя, ни за нее, мою подругу. Мало того, я убежден, что именно наша «заграничность» сыграла значительную и притом положительную роль не только в нашем личном развитии, но и в образовании того культурного ядра, из которого затем возникло целое художественное направление, известное под именем «Мира искусства». Не спорю, в нашем часто слепом увлечении «заграничным» было много просто ребяческого и нелепого. Еще больше глупости — было в нашем игнорировании многого в русском быту, вовсе того не заслуживающего. Мы просто не уме-

ли осознать и оценить то, что составляло самые устои нашего же жизненного счастья. Лишь постепенно одностороннее отношение к своему стало меняться. Перевалив двадцатилетний возраст, мы даже пережили искреннее и прямо-таки бурное увлечение всем русским. Мы прозрели и это прозрение освежило нас, обогатило нашу душу. Но «прозрев», мы не изменили и прежним детским идеалам. Мы не променяли одно на другое (что почти всегда служит обеднению), а приобретая новое, присоединяя новый опыт к старому, мы обогащались, и надо прибавить, что это новое прекрасно укладывалось рядом со старым.

Глава 13

VENUSBERG

Когда-то я мечтал о том, чтобы посвятить этой стороне жизни чуть ли не центральное место в своих мемуарах. Я даже готов был сравняться в откровенности с теми писателями, которые славятся ею. И не из какого-нибудь цинизма или озорства я хотел это сделать, а скорее из чувства благодарности — чувства мне вообще свойственного. Однако, ныне такая задача представляется мне не столь уж соблазнительной. Не то, чтобы во мне изменилась оценка когда-то испытанных чувств, а потому, что с годами во мне естественно погас прежний пыл, да и как-то неловко человеку, убеленному сединами, всё еще заниматься «такими несоответствующими сюжетами». Иначе говоря, мне «стыдно» и я не могу свой стыд побороть... Всё же совсем исключить эту главу из своих воспоминаний я как бы «не имею права». Ведь я поставил себе задачей изложить правдиво и точно, весь тот быт, который окружал меня и частью которого я был сам, и вот в этом быту, если и было принято скрывать или вуалировать область, посвященную Венере, то всё же она играла большую, а часто и господствующую роль. Ведь самое наше существование, наше появление на свет целиком зависит от этого, а не от чего-либо иного.

С очень раннего детства во мне (и, вероятно, в большинстве людей) стали уже сказываться два, часто

между собой сплетающиеся и всё же по существу различные начала, которым присвоены названия «Любовь земная» и «Любовь небесная». Но только под небесной я вовсе не подразумеваю сейчас нечто совершенно от земли отделенное, серафическое, бесплотное, а подразумеваю то, что принято называть маловразумительным словом — «глубокое чувство». Напротив, другое близкое и всё же по существу отличающееся от него чувство остается на поверхности и точнее всего характеризуется словом «похоть». В каждом из нас (и даже в ребенке) проявляется влечение к телу, безразлично к какому — только бы это была ярко выраженная телесность. Это и есть похоть, чувство «животное, простое, наиболее естественное». В любви же «небесной» — проявляется влечение к тому, что обусловлено *личным* началом. Одно чувство чисто стихийное, безразличное, часто принимающее нелепые, а то и безобразные формы (безобразные с точки зрения нашего внутреннего эстетического и этического критерия); другое чувство всегда как-то связано с нашим представлением о чем-то возвышенном — с нашим «сердцем», с нашей «душой».

Из моих самых первых влечений к *телу,* безразлично к какому, мне припоминается случай, относящийся к тому лету, которое мы провели в 1876 г. на даче в Петергофе. Мне было шесть лет. Здесь моими товарищами в играх были два сына местного дворника, и вот в Сашку я, ничего не зная о любви и о влюбленности, самым настоящим образом влюбился, но не столько в «него всего», сколько в его ноги. Это был мальчик лет семи, смазливенький, стройный, чистенький, но не это меня прельщало, а прельщало то, что он всегда ходил босой. Я настоял, чтобы и мне разрешили у нас в саду разуваться и с этого момента меня стало преследовать желание как-нибудь моими ногами коснуться до босых ног Сашки. Я даже вступил с ним в заговор — чтобы нам непременно уединиться у ледника в кустах, лечь и сплести наши ноги. Но мама во время заподозрила что-то неладное, нас разъединили и с тех пор Сашке было даже запрещено являться в господский сад.

Этот пример показывает, до какой степени я был

«предрасположен к культу Эроса», о других подобных случаях я умолчу. Однако, к тому же разряду явлений можно отнести и мое обожание некоторых изображений, и в первую голову — композиций Ф. П. Толстого к поэме «Душенька», о чем я уже повествовал. Я продолжал не иметь никакого представления, «в чем тут дело» и даже не подозревал, что вообще «какое-то дело» может быть, и однако, упивался, глядя на то, как, например, Душенька сходит, «вся голенькая» в купальню или как она лежит без единого покрова рядом со своим супругом. Не мог я оторвать глаз и от изображения некоторых античных и новейших статуй. Чувства эти я скрывал, смутно догадываясь, что это нечто, не совсем дозволенное. Любопытно, что при этом я обнаруживал полное безразличие к полу и даже к возрасту. Мне одинаково нравились девочки и мальчики и даже бородатые люди или великолепные герои в шлемах. Не надо при этом думать, что я был каким-то развращенным ребенком и что, скажем, при виде таких изображений я впадал в болезненные трансы. С другой стороны, я солгал бы, если бы стал утверждать, что они действовали на меня «только в художественном смысле». Мне нравились их плечи, ноги, торсы, руки и я был уверен, что коснуться до всего этого было бы необычайно приятно. Тут действовал «зов плоти» в самом своем первобытном смысле. Прибавлю еще, что я и теперь лишен способности усматривать нечто нечистое во всём том, что составляет «область Венеры». Всё, что не есть прямой разврат, пошлятина и грязь для грязи, упиванье грязью, всё — в этой области *чисто*. С другой стороны, я представляю себе и какую-то «очищенную чистоту», и были периоды, когда я к этой серафической чистоте, к чистоте Беато Анджелико, стремился и хотел от всей души себе ее усвоить... Впрочем, спрашивается, в какой области человеческого бытия нет такой же путаницы, таких же оттенков? Разве не на них построены целые пирамиды мировых недоразумений? Разве не от них пошли религии, секты, чудесные экстазы и страшные изуверства?

Свою *настоящую* влюбленность я пережил только восьми лет и, если я ее называю настоящей, то это пото-

му, что я в этот раз почувствовал не только безотчетное влечение, но и нечто осознаваемое. Не обошлось тут и без того, что древние называли «ранением стрелой Амура». Эту мою первую любовь звали Варей и была она дочерью кухарки, поступившей к нам весной 1878 года. Мама, как и большинство хозяек, была против подобных поблажек, но на сей раз ей очень захотелось иметь эту, очень ей рекомендованную Дарью, да и одиннадцатилетняя ее дочка произвела на нее выгодное впечатление. Варя буквально всех очаровывала своей миловидностью, а для меня это была большая радость «получить в свое распоряжение», в добавление к унылой и злившей меня бонне, такого прелестного товарища. Варю одели с иголочки, как тогда одевали гимназисток, т. е. в коричневое платье с черным передником, и этот скромный наряд удивительно ей шел и особенно способствовал тому, что ее и без того необычайно свежий цвет лица, стал «сияющим». Варя должна была меня очаровать и потому, что она мне до странности напоминала ту пастушку, изображение которой я нашел в каком-то французском альманахе. Совсем такая же девочка очутилась теперь в моей непосредственной близости и уже через два или три дня после появления у нас Вари я почувствовал упомянутый «укол стрелы». Ничего еще не смысля в этих вопросах, не зная даже в точности, в чем женщина отличается от мужчины, я всё же почувствовал необходимость скрыть произведенное Варей впечатление. Особенно же тщательно я прятал зашевелившееся во мне чувство от самой виновницы моего поранения. Мне всё нравилось в Варе: и ее круглый, еще детский, овал, и нежный румянец щек, и сверкавшие при улыбке зубы, и стройная ее фигура, и каштановые, подстриженные сзади, зачесанные назад, захваченные полукруглым гребнем волосы.

Чтобы иметь Варю бок о бок со мной, ощущать ее теплоту и чувствовать ее дыхание, я придумывал всякие предлоги. Несмотря на то, что я как раз тогда сам уже умел читать, я всё же требовал, чтобы Варя мне читала вслух всякую всячину, а так как мне особенно нравилось, когда она смеялась, то я норовил подсунуть ей какую-либо потешную чепуху. К сожалению, большин-

ство такой юмористики среди моих книжек было на немецком или на французском языках, но были у меня и русские «смешные» книги и среди них «Гоша долгие руки» с превосходными и чудесно раскрашенными рисунками Берталя. Но не всегда эти чтения обходились без ссор. Варе надоедало вечно перечитывать один и тот же ребяческий вздор, она начинала ломаться, раза два она даже швырнула книжку под кровать, а однажды, взобравшись на стул, закинула ее на верхнюю полку висячего шкафика, куда моя рука никак не могла дотянуться. Но эти, как и всякие другие ее проказы, я сносил безропотно. Я даже любил с ней ссориться — это вносило разнообразие в наши отношения, к тому же Варя, будучи девочкой незлобивой и уступчивой, сама первая сдавалась, в шутку просила у меня прощение и мы мирились. Иногда такие ссоры завершались робким поцелуем, который я клал на подставленную, свежую ее щечку.

Знала ли плутовка, какие чувства она возбуждает во мне? Вида во всяком случае она не подавала и продолжала со мной обращаться, как с мальчишкой, порученным ее присмотру. Как раз моя бонна того периода была, повторяю существом угрюмым, ленивым; она часами сидела, погруженная в какие-то печальные мечты. А затем, незадолго до переезда на дачу, этой печальной Наталии было отказано, и некоторое время прошло без того, чтобы вообще, кроме Вари, кто-либо состоял при моей особе.

«Роман» с Варей приобрел новый оттенок, когда мы переехали на Кушелевку. В предыдущее лето я уже отлично изучил все ближайшие окрестности нашей дачи, все заросли, все кустарники, а начав упиваться романами Ж. Верна и Купера, я всё это превращал в своей фантазии в девственные леса, в джунгли, полные диких зверей и т. п. Варя должна была принимать участие в моих играх-представлениях; мы с ней «блуждали, умирая с голоду по пустыням», мы спасались от тигров и крокодилов, мы влезали (невысоко) на деревья и переходили реки вброд. Как раз для последнего похождения

вполне подходящим местом был овраг, по дну которого тонким ручьем вытекал в Неву излишек воды из каналов Кушелевского парка. Чтобы перейти этот «страшный поток», достаточно было мне разуться и немного засучить свои штаны. Но следовавшая за мной Варя сильно сконфузилась, когда ей пришлось забрать юбки выше колен и открыть перед моими восхищенными взорами свои белые стройные ножки...

Переехали мы на дачу в том году (по нашему обыкновению) рано. Деревья еще не все покрылись листвой, а после нескольких отменно погожих дней, наступили, свойственные северному маю, холода. Наша экспедиция через «реку» происходила как раз в довольно скверную погоду и Варя, схватив насморк, покаялась матери в том, что сначала мы решили от нее скрыть. Тут и мама забеспокоилась; нам были запрещены слишком долгие и далекие отлучки: «Играйте дома, зачем вам так удаляться?» — фразу эту приходилось слышать по несколько раз в день и это меня очень раздражало. Раздражала эта фраза и Варю, в этих словах чувствовалось какое-то к ней недоверие. Раза два она в резкой форме отказалась последовать за мной в наш «девственный лес», а о «бурном потоке» и слышать больше не хотела. Кроме того, она стала проявлять какие-то «непозволительные» странности; то она начнет меня дразнить или высмеивать мои фантазии, то вдруг схватит и обнимет крепко, причем в таких случаях я топорщился, ибо мне становилось невыносимо стыдно. Раз мы даже подрались и я довольно больно ударил ее по спине; она заплакала, однако, жаловаться к матери не пошла, я же чуть с ума не сошел от раскаяния и жалости. Несколько раз и Варя меня била чем попало, но странное дело — от этих побоев мне и в голову не приходило плакать и я даже испытывал при этом нечто, похожее на удовольствие.

Своей кульминационной точки «мой первый роман» достиг при следующем случае. К нам на Кушелевку приехал к обеду (это уже было в конце июля) обожаемый мной Д. В. Григорович, большой друг моего отца. Вся-

кое посещение знаменитого сочинителя и бесподобного рассказчика ввергало меня в своеобразное восхищение, а тут еще летняя обстановка, чудный сияющий вечер, какие-то поэтические восторги Григоровича от деревьев, от цветов, от всего. Вместе с папой они предались воспоминаниям о тех празднествах, которые раньше происходили в этом же парке, когда гостил на Кушелевке сам Александр Дюма-отец. Словом, я был возбужден, как только бывают возбуждены дети, когда им случается оказаться с теми редкими взрослыми, которых они считают почему-то за своих близких. Григоровича же я не только считал за своего близкого, но, повторяю: я его обожал.

И вот этот обожаемый мной авторитет, этот полубог — тоже не устоял перед прелестью Вари, и даже в какой-то выспренной форме выразил это. Если у меня еще могли быть сомнения, что «моя» девочка представляет собой нечто чудесное, то после того, что произошло в тот вечер за обедом, уже никаких сомнений оставаться не могло. Сцена эта до того меня поразила, что я ее запомнил во всех подробностях. За столом сидело всего четыре человека: папа, мама, Григорович и я. Было около шести часов, следовательно, еще совершенно светло, и в тройное «венецианское» окно, доходившее до потолка высокой комнаты, видны были какие-то деревянные постройки, а за ними высокие деревья парка — всё это залитое солнцем. Кончалась закуска, и Дмитрий Васильевич, уплетая божественную, по его выражению, селедку, уже принялся за один из своих рассказов, как на пороге дверей из кухни появилась Варя с миской супа в руках. Появилась и остановилась в нерешительности. Дмитрий Васильевич сидел спиной к двери, но легкий шум заставил его обернуться. И не успел знаменитый сочинитель заметить девочку, как, прервав на полуслове свой рассказ, он вскочил, взмахом руки расправил бакенбарды и, подскочив к Варе, выхватил у нее миску, которую он и донес до стола, приговаривая: «Не могу я, нет, не могу, дорогая Камилла Альбертовна, чтобы такой ангел мне прислуживал. Ей быть в облаках среди небожителей, а не здесь на Охтенской даче!» Мама, привыкшая к

чудачествам Григоровича, только рассмеялась, папа шутливо что-то прибавил, я же совершенно оторопел и густо покраснел. Григорович еще раз подошел к Варе, оставшейся стоять в дверях, взял ее за руку и привлек к своему стулу, предложил ей несколько вопросов, на которые она ответила без особенной робости, и только после этого, закрывшись передником, она опрометью бросилась бежать.

Увы, пожалуй, именно этот случай, этот апофеоз Вари ускорил развязку. Вероятно, и до того мамочку начало беспокоить, что я так заинтересован кухаркиной дочкой, после же этого случая она встревожилась серьезно. Необходимо было удалить такую красавицу от Шуреньки, иначе ее присутствие могло бы еще «повредить его здоровью». И вот в августе, в самый разгар моего обожания Вари (зачем было теперь скрывать его, раз сам Григорович объявил, что она достойна жить среди богов), она была внезапно удалена. Ее определили помощницей к знакомой портнихе, а там она вскоре попалась в утайке каких-то ленточек, ей было отказано и одновременно было отказано и ее матери от нашего места. С тех пор я уже никогда Варю не видел и мой первый роман растаял как марево, продолжая жить в одной только моей памяти.

Следующие два года прошли без всяких особенных увлечений. Я часто встречался с разными девочками — например, со своими кузинами Верой и Катей Храбро-Василевскими или с дочерьми дяди Сезара (я вообще предпочитал играть и быть с девочками; мне нравилась самая атмосфера женственности и, напротив, я ненавидел типичных мальчиков-драчунов, забияк, хвастунишек), но ни одна из моих тогдашних подруг не возбуждала во мне особенного внимания. Но вот в 1881 году я всё же влюбился и влюбился я как раз в одну из моих кузин — в Инну Кавос, которую я и раньше видел по-

стоянно, но которую я открыл только теперь. Мало того, на сей раз у меня впервые возникли какие-то матримониальные мечты.

Инна, в отличие от своей хрупкой, золотушной и уже тогда слегка глуховатой сестры Маши, росла здоровой девочкой, с некоторой склонностью к полноте. Ее даже прозвали «генералом Бурбаки», не потому, что она была действительно похожа на знаменитого французского воина, а потому, что самое слово Бурбаки вызывает представление о чем-то пышном, круглом. К Маше я тоже питал нежнейшие чувства, но они оставались неизменно братскими, такими же, как те, что я, скажем, питал к сестре Камишеньке. Они обе во многом были похожи друг на друга — та же легкая грусть, та же «венецианская» склонность к беспечности, та же прекрасная, но какая-то стыдливая доброта. Проснувшееся же так неожиданно чувство к Инне, которая была всего на два года старше меня, носило оттенок чего-то иного. Маша была для меня милой, Инну же я находил прелестной — особенно, когда в летние праздничные дни она рядилась в кисейные платья, на нежной шее появлялся медальон на бархатке, а темные волосы перевязывала голубая лента. И вот, живя целое лето 1881 года на даче дяди Сезара в Петергофе (сам дядя лечился где-то на водах), пребывая ежечасно в обществе Инны, катаясь с ней по паркам, внимая с ней концертам в Монплезире или же играя в крокет, я всё более и более подпадал шарму этой, как раз тогда расцветавшей девушки. К концу лета я уже совершенно одурел и буквально прицепился к ее юбке; я уже не мог быть без нее.

О, как я страдал, когда принуждаемый Талябиной играть гаммы и экзерсисы в полутемной гостиной, слышал из сада звонкий смех Инны, стук крокетных молотков о шары, а иногда и азартные ссоры игроков из-за какого-либо удара. О, как еще более становилось нудно, когда, под контролем миссис Кэв, я вынужден был дочитывать положенный кусочек какого-нибудь рассказа, а со двора, по ту сторону дачи, доносились визги бегающих и летающих на гигантских шагах. Как зато я бывал

счастлив, когда за завтраком и за обедом (в хорошую погоду на веранде, в дурную — в столовой) я оказывался рядом с Инной и она мне передавала хлеб, наливала вино и квас. Этот домашний квас был невкусный, слишком кислый (сказывалась экономия на сахаре Натальи Любимовны), но я выпивал его целый большой графин — только для того, чтобы иметь удовольствие видеть в непосредственной близости голый локоть Инны (самому же мне было запрещено наливать — я был очень неловок и мог испортить скатерть). Любил я также часы укладыванья спать. Я с мамой помещался в верхнем этаже дачи в угловой комнате, а рядом была большая спальня обеих девочек. Урывками я мог видеть, как они раздеваются, как Инна в одних панталончиках, превратившись в «мальчишку», бежит к умывальнику или как она, стоя у окна и выделяясь силуэтом на фоне белой ночи, заплетает свою тяжелую черную косу.

Но не урывками, а уже совершенно откровенно, я рассчитывал налюбоваться ею такой, какой Бог ее создал, когда однажды мои кузины, ходившие каждый день в сопровождении миссис Кэв, купаться в море, легкомысленно высказали пожелание, чтобы и я присоединился к ним. Для них я был, очевидно, всё тот же маленький Шурка, с которым они совсем недавно няньчились, как с куклой, и чего-либо дурного в том, что мы все одновременно окажемся в воде, они не видели. Возможно, что я и попал бы в этот рисовавшийся мне рай, если бы меня не выдало то волнение, которое охватило меня, если бы я не слишком уж усердно торопил, чтобы мы скорее отправились на Купеческую пристань. Тут миссис Кэв, посоветовавшись с мамой, объявила, что будет довольно неприлично, если такой большой мальчик будет с ними купаться. Девочки, видя, что я готов расплакаться, попробовали уверить миссис Кэв, что я еще маленький, что детей другие дамы берут с собой и что, если мы разденемся в номере, а затем сразу войдем в воду, то никто даже не обратит внимания, мальчик я или девочка; гувернантка оказалась непреклонной и меня оставили дома.

В каждом романе полагается быть кульминацион-

ному пункту. Такой кульминационный пункт моего романа с Инной (следовало бы написать моего одностороннего обожания Инны) случился в осеннюю пору. То была поездка в Бабигоны. Каким-то чудом вышло, что нас, детей, отпустили проехаться с одним только конюхом, в плетеном шарабане. По временам правили то Маша, то Инна, а это было для каждой из них большим и редко разрешавшимся удовольствием. Невзирая на низкие, сулившие дождь тучи, мы добрались до самих Бабигон и даже зашли погреться в Никольский домик. Отпер нам его знакомый сторож-инвалид и как раз тогда Маша, Инна и я вместе с ними осмотрели эту «царскую избу» во всех подробностях. Но стал накрапывать дождь, сразу стемнело, поднялся ветер, и надо было спешить домой, чтобы не промокнуть. Тут-то села править Инна, а я примостился к ней. Маша же и конюх оказались позади нас, и таким образом, в течение всего обратного путешествия по склону бабигонских высот, мимо мраморного Бельведера, мимо Руины на острове, мимо Озерков и во всю длину Самсониевской аллеи, я мог касаться обожаемой девочки, представляясь мерзнущим. Какое это было блаженство сидеть так, уткнув нос в ее плечо! Непосредственная опасность дождя миновала. Ходившее в шарабане пегое понни было самым смирным животным и плелось медленной рысцой; встречных экипажей не попадалось: многие дачники уже перебрались в город. Инна почти не делала движений и не прибегала к хлысту. При толчках, слишком на мой вкус редких, моя голова билась о мягко упругое тело кузины и невольно (или вольно?) соскальзывала на ее уже слегка выдававшуюся грудь. Всё это складывалось во что-то необычайно сладостное. Изредка я поглядывал на ее профиль, на короткую верхнюю губку, на родинку у виска, на выбившиеся из-под малиновой бархатной шапочки волосы. Всё это было так очаровательно! Я тут же решил, что Инна должна стать моей женой, что я вообще без нее не смогу жить.

На следующий день я сделал ей своего рода предложение. Лил проливной дождь, приходилось сидеть дома и заниматься комнатными работами. Я рисовал, Инна

рядом вышивала. Маша в углу слагала стихи про петергофский пароход «Кокериль». Под впечатлением Никольского домика я принялся набрасывать на бумаге дачи в русском стиле. Вообще я скорее презирал всё такое «мужицкое», но Никольский домик, мельницу и другие нарядные избушки, раскинутые в парках Петергофа, я считал прелестными и даже мечтал, именно в подобном домике когда-нибудь поселиться. Так затейливо перекрещивались два конька над гребнем крыши, такие веселые букетики украшали ставни, такая хитрая резьба окружала оконца, а крылечко выпучивалось на кургузых с перехватцами столбиках. Но, сочиняя свой проект, я не удовольствовался разными вариантами фасадов, представляя их на выбор Инне, а при помощи линейки и циркуля начертил и планы к ним. Тут я и выдал себя. Объясняя кузине, какому назначению должно служить каждое помещение, я заговорил про «мой кабинет», про «ее гостиную», про «нашу спальню». Инна, вероятно, смеясь в душе, со всем соглашалась, а я делал из этого заключение, что она готова стать «моей» и был вне себя от счастья.

На этом наш «роман» завершился. Через несколько дней пришлось возвращаться в город; кончилось наше житье-бытье на даче у дяди, зимой же столь милый «интим» с Инной уже не возобновлялся, да и виделись мы редко, ведь от нас с Никольской до них на Кирочной было целое путешествие. В следующие годы я на даче дяди Сезара бывал лишь урывками, а Инна уже слишком для меня повзрослела, я стал при ней конфузиться и конфузился тем более, что теперь, хотя с виду всё еще казался «невинным» ребенком, я уже имел представление, благодаря просветительному действию гимназических бесед, о многом таком, что превращало для меня всякую девочку в женщину — в «запретный плод»...

Первое, но еще смутное представление о запретном плоде я приобрел следующим образом. Осенью 1881 года я провел несколько дней в гостях у сестры Камиши и там познакомился с мальчиком — Борей Нарбутом (ничего общего не имеющим с моим позднейшим прияте-

телем чудесным художником Егором Нарбутом). Он был на два года старше меня, но уже говорил о разных жизненных вопросах с тоном опытного мужчины. Резвились мы и шалили, как дети, подымая на дорожках облака пыли, лазая на деревья, но в минуты отдыха, запыхавшиеся, красные и потные, мы усаживались на ступеньках крыльца дачи, в которой жили родители Бори, и каждый раз Боря начинал мне что-то рассказывать на темы, совершенно для меня до той поры неведомые. Узнал я от него и некие слова, необычайное звучание которых повергало меня в странное волнение. Однако, всё это я хоть и слушал с напряженным интересом, но еще без всякого «личного отношения». Таких собеседований было три или четыре и в общем они прошли для меня бесследно — мне показалось «всё такое» скорее смешным и не заслуживающим полного доверия.

Но в первые месяцы 1883 года мое знакомство с запретными плодами становится более реальным. В нашем доме на роли подняньки при маленьких моих племянниках Лансере появляется молодая и очень приятная девушка. Как раз детвора сестры Кати целых два месяца гостила у нас, во избежание заразы от свирепствовавшего тогда на Охте дифтерита. Такие меры предосторожности были тогда обычным явлением, но характер настоятельной необходимости они получили с момента, когда и у Лансере и у Эдвардсов смерть от горловых болезней унесла по ребенку. Естественно, что родители стали дрожать при малейшем недомогании остальных и что дедушка с бабушкой давали при этом случае приют внучатам. Если у нас поселялись Эдвардсы, то я в лице Джомми и Эли получал самых ретивых участников в играх, носивших зачастую дикий характер, и наш мирный, чуть сонливый дом оглашался неистовыми криками и топотом. Если же поселялись Лансере, то мы затевали с Женей и Колей более спокойные игры, а то и занятия

умозрительного характера — рисование, чтение, разглядывание картинок и т. п. «Английские» племянники хоть и были соотечественниками Шекспира, обнаруживали мало интереса к моим театральным затеям. Напротив, оба моих «полуфранцузских» племянника уже обнаруживали явные признаки художественного призвания. Они были лакомыми до всяких представлений, а Женя, которому в 1883 г. уже шел восьмой год, мог даже принимать участие в приготовлении декораций и в вырезании персонажей... Это был очаровательный сосредоточенный мальчик, обожавший разглядывать книги и часами просиживавший с карандашом над бумагой, на которой получались иногда и весьма затейливые композиции. Наследственный дар перспективы проявлялся в них с особой определенностью...

И вот помянутая девушка была приставлена специально к двум девочкам — трехлетней Соне и годовалой Кате, но естественно, что гораздо интереснее ей было находиться в обществе мальчиков — тем более, что будучи сама совсем юной (ей было всего 16 лет) она не обладала ни в какой степени теми способностями, которые требуются для ухода за малыми ребятами. Соня к тому же была необычайно тихим и покладистым ребенком и ее, куда бы ни посадили, она там могла оставаться часами, ничего не делая и ничего не требуя. Крошка же Катя три четверти дня спала, да о ней особенно пеклась мать, продолжавшая ее кормить.

Маня В. особой красотой не отличалась, но ее типично русские черты, ее удивительно свежий цвет лица, ее ласковые карие глаза и сверкавшие белизной зубы составляли с темными волосами весьма привлекательное целое. Не такие ли именно «милые мовешки» одерживали в помещичьих гаремах победы над писаными красавицами и завоевывали прочные места в сердцах своих обладателей? К тому же Маня не была простой и безграмотной девушкой из народа, а воспитывалась она в Патриотическом сиротском институте, умела бегло читать и правильно писать, и говор у нее был чисто городской, лишенный простонародных оборотов. Словом, моя новая

пассия была «почти барышней», а единственная ее тетка была «почти купчихой», ибо держала молочную торговлю на Охте.

Начитавшись романов (не романов Купера и Верна, а уже настоящих романов Дюма и Феваля), я как раз мечтал тогда о собственном настоящем романе. Первые недели пребывания у нас Мани прошли без того, чтобы я почувствовал какой-либо особый интерес к ней, но постепенно я стал всё больше обращать на нее внимание. В гимназии же я теперь томился вдвойне не потому, что там было скучно на уроках и не потому, что меня дома ожидали игры с Женей и Колей, а потому, что мне уже очень хотелось очутиться снова в обществе этой веселой и милой девицы. Предлогом для того, чтобы получать Маню в наше распоряжение — у нас мальчиков — служило общее чтение. Я засаживал Женю и Колю за рисование, сам тоже принимался за какую-нибудь работу, Соне давали кубики, а Маня В. должна была нас всех развлекать похождениями Гулливера или Робинзона, что она и делала с охотой, так как сама заинтересовывалась этими чудесными историями. И вот где-нибудь в чертежной, если глядеть со стороны, представлялась милая и невинная картина, дышавшая семейственным уютом. При свете лампы дети разного возраста были поглощены кто рисованием, кто какой-нибудь игрой, тогда как «старшая сестра» в своем скромном сером платье с белым передником склоняла свою голову над страницами невинных рассказов. Однако, если вглядеться в эту картину, то оказывалось, что один из мальчиков с каждым вечером норовил сесть поближе к читальщице, а иногда даже клал руку вокруг ее тальи и прижимал свою голову к ее плечу, не встречая с ее стороны никакого сопротивления. Не раз мама, начинавшая подозревать что-то неладное, внезапно входила в комнату и нарушала эту гармонию... И до чего же несносными казались мне эти «большие» и «старшие», вечно озабоченные нашим воспитанием и хранением нашего добронравия. Каждый раз вслед за таким посещением мамы или Кати Маня должна была прерывать чтение и ее усылали на другой конец квартиры, мне же мамочка с несколько сокрушенным

видом предлагала вопрос: «Почему ты так близко подсаживаешься к этой молоденькой девушке?». Мама даже пробовала мне внушить, что это «вредно для здоровья» — но с этим я уже никак не мог согласиться, так как, напротив, чувствовал теперь наплыв каких-то чрезвычайных новых сил.

Увы, такая идиллия не могла долго продолжаться. Тринадцатилетний Шуренька стал, наконец, проявлять свои назревшие чувства с такой недвухсмысленной ясностью, что пришлось принять крутые меры. Заметил ли кто-нибудь, что теперь и Маня стала отвечать на мои «авансы», как тогда говорили, что мы всё чаще уединяемся в последней «зеленой комнате», где нам обоим одновременно нечего было делать, но на пути моей первой пассии стали восставать всякие препятствия. Так моей избраннице стали поручать стирку на кухне, и я теперь видел ее там с оголенными до плеч руками за мытьем пеленок. Разумеется, такие репрессии не только не способствовали моему охлаждению, а напротив, лишь возбуждали жалость к той, которую я хотел бы видеть «на троне». Я даже несколько раз совершал вящую неосторожность за Маню заступиться.

Как бы то ни было, Мане было отказано от места.

Невозможно передать охватившее меня тогда горе. Сначала я догадался по заплаканным глазам Мани, что стряслась какая-то беда, а затем и доподлинно узнал из уст Ольги Ивановны про убийственную новость. Мое отчаяние было самым подлинным и без всякого наигрыша. И тут уж я не смог скрывать свои чувства. Напротив, я решил отомстить разлучникам — собственной смертью и решил, к великому ужасу мамы, заморить себя голодом. Полтора дня я провалялся на постели, не вкушая никакой пищи и обливаясь слезами; на третий день я нашел, что мне необходимо как-то выявить свои трагические переживания и сначала я попытался нарисовать портрет Мани (она сразу после отказа ушла и даже не простилась со мной; ей, вероятно, этого не позволили), а когда из этого ничего не вышло, то сочинил род ка-

кой-то печально-героической арии, которая показалась мне превосходным выражением того, что я испытывал.

Мой роман с Маней, естественно, должен был бы кончиться на этом, но совершенно неожиданно он получил иное завершение. Приблизительно через неделю после того, что она покинула наш дом и как раз в четверг на Вербной, мой дальний кузен Аркаша Храбро-Василевский, юноша лет шестнадцати, зашел к нам невзначай и, желая меня развлечь (мама, вероятно, жаловалась ему на мое состояние) предложил мне пойти вместе прогуляться. Последние дни я безвыходно сидел дома, в гимназию отказывался ходить и вообще всячески выражал, что я убит горем. Но добродушному и всегда веселому Аркаше (эта веселость не помешала ему года через два покончить с собой) удалось таки, после нескольких уговоров, выманить меня из моей комнаты. Как раз в этот день окна на улицу по всей квартире были с утра освобождены от зимних рам и некоторые стояли настеж открытыми. Необычайно нагретый для марта воздух вливался потоками, распространяя по комнатам тот особый бодрящий и опьяняющий дух, что так убедительно возвещал о начале весны. Тут мне и самому захотелось выйти на улицу. Я обожал эту странную пору ранней петербургской весны. На улицах виднелись дворники, которые, сняв тулупы и вооружившись метлами и лопатами, очищали мостовую от последних следов зимы; возникавшие от таяния снега потоки прокладывали себе путь между обледенелыми извилинами; солнце ослепительно сияло не только в небе, но и в любой луже, а уличные мальчишки пускали бумажные кораблики.

Когда мы дошли по Морской до Арки Штаба, у Аркаши явилась мысль, не зайти ли, благо оставалось перейти одну только Дворцовую площадь, в Эрмитаж. До того дня я в Эрмитаже был всего один раз, лет пяти, и осталось у меня о том самое смутное воспоминание — о каких-то зеркальных паркетах, об огромных вазах, о массе золота на диванах и столах и от бесчисленных картин в золоченых рамах на стенах. На сей же раз я

входил в Эрмитаж более подготовленным и даже считая себя в некотором смысле знатоком в искусстве. И как раз то были дни, когда, по случаю пятисотлетия со дня рождения Рафаэля, была устроена в Рафаэлевских «Лоджах» выставка, состоявшая, как из оригинальных картин кисти великого художника, коим тогда гордился наш музей, так и из целого ряда гравюр и фотографий с его произведений. Но не это всё меня тогда поразило, а обомлел я перед «Помпеей» Брюллова, висевшей в одной из русских зал нашего музея. Я оторваться не мог от этой великолепной грандиозной картины, восторженное описание которой я читал у Гоголя. От избытка впечатлений у меня разболелась голова, я почувствовал даже род дурноты и потому сразу по выходе из Эрмитажа потребовал, чтобы кузен взял извозчика.

Тут-то, по возвращении домой, и получилось то чудо, которое придало какое-то очаровательное завершение моему первому «серьезному» роману. Всё до того странно соединилось и до того сгармонировалось, что среди тысяч и тысяч других дней этот вербный четверг 1883 года остался в памяти, окруженный каким-то бесподобным сиянием.

И что за беда, если весь тот мой полудетский роман был чем-то таким, что происходило чуть ли не в каждом доме? Сколько мне самому известно, с таких же «недостойных» амуров, в большинстве случаев не оставляющих ни малейших следов в дальнейшем, обыкновенно, и начинается эротический опыт юношей «буржуазной» среды. С другой стороны, какое значение имеет то, что и в тогдашнем моем случае было больше воображения и всяких стечений обстоятельств, благодаря которым всё представилось в особом и, вероятно, ложном свете? Мой роман с Маней В. трудно «раздуть» во что-то литературно-поэтическое и гораздо легче его изобразить в виде чего-то банального и чуть комического...

А произошло вот что. Доехав до дому, я почувствовал такую разбитость, что даже не попросил Аркашу к нам зайти, а простился с ним у подъезда. Я мечтал только об одном — лечь и выспаться. Полный одного этого

желания, я дергаю за звонок у двери нашей квартиры, слышу чьи-то приближающиеся шаги — и кто же мне отворяет дверь? Маня! Маня, взволнованная, розовая, улыбающаяся. Оказалось, что она зашла за своими вещами и чтобы попросить рекомендацию для нового места, но случилось как раз, что все наши должны были отправиться на праздничный шоколад в соседнюю квартиру — к дяде Косте, а новая няня отпросилась со двора. Мане и предложили постеречь спящую маленькую годовалую Катю. Таким образом, в большой квартире мы оказались совершенно одни, так как и находившиеся за тремя дверьми в кухне прислуги в комнатах не появлялись. Мы могли делать, что нам угодно.

Только в момент, когда мы сомкнули наши уста в прощальном поцелуе, вернулись наши. Заслышав их издали, я успел пробежать к себе в красную комнату и устроиться на своем узком диванчике — как ни в чем не бывало. Когда сестра Катя заглянула ко мне, то я очень удачно изобразил из себя глубоко заснувшего. Да, действительно, я вскоре и заснул, как убитый, а когда проснулся, то и следа больше не оставалось от Мани. Хоть мы и надавали друг другу обещания, что будем втайне видеться, что я ей напишу, когда и где нам встретиться, однако, по неопытности, я забыл спросить ее адрес. Да и едва ли я сумел бы найти ту форму письма, которая годилась бы для таких, совсем для меня новых обстоятельств. Возможно, что нашим показалось странным, что я как-то сразу воспрянул и уже совершенно больше не страдал, но, если им это и показалось, то никто виду не подал. Я же как-то сразу примирился с тем, что продолжения не будет. Я успокоился, а уже через день или два весь этот чудесный случай стал казаться далеким — чем-то вроде прочитанной прелестной книги. Мало того, когда Маня еще раз, и в последний, через несколько недель зашла, чтобы спросить новую рекомендацию (ибо на первом месте она не ужилась), я только пожал ей украдкой руку, но и тут адреса не спросил, вполне на сей раз сознавая, что всё кончено...

О следующем своем романе я предпочитаю молчать, хоть он и длился с двумя перерывами целых три года и моментами приобретал очень жгучий характер. Решил же я умолчать о нем, чувствуя себя бессильным передать хотя бы приблизительно то, что было в нем самого прекрасного и необычайного. Скажу только, что этот «второй настоящий» роман был совершенно лишен какой-либо «психологичности» и тем не менее он протекал далеко не безмятежно. Моя подруга проявляла то необыкновенную для ее возраста пылкость, то удалялась от меня и тогда наступали длительные периоды размолвки и необъяснимых капризов... В счастливые периоды я затруднился бы признаться перед самим собой, что люблю ее, но когда она избегала меня, я страдал ужасно и тогда принимался ненавидеть прелестную, но и жестокую девочку. Тут и дошло, в первые месяцы 1884 года, до того, что я совершенно обезумел, тут со мной и стали делаться те припадки отчаяния, о которых я уже рассказывал. Тут однажды меня и отвел домой рыжий херр Шульц. Как в детстве я мечтал о волшебной палочке, так и теперь, начитавшись Жозефа Бальзамо, я мечтал найти какое-либо магическое любовное зелье, чтобы снова вернуть мне мучительницу...

Впрочем, в этот же период мне иногда удавалось отвлекаться временами от своего главного романа. Несколько раз я бывал охвачен другими, но скоро проходящими увлечениями. Именно тогда, во время одного спектакля «Конька-горбунка» я воспылал страстью к Марии Петипа и особенно тронул меня момент, когда молодцеватый Лукьянов, в заключение Малороссийского танца, схватив Марусю за оголенное, чудесно круглившееся и блестевшее белизной плечо громко, на весь зал, поцеловал ее в уста, после чего она, отираясь рукавом, убегала в своих высоких красных сапогах за кулисы. То было время, когда мне, в компании с моим другом Володей Кинд, уже разрешали одним ходить в театр и именно тогда мы оба (за год до приезда Цукки) сделались ярыми балетоманами. Театр был в трех минутах ходьбы от нашего дома, а так как на пустующие тогда балеты нам удавалось получать места даром, то мы и не про-

пускали ни одного «Конька» или «Коппелии». В последнем балете та же Мария Мариусовна пленила и разжигала нас несказанно. Правда, она появлялась только в первом акте, в мазурке и в чардаше, но этого было достаточно, чтобы и я и Володя впадали на весь вечер в какое-то неистовство. Под чудесную музыку Делиба блестяще и лихо плясала долговязая Маруся, казавшаяся слишком большой среди других танцовщиц. Впрочем, даже ее дефекты, как артистки, прибавляли в наших глазах ей прелести. Благодаря им, как-то особенно выявлялось в красавице нечто «вульгарно-обещающее». Взоры, которые она метала в партер, изгибы ее стана, ее безудержное (не слишком высокого вкуса) ухарство точно приглашали к развеселым и сладчайшим утехам. Как раз в ту эпоху у брата Альбера чуть ли не через день бывал официальный друг Марии Мариусовны — флигель-адъютант Х. П. Дерфельден. Я мечтал, чтобы он меня познакомил с дивной вакханкой, но когда это однажды случилось на лестнице того дома, где они жили (и где поселился в квартире рядом мой брат Михаил), то я так опешил, что остался без языка, выразив всем своим обликом одну только беспомощность четырнадцатилетнего «пижона».

Запомнился мне и другой случай, имевший отношение к моему «безумному» увлечению прелестной танцовщицей. Сложность, а моментами и мучительность моих эротических переживаний в этот период (1884 год), привели к тому, что я сильно запустил свое гимназическое ученье, время же весенних экзаменов приближалось; пришлось прибегнуть к ускоренному способу подготовки, иначе говоря, к помощи репетитора. Перебывало тогда у меня их несколько — но лишь один, уже помянутый Владимир Андреевич Соловьев, сумел меня так подвинуть в латыни и в математике, что благодаря ему я явился на экзамены вполне подготовленным. Соловьев сумел и лично расположить меня к себе. Наши встречи заключались не в одном приготовлении уроков, но в беседах на самые разнообразные темы. Соловьев, с виду типичный студент-бедняк, одетый не по сезону легко, во что-то светлое и очень ветхое, долговязый, курносый,

с костлявыми красными руками, торчавшими прямо из пиджака без намека на белье, быстрый в движениях, но несколько неуклюжий, сначала меня шокировал своими манерами.

При этом у Соловьева ко всяким его повадкам, с которыми он входил, садился, разваливался, закуривал одну папиросу за другой, соря всюду пеплом, — прибавлялось еще нечто плебейское (употребляю тогдашнее выражение) — и это меня сначала так раздражало, что я даже стал просить маму ему отказать. Но постепенно наши отношения стали меняться. Однажды мы случайно попали с ним на какую-то одинаково интересовавшую «вне наших учебных обязанностей» тему — вероятно на какие-то театральные впечатления, и тут Цезарь и Овидий были отложены и завязалась уютнейшая дружеская болтовня. С этого вечера я не только не избегал уроков Соловьева, но ожидал их, как некое удовольствие, и эти уроки стали затягиваться на два, на три часа. Чай нам подавали в классную комнату и бедный Соловьев съедал один бутерброд за другим, а также всё печенье. При этом и учение пошло успешнее. Чтобы скорее добраться до разговоров, я прилагал несвойственное мне усердие и, при совершенно исключительных педагогических способностях Владимира Андреевича, это давало великолепные результаты. Очень скоро я уже наловчился переводить с листа латинские тексты, а те ненавистные арифметические задачи, которые повергали меня в уныние (какие-то поезда, какие-то водоемы, какие-то цыбики «смешанного» чая) — я стал решать с удивительной быстротой.

Вспоминаю еще об одном глупейшем эпизодике в связи с моей «страстью» к Марусе Петипа. Сам этот случай настолько глуп, что расскажу я про него только потому, что именно эта глупость уже очень характерна для моего тогдашнего состояния. С одной стороны рыцарь с оттенком Дон-Жуана, дебошир эпохи регентства, а с другой, мальчишка, крадущий из-под носа учителя нечто такое, что ему вдруг совсем по-мальчишески, захотелось иметь. Приходится покаяться — моя страсть к

Марии Петипа довела меня до воровства! Но только предметом хищения оказалась не какая-нибудь драгоценная безделушка или кошелек, набитый золотом, а была это маленькая картонная коробочка, в которой умещалось не более десяти штук дешевых папирос; ее только что в лавочке купил Владимир Андреевич, а войдя в классную швырнул на стол. Каково же было мое изумление, когда на крышке этой коробки я увидел обожаемые черты Маруси, мало того, ее оголенные плечи, ее прелестные, немного длинные руки. Это была посредственная репродукция с какой-то недавней фотографии (кажется из балета «Фиаметта») — но узнать ее всё же было легко, мало того, удачно был передан ее заигрывающий взгляд, ее соблазнительная улыбка. Странное дело, при всей моей балетомании и при том, что у меня были кой-какие карманные деньги, я до того момента не догадывался, что можно купить за какой-нибудь рубль фотографию популярной артистки, теперь же такой портрет валялся тут передо мной на столе... Занимался я в этот вечер из рук вон плохо, мешал зародившийся в голове план, как бы этим талисманом овладеть. Под предлогом, что у меня разболелась голова и что комнату надо проветрить, я предложил Владимиру Андреевичу пойти (в виде исключения) выкушать чай в столовую, и вот во время чаепития я успел один вернуться в учебную, схватить коробку и засунуть ее в самую глубину своего письменного стола. Оставалась еще одна папироска и Соловьев видимо это помнил, ибо по возвращении из столовой он принялся искать коробочку. С еще большим рвением искал и я, но, разумеется, коробочка сгинула или вернее она осталась в моем владении...

Из сказанного явствует, что моя сентиментальная жизнь в этот период (1883-1884) была достаточно сложная и путаная. Однако, кроме всех этих моих влюбленностей в реальных особ (причем я умалчиваю о главном тогдашнем моем «романе»), попутно я влюблялся и в существа ирреальные и из них некоторые влекли за собой и очень интенсивные страдания. Эти предметы поклонения были то литературного, то художественного по-

рядка. Среди художественных влюблений я кажется уже упоминал Хлою, которую в целом ряде иллюстраций очаровательно изобразил Прюдон, а также Психею, созданную Ф. П. Толстым. Из литературных же особенно сильно захватило меня чувство, которым я воспылал к «полутелесной» героине рассказа Тургенева «Призраки». Как раз тогда известный книгопродавец Глазунов подарил папе только что им изданное полное собрание сочинений Ивана Сергеевича. Я с жадностью и с «путаной» для себя пользой поглощал один за другим все знаменитые рассказы (причем наибольшее впечатление на меня произвела «Ася» и «Вешние воды», а Базаров и Нежданов были зачислены сразу в злейшие мои враги), но свихнулся я только тогда, когда после всего я неожиданно наткнулся на ту странную повесть, которую так зло пародировал Достоевский в «Бесах». Сам же я был слишком доверчив (и просто юн), чтобы разобраться в том, что в «Призраках» есть надуманного и фальшивого. Я не только не смог бы в этой повести что-либо критиковать, но в целом я принял ее за нечто возможное, за жуткую и совершенно достоверную быль. В течение многих ночей я после этого ждал, что и меня посетит прелестный призрак и несколько раз мне даже казалось, что я слышу тот стеклянный звук, который предвещал его появление. Вперив взор в темноту комнаты, едва освещенную отблеском уличных фонарей — я пытался различить формы ее и моментами мне мерещилось, что я и, действительно, вижу, что неясный милый образ колышится, придвигается ко мне... В конце концов, муки, причиняемые мне капризами моей главной пассии и нежелание Тургеневского призрака меня осчастливить так, как он осчастливил героя рассказа — слилось в одно сложное и необычайно нелепое чувство. Я был тогда положительно близок к помешательству и, пожалуй, со мной могло случиться нечто, чему не смогли бы помочь никакие Шульцы, если бы вся эта путаница не разрешилась тем, что капризы главной пассии внезапно прекратились. Одновременно городская жизнь с наступлением лета сменилась дачной с ее привольем...

Во вторую половину лета 1884 года мне представился новый повод к «любовному помешательству». На сей раз полная реальность и всё же известная фантасмагоричность сплелись в одно наваждение, в плену которого я оставался целых три месяца. Реальная сторона заключалась в том, что я тогда познакомился с настоящей усадебной деревенской жизнью, к тому же в чарующе своеобразной обстановке Украины. Фантасмагорическая же сторона заключалась в том, что я «без памяти» влюбился в деревенскую девушку, стоявшую у моей сестры Кати в услужении... Влюбившись, я наделил в своем воображении эту простую и, вероятно, совершенно обыкновенную крестьянку всеми качествами и добродетелями. Это было еще одно «недостойное приличного человека» увлечение; это был — столь презираемый «роман с прислугой». Недостойность этого романа усугубилась еще тем, что я так-таки ничего от этой особы не добился. В свое же оправдание я могу привести во-первых то, что вся новизна обстановки меня настроила на совершенно особый лад, так что я мог, пожалуй, подобно Дон-Кихоту, и самую ужасную Мариторну принять за Дульцинею, а к тому же эта моя Дульцинея была вовсе не Мариторна, а достойна внимания человека и с весьма разборчивым вкусом.

Мой роман, в общем типично мальчишеский, начался с того, что я влюбился уже в некую «идею» такого деревенского романа и это еще в Петербурге, по наслышке. Точнее — я не влюбился, а приготовился влюбиться, слушая восторженные рассказы об имении моей сестры, Нескучном, нашего свойственника Анатолия Викторовича Серебрякова, мыза которого отстояла от усадьбы Лансере всего в полуверсте. Моей сестрой Катей было поручено Серебрякову соблазнить моих родителей приехать погостить, и мама стала склоняться последовать этому приглашению, но какие-то дела заставили папу отложить эту поездку, и тогда мама предложила мне отправиться к сестре одному. Я не сразу согласился; меня смущало то, как это я лишусь мамочкина крылышка и поеду один через всю Россию,

но Анатолий Викторович при повторных визитах до того красноречиво продолжал настаивать, повел такие речи, что я, наконец, и поддался соблазну. Пока, впрочем, он описывал роскошь фруктовых садов, тенистость векового парка, красоту полей, обилие раков в речке, занимательность экскурсий по окрестностям, — я не был в состоянии пересилить страх перед таким своим первым вылетом из родного гнезда. Когда же он заговорил о том, что у Кати «полон дом настоящих красавиц», а к тому еще прибавил шутя, что представительницы прекрасного пола на Украине необычайно милы и сговорчивы, то мое решение вдруг созрело. Немедленно было приступлено к сборам, и через день или два после того, что был отпразднован 1-го июля день рождения папы, я отбыл из Петербурга в сопровождении нашей домашней портнихи Аннушки — особы уважаемой, богомольной, при этом очень некрасивой и абсолютно для меня не опасной. Ее тоже выписывала Катя для каких-то работ, а на время пути она должна была служить моим ментором. Нигде не останавливаясь, покатили мы с Аннушкой через Москву, Тулу, Орел, Курск, конечным же путем был Белгород. От Харькова было бы ближе до имения Лансере, но шоссейная дорога до Нескучного была размыта дождями и по ней временно прекратилось движение.

Белгород, вполне оправдывающий свое название благодаря обступающим его меловым белым холмам, показался мне унылым и тоскливым, но нам не пришлось в нем пробыть и получаса, так как сразу нашелся у указанного в письме Кати трактира тарантас из Нескучного. Я был несколько обижен, что меня «не удостоили коляски», что, вместо приличного кучера, рядом (рядом, а не передо мной) сидел довольно плюгавого вида мужиченка, но это неприятное впечатление уступило другим, как только мы поднялись на первую из высот, которых предстояло на этом сорокапятиверстном пути одолеть не мало. Вид, открывшийся оттуда, был поистине восхитительный в своем безграничном просторе и в своей солнечной насыщенности. Ряды не-

высоких холмов тянулись один за другим и, всё более растворяясь и голубея, а по круглым их склонам желтели и зеленели луга и поля; местами же выделялись небольшие, сочные купы деревьев, среди которых ярко белели хаты с их приветливыми квадратными оконцами. Своеобразную живописность придавали всюду торчавшие по холмам ветряные мельницы. Всё это дышало благодатью и несравненно большей культурностью (почти что заграницей), нежели всё то, что я видел в окрестных с Петербургом деревушках и только что на своем пути из окон вагона. Приглядевшись к моему мужичку-вознице, я и его оценил и даже вступил с ним в разговор. Это был великоросс, «москаль», говоривший по-русски, а не по-украински, и он сразу выказал себя парнем сметливым, остроумным и в некотором смысле даже образованным. Как затем выяснилось — он был мастер на все руки и в имении у сестры исполнял самые разнообразные обязанности — начиная, как в данном случае, с кучера, кончая механиком, слесарем и столяром. Но прозвище ему данное (и которого он вовсе не стыдился) не рекомендовало его, как человека образцовой честности. Его все звали Ванька-Жулик, и это свое наименование он частично оправдывал — правда, не серьезными, но всё же непозволительными проделками. Надо еще сказать, что Ванька-Жулик был и великим виртуозом на гармонике, превосходно танцевал и ухаживал напропалую за дивчатами, а два раза в неделю напивался вдрызг пьян. Всё это вместе взятое придавало его личности какой-то ореол. С виду же это был довольно щуплый, невысокий блондин, с мягкими, скорее приятными чертами лица, с жидкой бороденкой, с ясно-голубыми глазами. Одет он был почти по-нищенски: всё, что зарабатывал, он пропивал или раздаривал своим подругам; если же что получал с барского плеча, то и это, через короткое время, он нес в кабак.

Проехав, качаясь и прыгая, оставляя за собой облака пыли, часа три с половиной и, как раз, когда мы взобрались на более высокий холм, Ванька попридержал лошадь, поднял кнут и вымолвил, не выпуская изо рта

цыгарку: «Вот она Нескучная». И действительно, в открывшейся перед нами долине — но еще довольно далеко, — показался белый господский дом, выделявшийся на фоне массы деревьев; поотдаль в поле стояла белая церковь с двумя зелеными куполами, а еще дальше расположились сараи и амбары разной величины и назначения. Всё это мне показалось очень внушительным, и я не мало возгордился в душе, считая, что всё это как бы и «наше», «мое», «раз оно принадлежит моей сестре Кате». Еще минут через десять тарантас прогремел по мосту через полувысохшую речёнку, сбоку под липами мелькнула «готическая» кузница, потянулись крытые соломой здания скотного двора и конского завода и, наконец, вытянулся отделенный от дороги дом какого-то, курьезного доморощенного стиля, в котором формы готики и классики сочетались весьма причудливым образом. Тут у ворот уже стояли поджидавшие меня родные с угрюмым Женей и с сияющей Катей во главе, а среди группировавшихся позади домочадцев я сразу же различил высокую стройную девушку, с каким-то трогательно детским лицом: это была «подгорничная» Липа.

Первые дни моего нескучанского пребывания прошли без того, чтобы я почувствовал какое-либо «серьезное сердечное ранение». Не до того было; слишком было много новых впечатлений, слишком много меня таскали по прогулкам и устроенным в мою честь пикникам — в большое соседнее село Веселое, в рощу Дубки, к славившемуся орешником Оврагу; слишком обильно я нагружался всякими новыми для меня явствами — непонятно даже, как желудок выдерживал такое количество снеди и особенно кукурузы, только что сорванной и которую так приятно было «отгрызать», смазав сливочным маслом. Я слишком уставал, слишком бесился, играя с племянниками; и тут же слишком старался показаться взрослым, ухаживая за сестрой Е. А. Лансере — Зиной Серебряковой и за ее подругой — смазливой и смешливой вдовицей — г-жей Поповой. Но когда всё это первое возбуждение улеглось и потекла будничная жизнь, то я стал огляды-

ваться на ближайшее — и тут я оценил прелесть Липы, тут снова я и «попался в сети Купидона».

Спал я в угловой комнате с окнами, затемненными вековыми деревьями, но несмотря на это, как только начинало брезжить утро, так начиналась мука от бесчисленных мух. Чтобы спасти меня от них, окна завешивались темной занавеской, и вот, получавшаяся от этого искусственная ночь сменялась серым полумраком, когда отворялась дверь в соседнюю гостиную, а затем сразу наступал день, когда отдергивалась занавеска. Роль такой Авроры и играла Липа, которой было наказано будить меня за полчаса до утреннего кофэ и которая входила, неся в руках вычищенное платье и сапоги. Слов никаких при этом она не произносила, а лишь спокойно и старательно производила довольно сложную операцию отшпиливания и отвешивания занавесок. Первые дни такое нарушение сладости предутреннего сна меня раздражало (и какой же у меня тогда был сон!), но постепенно я, напротив, стал этот момент ценить и ожидать. Меня он уже не будил, а я лежал добрых полчаса до него с открытыми глазами, прислушиваясь ко всем шумам пробуждающегося дома. Наконец, скрипнет дверь столовой, послышится поступь босых ног по полу гостиной, повернется ручка моей двери и в комнату проскользнет ее тень. Эта тень превращалась затем на фоне окна в силуэт стройной полногрудой девушки, которая, освещенная зеленым отблеском деревьев, шла обратно к двери и с легким поклоном говорила: «Здравствуйте, барин, пора вставать». Самое прелестное в этом ежеутреннем явлении были именно эти шаги Липы — эти легкие удары босых ног по паркету. Из смазливой горничной, «за которой можно приударить» — Липа с каждым днем превращалась в моих глазах в существо, не имеющее себе подобных. Происходила же эта метаморфоза както вкрадчиво и, разумеется, менее всего по вине или по желанию самой девушки, которая только тогда заметила, что у барчука к ней особенные чувства, когда я стал это выражать в откровенной форме.

Эти «откровенные формы» были в большом ходу

в Нескучном и откровеннее всего свои чувства выражал помянутый Ванька-Жулик. У него была, всему дому известная связь с сестрой Липы Ольгой, также очень красивой женщиной, тоже служившей горничной, однако это не мешало Ваньке тут же, на глазах своей возлюбленной, заигрывать с другими дивчатами и даже хватать, тискать и целовать их куда попало. Сопротивлялись деревенские красавицы слабо. Легкость, с которой можно было добиться у них чего угодно, и моя «дружба» с Жуликом, который меня занимал своими картинными и крайне нескромными рассказами, должны были и меня наталкивать на подобную предприимчивость, но для этого, скажу откровенно, у меня не хватило желания, я даже чуть брезгал этих не слишком чистоплотных и уж больно доступных прелестниц.

И вот, попробовав такое же «прямое действие» в отношении Липы, я наткнулся на решительное сопротивление. Это было при царивших местных нравах, чем-то необычайным, но это особенно и разожгло мою страсть. Поцеловать Липа себя разрешала только в щеку; разрешала она и погладить себя по плечу или по наполовину оголенной руке, но как только я становился более отважным, так получал решительный отпор и этот отпор действовал тем сильнее, что он сопровождался не каким-либо возмущенным восклицанием, негодующими взглядами, смехом или битьем по рукам, а сопровождался он простым, безмолвным, но явно неумолимым отстранением. В этой девушке было что-то до такой степени природно степенное, такая подлинная, приправленная грустью, скромность, что и при малейшем сопротивлении руки сами собой опускались и мне становилось только убийственно неловко. И чем стыднее делалось от этих тщетных и всё же то и дело возобновляемых попыток «завоевать» Липу — тем сильнее стал говорить во мне уже не простой каприз испорченного мальчишки, а чувство более серьезное. Мне уже казалось, что я не могу жить без нее, что я не в силах буду расстаться с ней. Забродили и нелепые для четырнадцатилетнего мальчишки мысли о браке.

И тут как раз я получил ошеломивший меня удар. От одной из прислуг, Лукерьи, я узнал, что Липа невеста и что на днях к ней приедет жених. Всё вдруг для меня померкло и, забравшись в самые запущенные заросли сада, обжигаясь о крапиву, я бросился на землю и предался беснованию полного отчаяния... Нечто подобное я уже испытал год назад, когда ушла от нас Маня, но там не было ревности, здесь же я впервые почувствовал, до физической боли, остроту ее укола. Кто же это мог быть, кто дерзал искать обладания «моей Липой», «этой богини?» Какой-нибудь мужик, набитый дурак, который ничего не сможет понять в исключительной красоте и прелести девушки, покорившей мое сердце? Некоторым утешением мне было только то, что Липа на вопрос, правда ли, что она невеста, пожала плечами и молвила: «Всё брешет Лукерья». Никакого де у нее жениха нет, а действительно сватался вдовец из далекого, за сорок верст, села. Но сестра Ольга была более категорична. Когда, в поисках истины, я как-то отыскал ее в каморке под лестницей, служившей ей спальней, то застал ее уткнувшейся головой в подушки и всю содрогавшуюся от рыданий она как раз переживала очередной кризис своего романа с Ванькой. Сквозь пальцы, закрывавшие ее залитое слезами лицо, она, всхлипывая от собственного горя, подтвердила Лукерьино сообщение. Как будто даже она была рада, что сестру упекут куда-то и что ей готовится не легкая жизнь. Пусть же отведает и она горя, пусть попробует, легко ли в семнадцать лет стать мачехой чужих детей...

А через два-три дня, пережитых мной в сомнениях, я уже собственными глазами увидел жениха Липы. Мужик этот был тоже русский, а не хохол, с окладистой светлой бородой, рослый, довольно красивый и чисто одетый. Он степенно пил чай на кухне у окна, а Липа ему прислуживала. Я поздоровался с соперником за руку (у меня тогда выработалась такая демократическая манера со всеми здороваться за руку и мне это очень нравилось), предложил ему даже какой-то вопрос, но от чаепития с ним отказался. К удивлению своему, я при этом

никакой злобы против того, кого еще накануне готов был «зарезать», «изрубить» — не почувствовал. Напротив, вся эта картина чаепития в белой большой кухне, с плитой в пестрых изразцах, осталась у меня в памяти, как нечто скорее приветливое и милое. Но горе мое всё же не знало границ. В уединении я обливался слезами, да и на людях меня не оставлял трагический вид, что служило поводом к особенно злому издевательству моего зятя. Так и вижу его в его татарской ермолке, в его бешмете, сидящим в глубоком кресле в столовой и что-то делающим своими инструментами над очередной восковой фигуркой, которую он вертел в руках. Иногда он поверх очков бросал взгляд на меня, валявшегося тут же на диване, и изрекал по моему адресу нечто в высокой степени язвительное. Я сносил эти сарказмы с непривычной молчаливой покорностью. Какое мне было дело до оскорблений «злого» человека, которого я попрежнему продолжал ненавидеть (оценил я своего зятя только во второй свой приезд в Нескучное в следующем году), какое мне было дело до таких ничтожных уколов, когда я был и без того «весь изранен», когда я себя чувствовал героем настоящего романа, скорее даже трагедии. Я почти серьезно подумывал, не покончить ли мне с моей разбитой жизнью...

Не надо, впрочем, думать, что «страдания молодого Бенуа» поглощали всё его время и совсем выбили его из своих привычек, занятий и игр. Горе горем (это горе, если и было несколько театрализовано, то всё же оно было искренним), а время всё же надлежало каким-либо образом убить, и это «убиение времени» попрежнему заключалось в ловле для своей коллекции бабочек и жуков (какого красавца жука-оленя я тогда нашел посреди темной липовой аллеи, но особенно я был горд включением в свою коллекцию мохнатой кротоподобной медведки), в прогулках, в возне с племянниками. Урывками я даже принимал участие в крестьянском труде. Как раз тогда прибыла выписанная из Англии молотилка, и работа вокруг этой гудящей тучи золотой пыли разбрасывающей машины увлекала всех. Совер-

шены были и две большие прогулки в обществе Липы и приехавшей со мной Аннушки, которая внезапно вспомнила о своей обязанности за мной присматривать. Эту необычайно глупую, перезрелую и некрасивую девицу я тогда возненавидел. Оставаться в моем обществе я решительно ей запрещал, но так как она всё же всерьез считала себя моим ментором, то надзор ее сводился к тому, что она, «соблюдая приличную дистанцию», следовала всюду за мной. Таким образом — на расстоянии пятидесяти шагов от меня и от Липы, она поплелась, в необычайно жаркий день, и по пыльной дороге до села Веселого, где жили старички-родители Липы. В Веселом же она не удостоилась быть допущенной внутрь хаты Липы, а чай ей был вынесен наружу. Таким же образом бедная Аннушка следовала за мной по пятам и в состоявшейся, за два дня до моего отъезда, прогулке в лунную ночь к расположенной на холме деревне Кукуевке.

Но не одни воспоминания об Аннушкином следовании остались у меня от этих «прощальных» прогулок, а осталось в памяти то меланхолическое упоение, которое я испытал, пребывая в течение нескольких часов в непосредственной близости с Липой. Во время прогулки на Кукуевку мне даже было разрешено взять ее под руку, и моментами я ощущал, через легкую, бурую с красненькими пятнышками кофточку, ее крепкое прохладное тело... Стояла изумительно светлая ночь, о которой я мечтал еще тогда, когда любовался гостившей у нас картиной Куинджи; теперь я наяву видел млеющие в фосфорическом свете белые хаты и те же огоньки в них, те же шапки соломенных крыш, те же бархатистые чернеющие пирамидальные тополя. Нас ждали в деревне, т. е. ждали Липу и двух-трех других дивчат из Нескучанской «Экономии». Сразу появилась гармошка, появились местные девки и парни. Начались танцы, в которых особенно отличался какой-то молодец, который не только вертелся как волчок, взлетал высоко в воздухе или пускался вприсядку, но и со всего размаху бросался на землю и, уже лежа в пыли, продолжал неистовствовать. Дивчаты визгливо распе-

вали свои странные дикие песни и водили хороводы. В них приняли участие и нескучанки, даже вытащили в круг и богомольную Аннушку. Но Липа не пожелала присоединиться и вместе со мной осталась в стороне; сидя рядом с ней на бревне, я изнывал от счастья. Дневная же прогулка в Веселое носила менее «оперный характер», но в своем роде тоже не была лишена поэзии. Пришлось идти шоссейной дорогой — большим трактом, на котором лежало Нескучное и который соединял Харьков с Белгородом. Пыли было много, зной полуденный, нигде по дороге ни дерева, ни даже кустика. И всё же, какое это было наслаждение проделать весь этот пятиверстный путь в обществе той, по которой я изнывал. Надо еще прибавить, что в этот день Липа оделась совсем по-украински, с шелковым платком на голове, повязанным тюрбаном, и в бархатной безрукавке поверх расшитой рубахи. В этом наряде она была, действительно, поразительно красива. И как отрадно было после жаркого пути вступить в прохладную чистую хату почтенных родителей Липы и быть там принятым в качестве почетного (несмотря на юный возраст) гостя. Всё показалось мне удивительно приветливым и «культурным» в этой выбеленной, полотенцами убранной просторной комнате, один из углов которой был занят образами и благочестивыми лубками. Засуетилась мать Липы, отец же, не говоривший ни слова по-русски, степенно просидел в своей белой рубахе в стороне на пестром сундучке. Появились свежеиспеченные коржики, чай с полдесятком кусочков сахара на цветном блюдце и только что снятые с дерева яблоки. Долгое время затем, по приезде в Петербург, я просил, чтобы мне подавали к чаю, вместо лимона, яблоки, так как один ароматичный, чуть приторный вкус их вызывал воспоминание о тогдашней прогулке. После чая мы прошлись по селу. Старинная церковь в Веселом была несравненно интереснее банальной, всего лет сорок до того сооруженной Нескучанской. Это была типичная для Украины пятиглавая постройка с пирамидально сокращающимися кверху этажами; и в общем она вызывала впечатление

чего-то «китайского», и в то же время носила на себе явный отпечаток польских влияний. Выбеленная внутри, она была залита светом, а среди всей этой белизны торжественно блестело золото высокого затейливого иконостаса. Увы, и тут я исполнился горечью при мысли, что, пожалуй, в скором времени Липа будет стоять перед этими сверкающими иконами, но будет она стоять не со мной, а с бородатым мужиком и что увезет он ее к себе за много верст от Веселого и Нескучного!

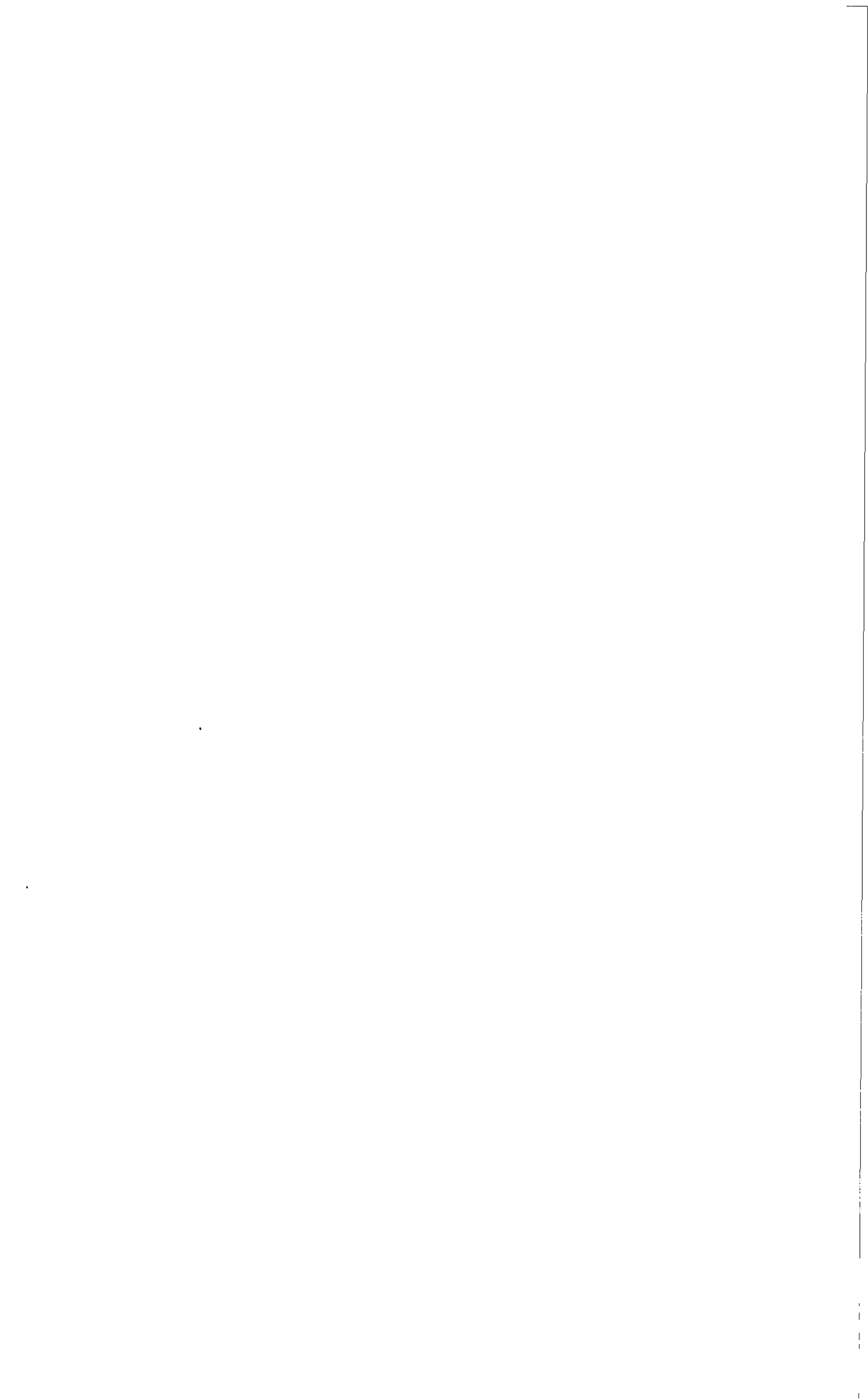
День моего отъезда вдруг приблизился, и настал момент разлуки. В то утро уже, потеряв всякий стыд, не скрывая ни перед кем своих переживаний, я ежеминутно, длинным коридором отправлялся на кухню или в людскую — с тем, чтобы или поцеловать Липу в плечо или сказать ей две-три бессмысленные фразы, которые она, вероятно, и не понимала, так как не была сильна в русском языке. Странное дело, она и теперь отрицала, что выходит замуж, а это давало мне какие-то (какие?) надежды. Но пробили часы в столовой десять и к крыльцу подъехала бричка (я и на сей раз не удостоился коляски). Уже понесли чемоданы, аннушкин громадный узел и большую корзину с провизией «на дорогу». Я было попробовал заставить ненавистную Аннушку сесть ко мне спиной, но Женя Лансере на меня прикрикнул, кучер (то не был мой друг Ванька-Жулик, который валялся мертвецки пьяный) дернул вожжами и мы покатили. Дети и прислуга побежали за нами и остались, помахивая платками, у ворот палисадника. Пока можно было их видеть, я оглядывался и всё старался различить Липу среди прочих, но вскоре экипаж нырнул к мосту, усадьба скрылась за углом, поднялись столбы пыли и я почувствовал, что «всё кончено»... В Белгород я доехал в каком-то оторопелом состоянии и в том же состоянии, не удостаивая ни единым словом спутницу, добрался до Петербурга.

До чего же мне всё показалось дома тоскливым, тесным, душным! Первые дни я по памяти рисовал одни малороссийские хаты, тополя и пытался, но тщетно, пе-

редать очаровательные черты Липы. При этом я кое-как утешался последним заверением Липы, что она и «не думает» выходить замуж «за такого старика». Но недели через две пришло письмо от Кати, которое разбило последние иллюзии. Сестра писала: «Шуреньке, вероятно, интересно будет знать, что у нас в доме невеста. Его подруга Липа выходит замуж; в будущую субботу будет ее свадьба». От мамы я до этого момента скрывал причину моей меланхолии, а тут я не счел нужным это делать. Сначала я даже заговорил о том, что мне совершенно необходимо ехать на эту свадьбу, мол, я «обещал», когда же я понял, что это мне никогда не позволят, то заперся у себя в комнате, в отместку (чему? кому?) сжег массу всякой всячины в камине (тогда-то погибли всякие хорошие книги и все мои детские дневники), принялся варить на грелке для курения «яд» из своих акварельных красок и тут же обдумывал, не лучше ли покончить с собой, воткнув в сердце Мишин морской кортик. Мое состояние повергло бедную маму в настоящую тревогу: папа же взирал на всё это, как на глупые гримасы. Желая как-то заглушить сердечную боль, я себя не жалел; отказывался от еды, надевал на ночь вымоченную в холодной воде рубашку и т. д. Мечтал при этом, что заболею воспалением легких и умру.

Однако, я не умер и даже не заболел, и все эти терзания завершились совсем просто. Как раз подоспели приготовления к свадьбе брата Миши, к которой мне был сшит новый парадный гимназический мундир. Облекшись в него, я почувствовал себя почему-то совсем обновленным и удивительно элегантным. Деревенские настроения испарились. Сыграло большую роль в моем возвращении к нормальной жизни самое это бракосочетание Миши и Ольги, происходившее в верхней раззолоченной церкви нашего Никольского собора (моя кузина, Мишина невеста, была православной). Сколько тут оказалось красных и синих лент, сколько звезд, сколько разнообразных военных форм. Как разрядились наши дамы, среди которых эффектнее всех была бабушка Ксения Ивановна. Не подозревал я до тех пор о таком вели-

колепии нашего круга знакомых. А тут мне приглянулось странное бледненькое личико барышни Аршеневской, казавшейся столь хрупкой и жалость возбуждающей. И в этот вечер, и во время последовавших семейных торжеств я очень много пил шампанского, и потому почти не выходил из какого-то затуманенного состояния. Постепенно мои малороссийские впечатления стали меркнуть, и сердечная рана зарубцовываться. Я уже не рисовал больше хохлушек, пирамидальных тополей и хат с соломенными крышами, а снова вернулся к своему кукольному театрику. Снова на моем горизонте появилась прелестная, ставшая после перерыва еще более ласковой моя девочка, попрекнувшая меня за то, что я де «забыл свою невесту»... Всё же образ Липы где-то в памяти не умер, не стерся и я сохранил его, окруженным поэзией, на всю жизнь...



Глава 14

ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ

Теперь необходимо вернуться несколько назад.

Когда мне минуло двенадцать лет, мамочка решила, что нельзя дольше оставлять меня без настоящего религиозного воспитания. При всей своей глубокой преданности церкви, папочка как-то забывал об этом заботиться. Ему я всё еще представлялся тем же малышом, который так еще недавно днями просиживал у него на коленях. Напротив, «неверующая» мамочка понимала, что я вступаю, и уже вступил, в возраст всяких соблазнов и что потому нельзя дольше медлить и пора как-то морально укрепить меня. Это входило в ее заботу о «гигиене моей души». Несколько раз я слышал, как она говорила: «Нужно, чтобы он прошел катехизис», а осенью 1882 года, она, наконец, и предприняла соответствующие шаги. Оказалось, что как раз при том доминиканском монастыре (скорее подворье или общежитие), который обслуживал главную приходскую католическую церковь в Петербурге — S^te^ Cathérine, с недавних пор, среди прочих монахов, по большей части поляков, находится и один французский патер, «которого все очень хвалят». К нему мамочка и отправилась; от него она разузнала о всём распорядке уроков катехизиса и о материальных (удивительно скромных) условиях. По-

сле этого она повела меня прямо на первый же урок, купив предварительно серенькую книжку парижского издания катехизиса с гербом кардинала-архиепископа на обложке. Это был тот катехизис веры, по которому пэр учил свою невеликовозрастную паству.

Я порядочно трусил, вступая в сакристию при церкви Св. Екатерины, в которой я застал целую толпу мальчиков и девочек, а также группу родителей. Посреди окруженного шкафами помещения стоял довольно высокий и полный, очень моложавый человек с превосходно выбритым лицом, одетый в белую суконную, лежавшую крупными мягкими складками рясу. Но робость моя сразу прошла, когда очередь знакомства с пэром Женье дошла до меня и он с изысканной вежливостью, но и не без важности, обратился к маме (тоже порядком в таких случаях робевшей) с вопросами — сколько мне лет, где я учусь, имею ли я представление о Священном Писании и т. д. Получив все ответы, он слегка нагнулся ко мне, и вот в эту секунду он сразу меня покорил. Я взглянул в его карие, ласковые глаза, я увидел его умную улыбку и мне захотелось у него учиться, хотя я не очень отдавал себе отчет, в чем именно будет заключаться это ученье. Когда же пэр Женье с большой простотой и без всякого пафоса положил свою большую добрую руку мне на голову, я совершенно естественно (будучи приучен к этому) поцеловал ее. Когда представление всех детей кончилось, он сгруппировал нас и повел через двери мимо главного алтаря (перед которым он и мы встали на колени) в капеллу Пресвятой Девы, находящейся в левом пределе. Почему-то я никогда здесь раньше не бывал и потому меня поразила прелестная архитектура этой отдельной церкви (папочка назвал имя ее строителя: Гваренги), состоящая из толстеньких колонн и из полукруглых ниш, с несколько приспущенным сводчатым потолком в кессонах. На алтаре я увидел красивую картину Благовещения (если я не ошибаюсь, она кисти Дуайэна),

а в нишах низко поставленные большие статуи святых. Всё началось с общей молитвы. Рассадив детей по длинным скамьям, занимавшим всю середину капеллы (родители кое-как расположились на скамьях вдоль стен, где, кроме того, стояли и исповедальные будочки — «конфессионалы»), пэр Женье подошел к алтарю и, встав на крытую вышитым ковром нижнюю ступень, сначала минуты две молился молча, а затем, обратившись к нам, предложил хором прочесть за ним «Отче наш» и молитву Богородице. Дружное жужжание явилось в ответ, но в нем я не участвовал, ибо мне было стыдно, хотя никто из соседей не мог бы заметить, бормочу ли я что-нибудь или нет. Эта моя конфузливость (робость) при всяком «массовом выступлении» не покидала меня всю жизнь, и я до сих пор страдаю ею, не зная, чем ее объяснить и как этому помочь. Любопытно, что такой же неожиданной и непобедимой конфузливостью отличается и моя жена и ее же мы передали нашим детям. После молитвы пэр Женье взял стул и положил принесенные с собой книжки на аналой первой скамьи, почти рядом со мной (ибо мне посчастливилось попасть в первый ряд, благо тому, что моя фамилия начинается со второй буквы алфавита) и произнес род короткой, но очень трогательной проповеди на тему о любви к Богу. Задав после того первый урок и пояснив нам своими словами все ответы первых двух глав катехизиса, которые надлежало заучить, он снова помолился, снова вслед за ним прожужжал детский рой, чем и завершилось это собрание.

Не все дети были одинакового со мной возраста; были мальчики лет восьми или даже шести, а были и почти взрослые юноши и барышни. Среди последних было несколько полек. Одна была мадемуазель Любомирская (может быть, княжна), а другая Софи Кербетц. Упоминаю я здесь о них потому, что, как уже рассказано, я вообще переживал тогда период первого чувственного пробуждения (о вещах подвластных Венере и Купидону я

узнал всего год назад) и все усилия стать на тот путь добродетели и целомудрия, о которых учила церковь и который я клялся себе не покидать, особенно возбуждали во мне всякие соблазны. В частности, я не мог видеть маломальски привлекательную девочку без того, чтобы не задать себе вопрос: «не стоит ли в нее влюбиться?» Это Венерино наваждение сообщало моему катехизисному году особую окраску и, если теперь, совершенно объективно (по-стариковски) оценивать ее, то я бы сказал, что именно эта окраска придала всему и особую прелесть.

Я только что рассказал, как в 1883 году я пережил первый мой очень меня захвативший роман, влюбившись в девушку, за которой я раньше ухаживал больше из шалости, «от нечего делать», а затем полюбил ее (ее ли лично или в ней — «вечно женственное») со всей страстью, на которую способен тринадцатилетний мальчик. И вот я думаю, что развязка этого романа, всего на несколько недель предшествовавшая знаменательному дню первого причастия, сообщила моему тогдашнему религиозному экстазу такую интенсивность, которая едва ли могла бы быть, если бы, скажем, я походил на моих товарищей по катехизису, этих здоровяков и простаков, из которых иным было и пятнадцать и шестнадцать лет, но которые были сущими детьми. Я же в своей скороспелости был до некоторой степени уродом. Это несколько мучило мою совесть и в то же время наполняло каким-то чувством превосходства. Да и все мои душевные переживания того года получали от этой сложности, от всего этого сплетения, особую силу и род какого-то озарения.

Что же касается до самих уроков катехизиса, то я быстро заинтересовался ими, однако, когда до меня доходила очередь давать ответы на положенные вопросы, я отвечал не столько текстуально то, что вызубрил, сколько по существу и «своими словами». Пэр Женье

казался иногда удивленным решительностью и свободой ответов такого тихонького и скромного мальчика (каким я должен был ему представляться) и неоднократно вступал со мной в отдельную беседу, но при этом у меня не было и тени желания как-то отличиться или поразить его. Я слепо верил каждому его слову, а потому мне было легко в таком же духе мыслить и эти мысли излагать. Впрочем, я вообще от природы предрасположен к какой-то «ортодоксальности» и мне скорее претит всякий бунт. Сомнений каких-либо тогда во мне и не возникало. Лишь после того, что я познакомился с учением о благодати, во мне стали просыпаться какие-то «движения гордыни», какие-то мечты о «чрезвычайной святости». Эти мечты, однако в самом зародыше терпели крушение, как раз благодаря тем искушениям, тем «победам дьявола», которые особенно участились по мере моего приближения к половой зрелости. Иногда я прибегал, по совету пэра Женье, к помощи своего молитвенника и пробовал разобраться в себе. Разумеется, у меня не было на совести ни убийства, ни воровства, ни иных каких-либо уж очень страшных и «эффектных» грехов, но были всякие пустяшные грешки, а также не мало грехов против церковных законов — их я не собирался утаивать на исповеди. Но дальше шел перечень грехов «плотских», от зовов собственного тела исходящих, и тут получалось великое смущение. К тому же некоторые термины были абсолютно непонятны, например, fornication (грехи плоти), когда я обращался к маме, то и она не умела мне их объяснить. В конце концов, я решил всю как бы активную часть переложить на священника — пусть он спрашивает (как оно и полагалось), а я буду отвечать. Если он спросит про такие вещи, о которых мне никак не позволял стыд заговорить самому, то я и на эти вопросы отвечу честно. Если же не спросит, то я со своими сомнениями к нему «не полезу». На таком компромиссе я и успокоился, а пэр Женье никаких пред-

осудительных вопросов мне на духу и не поставил. Получив затем отпускную (как мне казалось совершенно заслуженно), я пошел затем к причастию с чистой «голубиной душой»...

Не могу на этом месте не отдаться воспоминаниям о всей атмосфере, царившей на уроках пэра Женье, исходившей как от его собственной особы, от его слов, жестов, от его белоснежной одежды, так и от всего окружающего — от уюта этой замкнутой капеллы, которую в зимние месяцы едва освещали две тусклые стенные лампы и полдюжины свечей, расставленных по аналойным доскам, на которые клались молитвенники. Тайной веяло от всего обширного и темного помещения самой церкви позади нас. В ней уже не было молящихся (двери на улицу с наступлением темноты запирались зимой в три или четыре часа), зато тем отчетливее слышалось тиканье больших часов и, каждые четверть часа, их кристальный бой. Шум Невского проспекта не проникал к нам особенно после того, как установился санный путь, а вся эта громадная и темная храмина, в которой при свете лампад едва блестела позолота обрамлений алтарных картин и мерещились белые фигуры исполинских ангелов, отважно под самыми сводами, восседающих на карнизах, казалась полной какой-то своей жизни. Совершенно особое чувство я испытывал, когда на пути из капеллы в сакристию (через которую приходилось и выходить и входить, когда главные двери церкви на улицу закрывались), я топтал плиты, под которыми были похоронены последний король польский и «знаменитый французский полководец» генерал Моро.

Перед самым причастием атмосфера наших уроков изменилась. С приближением весны церковь с каждым разом казалась более светлой и, входя в нее после теплеющего воздуха, я уже ощущал ее прохладу и сырость. В зимние месяцы я даже своих соседей по скамьям раз-

личал с трудом и то только тех, которые сидели у самых свечей, тогда как вся остальная масса тонула в полных потемках. Теперь же я их видел, теперь я мог и любоваться теми девочками, которых я раньше почти не различал. Теперь они не приходили закутанные в безформенные шубы и ротонды, а являлись в кокетливых шапочках и в цветных, обрисовывавших фигуру, пальто. Особенно теперь я отличал сидевшую через одно место от меня, не очень красивую, но очень милую, очень по-видимому добрую и ласковую Софи Кербетц — дочь известного инженера. И как раз мне ее назначили в пару (по росту), когда, наконец, наступил высокоторжественный день. В паре с ней я ходил не один раз, ибо пэр Женье, как настоящий француз, не желал предоставить всё случайностям, а строго выработал церемониал и, дабы не произошло никакой путаницы, заставил нас проделать две настоящие репетиции. В душе мне это не очень нравилось, я находил, что это нечто даже недостойное серьезности момента. Да и мамочка проронила что-то вроде «это совершенно лишнее». Но приходилось подчиниться, к тому же пэр Женье сумел нам растолковать всё значение благолепия, мол, соблюдение его — лучшее выражение богопочитания. И вот возможно, что как раз эстетическая, светская сторона его педагогики оказала особенно глубокое действие на меня и способствовала утверждению во мне таких взглядов, которые легли в основу всего моего «личного мировосприятия». С этого года мой «природный анархизм» получил какое-то ограничение и, хоть в душе я оставался верен ему, однако я познал также пользу и смысл «узды». Самые репетиции дали мне случай быть с Софи — «точно жених с невестой» и у нас даже получился какой-то намек на дружбу в озарении ожидаемого «дарования святости». Поэтому и дружба наша носила какой-то «райский бесплотный» характер, перейти же во что либо другое она не успела...

Я сомневаюсь, чтобы пэр Женье хоть кого-либо «провалил» на том экзамене, которым завершились его уроки, но трусили все, и более сознательные — скорее за учителя, чтобы его не огорчить. Присутствовал на экзамене другой монах — австриец, патер Шумп. Он служил чем-то вроде ассистента, придававшего большую значительность процедуре. Несколько раз и Шумп предлагал, на ломаном французском языке, кое-какие, очень легкие, вопросы. Но не только внушительность придавал этот второй белый монах, но и одним своим видом он способствовал усилению той «атмосферы святости», в которую мы окунались всем нашим существом. Это был еще очень молодой человек, черноволосый с чудесным, вдохновенным «серафическим» лицом — полным того выражения, которое старинные художники придавали св. Антонию Падуанскому или св. Франциску Ассизскому. Рядом с довольно полным, холеным и уже не совсем молодым пэром Женье его друг казался особенно просветленным. Не могло быть сомнений, что жизнь этот монах ведет суровую, аскетическую, что он должен целыми днями пребывать в экстазе и простаивать ночи на коленях. Весь наш класс увидал в нем прямо-таки подлинного святого, чуть ли не с нимбом вокруг головы.

Иллюзия, что Софи являлась вроде какой-то моей «небесной невесты» еще усилилась, когда на вторую репетицию (как и все прочие девочки) она явилась в белом платье до самого пола, с целым облаком кисейных вуалей, с венком из белых роз на голове. Костюм этот и ей и всем прочим девицам удивительно был к лицу, а в целом их рой производил прелестное впечатление. Напротив, мальчики в новеньких курточках выглядели не особенно авантажно, а многие даже казались смешными, представляя собой подобие карликов. Спасал широкий белый бант с великолепной золотой бахромой, которым была повязана левая рука каждого, а кроме того в правой руке появилось по толстой свече, тоже украшенной

белым бантом. Обращение с этой свечой представляло известные трудности; надо было то вставать на колени, то подыматься, сходиться и расходиться и всё это так, чтобы не закапать воском соседку — и не дай Бог! — не поджечь ее фату. Некоторые дети были более ловкие и внимательные, они сразу понимали, что именно от них требовалось, но среди нас были и тупицы, которые наступали на подол, поворачивались налево, когда нужно было направо, забегали вперед или отставали, не понимая еле слышным голосом произносимые команды пэра Женье. Первая репетиция затянулась на добрых три часа, а вторая отняла часа два, причем все ужасно устали и более всего оба священника. Наконец, всё наладилось, мы выслушали еще одно напутственное слово, еще раз исповедались — на тот случай — если что-либо греховное было совершено за последние два дня (тут просто приходилось выдумывать, дабы пэр Женье не даром сидел в своей будке) — после чего нас отпустили с тем, чтобы мы снова явились наутро, в воскресенье в 9 часов — отнюдь, однако, не вкушая до тех пор какой-либо пищи. Тело наше должно было быть сосудом совершенно чистым — так как предстояло принять в него Самого нашего Спасителя...

Большого труда соблюдение этого поста мне не доставило, напротив, мне тогда казалось, что я мог бы выдержать и бесконечно более тяжелое испытание. Ведь я находился после второй исповеди в состоянии «совершенной святости», — не мог же ошибаться пэр Женье, утверждавший, что это так. Я чуть ли не чувствовал крыльев за спиной и, представляя себе свою «внутренность», я думал, что она озарена каким-то белым светом. Даже смерть в такие часы не представляется страшной; я почти желал ее, ибо тогда я бы предстал перед Божьим судом таким же белым и чистым и мое допущение к сонму блаженных произошло бы без всякого затруднения, без необходимости еще очищаться от греховной

грязи в Чистилище. Воздержание в тот вечер от чая с печеньями было чем-то совершенно пустяшным, не заслуживающим даже названия жертвы и лишь чуточку труднее было устоять от прельщения чудесно пахнувшего утреннего кофе с сухарями и булкой.

В церковь мы поехали в открытом ландо (весна была в полном разгаре), папа, мама и я, а в церкви нас ожидали многочисленные наши родные и знакомые. На церемонию пожелали поглядеть близкие люди и других маленьких святых, а потому церковь переполнилась необычайно нарядной публикой, оттеснившей обыкновенных серых прихожан. Нас всех собрали в Сакристии и в монастырском коридоре перед нею. Тут был нам произведен (без участия родителей, которые оставались в церкви) строгий смотр, затем мы были расставлены попарно, наши свечи были зажжены и мы двинулись двумя длинными рядами к дверям церкви, откуда навстречу лились торжественные раскаты органа. В этот момент у меня так захватил дух, что я еле удержался от слез. И то же счастливое умиление отразилось во взоре Софи. Описывая теперь эти моменты, я должен делать некоторое усилие, чтобы не съехать на добродушную иронию: прожитая жизнь и весь опыт очерствили душу, приучили ее к сомнению. Но тогда, разумеется, было не до иронии и сомнений, тогда я как-то весь растворялся в восхищении, в каком-то сверхестественном (как мне казалось) блаженстве.

О самой церемонии скажу только, что и оба патера и третий сослужащий мне показались преображенными благодаря тем сверкающим золотом ризам, в которые они облачились по случаю праздника. О как чудесна была та секунда, когда мне на язык была положена гостия! А затем всё как-то сразу кончилось в суматохе поздравлений, и я не заметил как уже снова очутился в экипаже с родителями. Подсел к нам и синьор Бианки. Каким я был в тот день на несколько часов еще образцовым и мягким! Мне казалось, что я продолжаю излучать потоки

добродетели. Как мило и ласково я отвечал на поздравления прослезившейся Степаниды и трижды поцеловался с Ольгой Ивановной. С какой отменной сдержанностью, не выказывая ни малейшей жадности, я вкушал (я ужасно проголодался) разных любимых блюд. В ощущении своей собственной святости я как-то цепенел и даже неохотно двигался, точно опасаясь расплескать всю накопившуюся в душе и сердце благодать.

Но к ощущению счастья примешивалось и немного меланхолии, ибо праздник-то как никак прошел и наши общие занятия с пэром Женье кончились. Некоторым утешением служило то, что уже через неделю должна была состояться наша конфирмация, причем все, только что проделанные церемонии, должны были снова повториться. Они даже обещали приобрести еще большую торжественность, так как должен был присутствовать епископ. То был поляк, оказавшийся в Петербурге проездом на пути в свою епархию в Сибирь.

Только что я упомянул имя синьора Бианки, оказавшегося среди близких людей при моем первом причастии и севшего с нами в коляску. Упоминал я о нем и раньше, но здесь необходимо сказать кто это был, так как именно он был приглашен быть моим отцом-восприемником при конфирмации. Джованни Бианки как-то достался нашему дому в наследство от деда Кавоса. Это был художник-живописец, но в Петербург он прибыл, еще при Николае Павловиче, в качестве фотографа — чуть ли не первого в России. У нас в семье считалось, что именно Бианки познакомил русских людей с изобретением Ниэпса и Дагерра. Специальностью его, однако, были не столько портреты, сколько пейзажи, памятники и особенно интерьеры.. До последних в те дни усиленного строительства и «убранства» русские баре были особенно охочи. При этом Бианки не был простым профессиональным техником; на всех им изданных фотографиях он себя величает художником, и художником он

действительно и был, что сказывалось как в выборе момента освещения, так и в точке зрения. В технику же фотографии он ушел с головой, уподобляясь в этом какому-либо средневековому алхимику. Ногти у него были всегда желтые от коллодиума, а весь он был пропитан какими-то «химическими» запахами, впрочем, не противными. Я узнал Бианки уже стариком, одевавшимся по моде 1840-х годов, а на свадьбах и других торжествах он вызывал общие улыбки своим допотопным фраком с приподнятыми плечами. Волосы и бороду он оставлял в девственном состоянии, что, в связи с его слезливыми глазами, придавало ему вдохновенно-умиленный вид какого-либо мученика с картины Гвидо Рени. Обычным его состоянием было насупленное молчанье, да и садился он всегда куда-нибудь в уголок, в тень. Но стоило беседе коснуться церковных или религиозных вопросов, как Бианки выходил из своей дремоты, настораживался и даже вступал в спор, причем быстро терял самообладание. Речь его тогда принимала характер каких-то грозно пророческих выкриков. Е. А. Лансере обладал даром выводить из себя бедного Бианки и он не упускал случая его дразнить. Но бесил старика и вольнодумец-либерал дядя Миша Кавос, и консерватор дядя Костя, и скептик дядя Сезар. Зато к моим родителям Бианки чувствовал неограниченное почтение. Потому то, когда экспромтом ему предложили, не согласится ли он быть моим крестным отцом на конфирмации, он (не теряя своего насупленного вида), принял это с восторгом, увидав в этом высокую честь. При этом Бианки не мог к участию в столь важном таинстве отнестись чисто формальным образом. Он вообразил, что ему поручают не более не менее, как самое спасение души моей, и Бог знает, во что это его пестование со временем могло бы превратиться, если бы в этом же году ему не выдалось какое-то наследство от брата на родине и если бы он не предпочел бы отправиться туда на покой.

Еще несколько слов о Бианки... Увы, покоя Бианки не обрел. Он слишком отвык от мелко-провинциальных нравов и обычаев своей деревушки. Он сразу со всеми стал ссориться, больше же всего со вдовой брата. Непреодолимо его поэтому тянуло обратно на берега Невы, где, однако, он перед отъездом всё распродал, где у него не было ни кола, ни двора. Отчасти этим стремлением можно объяснить то, что когда моя сестра Катя в 1886 г. овдовела — семидесятипятилетний Бианки в письме по-французски на двадцати страницах сделал ей предложение.

Вероятно, и вообще старого аскета не оставляли уколы в ребро беса, ибо через два года он сочетался браком в Лугано с какой-то своей компатриоткой. Гораздо позже причуды судьбы привели нас в ту самую тессинскую Монтаньолу, в которой находился семейный дом Бианки, о чем я раньше не имел никакого понятия, так как всегда считал, что родина моего старого крестного — Италия. И опять-таки случайно в Монтаньоле я познакомился и с родным племянником Бианки, рассказавшим мне об его последних днях. Оказалось, что он всех досаждал своей сварливостью и постоянно грозился, что уедет и лишит родных наследства. Особенно поразило меня, что Бианки внутри каменного дома племянника выстроил род деревянной избы, нарушившей весь план здания, но якобы спасавшей старика от сырости. В эти года старческого рамолисмента к Бианки подобралась какая-то авантюристка, которая и женила его на себе. «Молодые» переселились в Лугано и там эта женщина вскоре добилась перевода на ее имя всего капитала мужа, завладев коим она самым бессовестным образом его покинула в обществе своего любовника. Несчастный разоренный Бианки, из гордости не желавший обратиться к родным за помощью, умер вскоре в больнице, в совершенной нищете и был похоронен в общей могиле. Печальнее всего, что все привезенные из

России негативы, бесценные в документальном смысле, — были перед этим проданы его женой, как простые стекла.

Вернусь к описанию церемонии конфирмации. Она происходила под вечер, а не утром, и вышла весьма торжественной. Мы снова были в своих костюмчиках с бантами, а девочки Христовыми невестами в подвенечных платьях. Опять потянулись мы процессией и произвели те же движения перед окутанным ладаном алтарем; опять рокотал и гремел орган. Особенную же величественность придавали торжеству присутствие и участие епископа. Этот небольшого роста, довольно тучный человек с огромным орлиным носом и выдающейся нижней губой, в митре и с пастырским посохом в руке, стоял наверху ступеней, которые вели к главному алтарю, наподобие какого-то грозного стража. Подходя к нему, я почувствовал настоящую жуть, исчезнувшую после того, как вслед за помазанием благовонным маслом я ощутил ту легкую пощечину, которой заканчивался обряд, причем я успел заметить и огромное аметистовое кольцо на пальце епископа. В целом же конфирмация оставила на мне менее яркое и глубокое впечатление. нежели первое причастие. Это было торжественно и эффектно, но в этом не было того, что затрагивало душу и сердце. Надо еще сказать, что за эту одну неделю уже успела испариться значительная доля моей «святости». Я, правда, не совершил каких-либо уж очень явных грехов, в общем я продолжал себя вести похвально, но в то же время мне как бы начинала наскучивать такая «образцовость» и особенно постоянный контроль над собой. Даже утренние и вечерние молитвы я теперь творил без настоящего внимания. В то же время образ Софи стал меркнуть. Я даже не помнил, как я простился с этой девицей после того, как последний раз мы прошлись с ней во время церемонии конфирмации.

А там скоро пошли гимназические экзамены (из вто-

рого в третий класс) со всеми их страхами и мучениями, а там наступило лето и я переселился на дачу к брату Альберу. На даче я еще иногда посещал по воскресеньям ту католическую капеллу, что стояла на берегу залива в Лейхтенбергском парке, но капелла эта была крошечная, съезжалась же туда вся польская аристократия, жившая в Петергофе и его окрестностях, и в тесном помещении становилось душно. Если вместе с другими запоздавшими я оставался снаружи на открытой галлерейке или просто на траве, то, естественно, меня развлекала всякая всячина — и вид моря, куда тянуло поплавать (я только что начал увлекаться купаньем и гребным спортом) и порхающие бабочки, которые так и просились попасть ко мне в коллекцию, и группы гуляющих, наводнившие парк в праздничные дни. Тут как раз появится бонна Аделя с детьми Альбера и с ручной козой Золушкой, направляющиеся на нашу любимую лужайку, что расстилалась за «Собственной его величества дачей». О, эта чудесная лужайка с ее изумительными дубами! Какая там была высокая ароматичная трава, какие прыгали большущие и жирные кузнечики, как удобно было там играть в прятки за ветлами у канавки... Соблазн становился слишком великим, если старшая из племянниц делала мне издали знаки, чтобы я присоединился к их компании. Где тут было слушать возгласы священника и следить по молитвеннику за ходом службы!

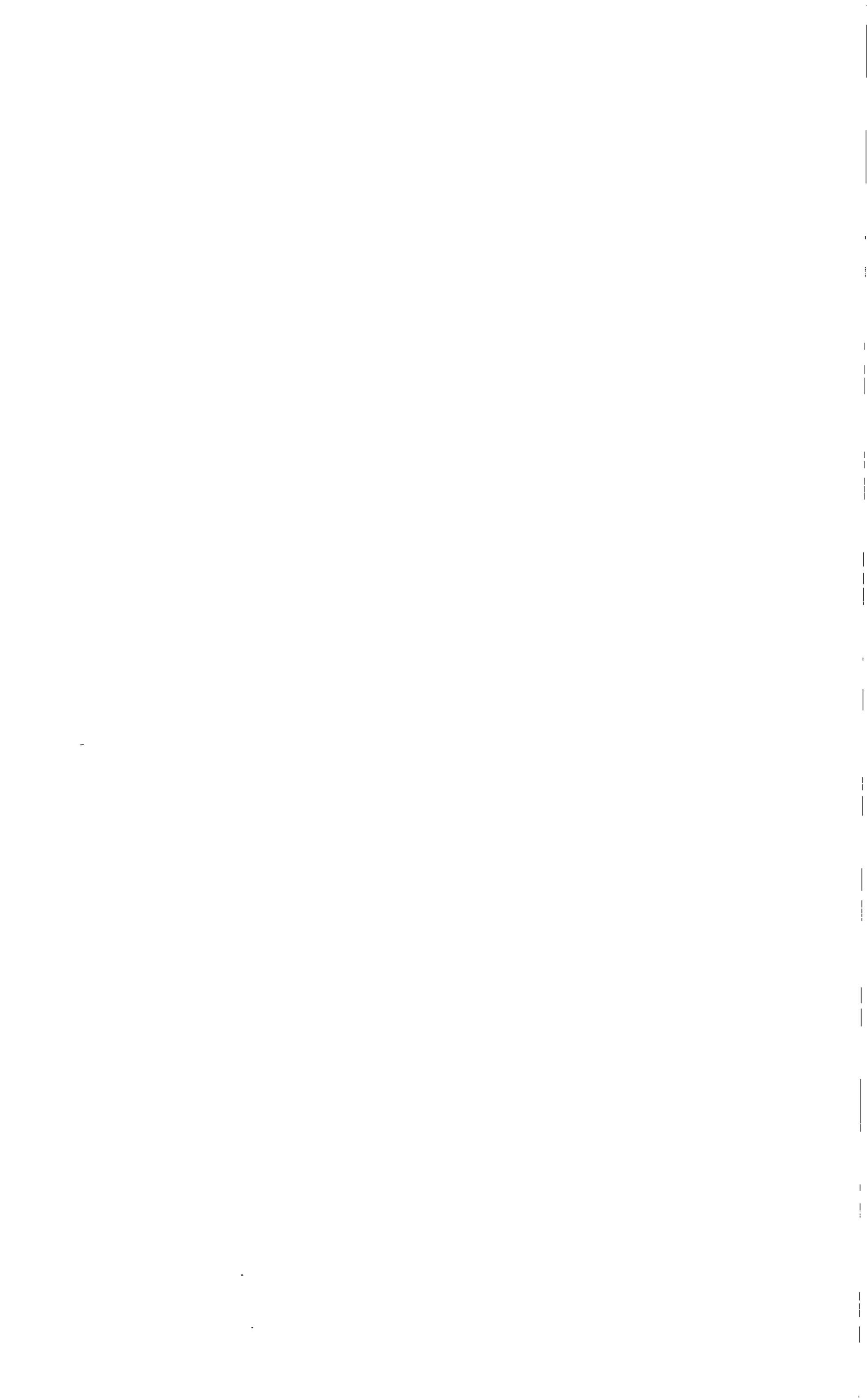
С возвращением зимнего времени я первое время аккуратно посещал вместе с папой мессу, но из удобства и выигрыша времени мы не ездили в прекрасную и торжественную церковь Св. Екатерины, а удовлетворялись тем, что слушали раннюю мессу в церкви Св. Станислава на Торговой. Но когда я говорю — слушали, то и это не совсем соответствует истине, ибо едва можно было различить, что в торопливом бормотаньи произносил священник, прерываемый резкими ударами колокольчика в руках мальчишки, одетого в куцую руба-

шонку. И десяти минут не пройдет, как уже службе конец, и я ловлю себя на том, что именно этой ее краткости я радуюсь. Во вторую половину зимы, в посту, наслышавшись о великолепных проповедях пэра Женье, мы с мамой стали ездить к Св. Екатерине, но там была такая давка, что мамочка была в страхе, как бы нас не задавили, а меня возмущало бесцеремонное толкание польских старушек богомолок, которым было не до действительно прекрасных французских речей отца Женье. Когда наступила Страстная, папа напомнил мне, что нужно пойти к причастию (он сам никогда его не пропускал), но я пошел за ним без охоты, исповедался какому-то ксендзу без убеждения (уже сознательно скрыв по принятой привычке особенно стыдные грехи). И причащались мы тут же, в самой обыденной обстановке, среди всех прочих, в тусклом полумраке унылого и холодного утра. От этого моего принятия Святых тайн до следующего прошло затем целых десять лет, да и тогда я едва ли решился бы превозмочь то, что в таких случаях удерживает хотя бы и верующего, но недостаточно крепкого в вере человека, если бы это не понадобилось в качестве неизбежной «формальности» для нашего бракосочетания...

Самая эта предбрачная исповедь происходила не в церкви, а в кабинете у патера Шумпа в общежитии Св. Екатерины. Да и Шумп, за эти годы удивительно «возмужалый», отростивший себе бороду во всю щеку, совсем больше не походил на прежнего, на юного святого с картины Зурбарана. После вынужденного отъезда пэра Женье[1], он унаследовал всю светскую и великосветскую паству последнего, но мягкий, слишком добрый и любезный, он не сумел себя оградить от мирских соблазнов и

[1] Ходили тогда слухи, что он был отозван по требованию русского правительства после того, как «переманил» в католичество нескольких особ из высшего общества.

постепенно привык ко всевозможным компромиссам. В беседе с ним поминутно слышались самые мирские нотки, которые, вероятно, его самого возмущали бы в былое время. И мне тогда он всячески облегчил «неизбежную формальность». Вопросы на исповеди он задавал самые ребяческие, точно перед ним не двадцатичетырехлетний мужчина, готовившийся стать супругом, а всё еще тот мальчишка, который сидел на уроках пэра Женье...



Глава 15

«НАВЕРХУ»

Брат Альбер, живший со времени своей женитьбы в 1876 году в разных частях города, а в последние два года в близком от нас соседстве, в доме Войцеховского, выходившем на площадь Николы Морского, переселился осенью 1882 г. в прародительский дом. Для этого пришлось выселить из верхней квартиры стародавнего ее жильца доктора Реймера, аккуратненького, необычайно вежливого господина, и эта операция доставила моим родителям еще большие страдания, нежели выселение за два года до того, Свечинских. Но уж очень хотелось маме иметь своего старшего сына около себя, да и Альберу уж очень захотелось оказаться снова под одним кровом с ней. При всем легкомыслии и некоторой «ненадежности» в чувствах Альбера, его никак нельзя было упрекнуть в безразличии к родителям; напротив, он их обоих любил не меньше нас всех, но, разумеется, выражались эти чувства в нем по-особенному, с каким-то, я бы сказал, итальянским «пафосом», куда менее спокойно, нежели у сестер и у прочих братьев. Впрочем, известное сходство в выражении сыновьей нежности существовало между им и мной: ведь и во мне «итальянщина», особенно в детстве, сказывалась очень сильно.

Для меня переселение Альбера к нам в дом приобре-

ло огромное значение. До того я у него бывал редко и всегда с родителями, теперь же открывалась возможность посещать его, когда мне захочется и хотя бы десять раз в день! Стоило только подняться на двадцать три ступени по черной лестнице, и я уже оказывался у кухонной двери брата, а оттуда прямой ход по коридору приводил либо в большую белую залу, где я его или его жену часто заставал за роялем, либо в его кабинет, где он с таким мастерством готовил архитектурные проекты или заканчивал свои акварели, либо наконец, в «детские», где находил своих двух племянниц и их маленького брата. Старшей — Масе (впоследствии вышедшей замуж за композитора Н. Н. Черепнина), было около семи лет, но эта удивительно хорошенькая девочка была для своих лет необычайно развита и выглядела гораздо старше своих лет; ее сестре Милечке (впоследствии «генеральши Хорват») — плотненькой, немного приземистой, всегда веселой и шаловливой — было около пяти; трехлетний Аля был толстеньким карапузом на немного кривых ножках, которые, впрочем, очень скоро совершенно выпрямились. Что же касается до четвертого ребенка Альбера и Маши, крошки Коли, то он только предыдущим летом явился на свет и, естественно, что он эти первые годы своего существования никакого интереса для меня не представлял. Настоящей участницей моих забав (в играх, в беседах, в чтении) сделалась одна только Мася, но и то не сразу, а постепенно; в особенности с весны 1883 года, с того момента, когда я стал подолгу гостить у брата на даче под Петергофом. За детьми присматривала немецкая бонна Аделя — особа уже не первой молодости, склонная к баловству и к шутовству, охотно подчинявшаяся и самым диким фантазиям своих воспитанников.

Весь уклад жизни Альбера стал очень скоро оказывать на меня воздействие и непреодолимую силу притяжения. В целом быт «наверху» резко отличался от на-

шего «нижнего». Это мне особенно и нравилось. Насколько наш уклад носил характер чего-то патриархального, тихого, чуть даже строгого и чинного, что вполне отвечало и годам моих родителей и их природной склонности к чему-то спокойному, и уравновешенному, — настолько альберовский дом являл черты известного... «оргиазма» и «анархизма». Здесь царили артистическая свобода и беспечность, а это особенно нравится в детстве и в юности. В человеческой натуре живет столько еще мятежного, стихийного и дикого! Для того, чтобы как-нибудь укротить эту дикость, требуются годы, в течение которых мы постепенно начинаем ценить навыки того, что выработала многолетняя культура, создавшая сложную систему правил для сносного и даже приятного сосуществования людей. Я же был тогда довольно необузданным, очень до всего лакомым и любопытным мальчиком, а мою домашнюю «дрессуру» никак нельзя было назвать ни образцовой, ни выдержанной. И вот, моим мятежным порывам, моему любопытству и жажде развлечений альберовский быт и потворствовал в сильнейшей степени. Я находил там всяческую поблажку и поощрение своим, подчас и очень странным фантазиям. Сам Альбер был моим великим поощрителем. В этом тридцатилетнем «муже» оставалось масса детского, и эта детскость сказывалась, как в его ненасытной потребности в забаве, так и в удивительной способности организовать всевозможные развлечения, так и в его взглядах на семью, на обязанности супружеской жизни, на супружескую верность и т. д. Достойной парой ему являлась его жена Мария Карловна — женщина в полном расцвете сил и красоты, веселая, склонная ко всякого рода балагурству, добродушная, очень неглупая, порядочно начитанная, а к тому же столь же превосходная пианистка, сколь превосходным художником был ее муж. И он и она естественно притягивали в свой дом самых разнообразных представителей искусства, литературы, музыки и просто

«света». В то же время оба были самыми гостеприимными хозяевами. Дом их был всегда открыт для друзей, а в разряд друзей попадал почти сразу всякий, кто появлялся у них на горизонте, кого они умели приручить и заставить себя чувствовать, как дома.

Но кроме этого, быт альберовского дома был разукрашен всевозможными и весьма частыми праздниками. Не говоря уже об именинах и рождениях, по всякому поводу наверху устраивались обеды и завтраки, а по вечерам более или менее интимные «танцульки»; а раз в году непременно грандиозный маскарад, для которого многие (и особенно художники) норовили придумать особенно пикантные, смешные и роскошные костюмы. Самый пышный из этих маскарадов был устроен на масляной в 1883 году. В этот вечер альберовский зал среди бала в один миг (как в театре) превратился в ярмарку, с сотнями фонариков, с гирляндами цветов, свешивавшихся с потолка, а в каждой двери появилось по лавочке, в которых шла шуточная торговля всякой потешной ерундой. Хозяйка дома щеголяла в очень рискованном и очень оголенном туалете наяды, а Альбер носился по всем комнатам, наряженный (с полным на то основанием) волшебником — в длинную черную, усеянную звездами, мантию. Да и я был не плох в виде маленького Мефистофеля — весь в красном, с традиционным перышком на остроконечной шапочке. Этим костюмом я был чрезвычайно доволен, часто наряжался в него и в будни; именно в нем я приобрел ту отвагу, которая понадобилась для моих первых любовных атак...

Но кроме всей свободы, безалаберности и какой-то непрерывной праздничности, меня тянула наверх и чисто художественная сторона. Альбер периодически устраивал перед гостями демонстрацию своих новейших работ, а таковых у него набиралось особенное множество после каждой его поездки. В летнее время он совершал путешествия по России, в другие времена года — по чужим

странам. Так он за сравнительно короткий период два раза объехал север Италии, один раз спустился до Сицилии (из Палермо он привез одну из своих самых удачных акварелей, изображающую Монте Пеллегрино), побывал он и во Франции, и в Англии[1], а в 1884 году проехал в Алжир до Бискры, что тогда могло сойти за нечто вроде подвига... Об его чудесных импровизациях я уже не раз упоминал; их я слышал теперь снизу из своей «красной» комнаты. При первых же аккордах я бросал всё и летел наверх, чтобы хорошенько наплясаться — при соучастии моих племянниц, а иногда и братьев Марии Карловны — Володи и Пети. Я уже рассказал про игру моей невестки и про то, что я ее не очень долюбливал. Особенно меня раздражали нескончаемые экзерсисы, гаммы, арпеджио или повторения одного и того же не дававшегося ей пассажа. Однако, когда Маша играла что-либо на-чисто, то это доставляло мне удовольствие. Благодаря ей, я впервые оценил такие вещи, как некоторые сонаты Бетховена, «Лесной царь» Шуберта и его вальсы в переложении Листа, и особенно увертюру Тангейзера (в переложении Таузига). Но играла она и другую музыку, которая нынче едва ли нашла бы одобрение, — как блестящие фантазии Листа на вальс из «Фауста» Гуно на финальный квинтет Риголетто, как танец воинов из «Нерона» Рубинштейна (этот танец, вслед за ней и я одолел), и только концерт Направника, который Маша разучивала специально для того, чтобы заручиться расположением автора, я терпеть не мог — может быть, и без основания.

Но импровизациями Альбера и разучиванием серьез-

[1] В Лондоне Альберу был устроен необычайно радушный прием братом нашего зятя Эдвардса, Жоржем, тогда владевшим несколькими театрами, в одном из которых шла оперетка Court of Justice, пользовавшаяся необычайным успехом. Альбер запомнил многие мотивы из нее и часто вплетал их в свои импровизации.

ной музыки Маши не ограничивалась музыкальная жизнь «наверху». Еще один член тамошнего «общежития» — постоянно гостившая у Альбера его невестка Соня (бывшая лет на десять моложе Маши) обладала на редкость «роскошным» голосом и готовилась стать певицей, знаменитой певицей. Ей пророчили, что она затмит Дюран и Зембрих — и в этом ее усиленно поддерживал ее профессор старичок Корси. Вставала эта склонная к лени шестнадцатилетняя толстушка довольно поздно и сразу, уединившись, дабы не мешать ни сестре, ни зятю, в ванной комнате, она принималась за вокализы или за разучивание всяких арий — для ее будущего оперного репертуара. Но вот — эта «ванная» в квартире Альбера приходилась как раз над моей комнатой и потому (а также вследствие звонкого голоса певицы) я волей неволей слышал каждую ноту. В часы, когда я находился в гимназии, это не имело значения, но как раз в те дни, когда, прикинувшись больным, я оставался дома и собирался заняться чтением или позабавиться каким-либо интересным делом, я принужден был с десяти часов выносить настоящую пытку — и тогда я посылал бедной, ни в чем неповинной Соне отчаянные проклятия — ведь я так несчастливо устроен, что всякая музыка отвлекает мое внимание, и хотя бы такая, которую я ненавижу. В то же время пение этой, в общем симпатичной и довольно, несмотря на склонность к полноте, красивой девушки постепенно меня заражало. Я как-то, помимо сознания, проходил, благодаря ей, своего рода «систематический курс пения» и, проходя его, открыл в себе богатые голосовые средства и возможности. Голос у меня — тринадцатилетнего мальчика — был еще дискантовый, но именно потому я мог усвоить весь Сонин репертуар. Родись я двумя веками раньше, надо мной, пожалуй, была бы произведена известная операция и тогда я сделался бы соперником какого-нибудь Фаринати или другого бесполого виртуоза. Так я с легкостью брал

сразу и си, и до и даже ми; изумляя Соню своими трелями; спеть какую-либо арию из «Фаворитки», «Миньоны» или «Севильского цирюльника» было для меня сущим пустяком. Многому я также научился, бывая попрежнему еженедельно в Итальянской Опере и наслаждаясь голосовыми фокусами Марчеллы Зембрих или синьоры Репетто. Всё же никакой существенной пользы я себе из всего этого не извлек, а после того, как года через два у меня надломился голос и я заговорил басом, я и вовсе отвернулся от благородного искусства пения...

Но музыка музыкой, а всё же не в ней и не во всей художественной атмосфере альберовской квартиры заключалась основная ее приманка, пожалуй даже и не в обитателях ее, а в том, о чем я уже упомянул — в каком-то духе вящей свободы, в забавной бесшабашности, в отсутствии какой-либо стеснительной дисциплины. В этом отношении согласие между супругами было полное, и черты эти получили особую прелесть в особе моей невестки, с которой у меня тогда завязался, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в годах, род настоящей дружбы. Одно время я даже вбил себе в голову, что я влюблен в Марию Карловну, а начитавшись всякого вздора, мне такая «преступная влюбленность» как-то нравилась своей греховностью. Но затем эта блажь, не встретив ни малейшего поощрения, прошла сама собой, после чего всё же наша дружба продолжалась несколько лет. Кончилась она только тогда, когда Мария Карловна выступила противницей моего романа с ее младшей сестрой Атей, романа, оказавшегося настолько сильным, что все козни против нас ни к чему не привели. Но об этом рассказ будет подробней в своем месте.

Более всего меня пленило в Марии Карловне (без того, чтобы я в то время отдавал себе в этом отчет) вечно женственное — типично женское отсутствие последовательности, какая-то смесь коварства с чистосердечной искренностью. Нравилась и ее способность всем ин-

тересоваться и всё же оставаться абсолютно далекой от какого-либо педантизма и вообще от какого-либо более глубокого вникания в предмет. Беседа с ней на самые разнообразные темы, будь то музыка или искусство, театр или светские сплетни, рассуждения о Боге, о самых основах бытия, о морали и о порочности, была сплошным диллетантизмом, иногда сдобренным порядочной долей цинизма, но беседовать с ней было весело — особенно при ее манере перескакивать с одного предмета на другой, внося в каждую новую тему одинаковую страстность и живость! О чем только мы ни говорили, что только ни доказывали, до каких высот ни добирались, до каких бездн ни брезгали спускаться! Альбер в этих ежедневных словопрениях (обыкновенно вечерних, когда дети уже были уложены спать) участия не принимал. Ему было мало дела до всякого мудрствования. Зато очень любили вступать в словесное единоборство с Марией Карловной ее поклонники, а их постепенно образовался целый рой.

Вообще гости в доме старшего брата не переводились. Я не помню в эту эпоху (1883-1886 г.г.) завтрака или обеда «наверху», за который не садилось бы человека три-четыре посторонних. Были среди них такие, которые были как бы абонированы и которых можно было встретить там чуть ли не ежедневно. Таковыми были глуховатый шутник Лебурдэ, милейший горбунчик С. С. Гадон, друг многих петербургских дам, которых притягивало и его мнимо-злобное остроумие, и его прелестное лицо, так странно посаженное на кургузое его туловище; таков был еще блестящий флигель-адъютант Христофор Платонович ф. Дерфельден, и еще кое-кто. Но были и такие, кто появлялись как-то неожиданно, а недели через три исчезали бесследно. Альбер и их величал своими «лучшими друзьями», причем я убежден, что в эти минуты он сам верил в эту дружбу... хоть иногда в точности и не знал, как их зовут и кто они такие!

Еще больше гостей у Альбера и Маши бывало летом, в дачной обстановке, где многие оставались ночевать, а то и проводили несколько дней под гостеприимным кровом моего брата и в той чарующей атмосфере, которую без всяких усилий умела создавать его жена. Такое присутствие многочисленных гостей приняло прямо хронический характер, когда Альбер, начиная с лета 1883 года, стал жить в «открытой» им деревушке Бобыльской, находившейся в двух верстах от Петергофа и расположенной у самого берега Финского залива, между двух обширных парков. Тот, что лежал на запад, входил в состав так называемой Собственной его величества дачи и сливался с еще более пространным парком герцогов Лейхтенбергских, а тот, что лежал на восток, принадлежал принцу А. П. Ольденбургскому и его супруге Евгении Максимилиановне (дочери в. к. Марии Николаевны). Гостил и я у Альбера и Маши в Бобыльской на правах ближайшего родственника, но в сущности я и не гостил, а жил месяцами, имея свою комнату и все предметы, без которых я не мог обходиться. И, разумеется, воспоминания, связанные у меня с этим моим пребыванием, принадлежат к самым чудесным в моей жизни! Начать с того ощущения какой-то стихийной легкости, которая была вообще присуща моему возрасту. Я только что вступал в отрочество. В эти годы обладаешь способностью уходить с головой в любое увлечение, а у меня уживалась их целая масса — начиная с влюбленности в разных девочек, которым, хотя и было еще меньше лет, нежели мне, но которые «умели отвечать на мои чувства», и кончая всяким вздором, вроде собирания марок или насекомых[2]. Ах, каких я изумительных громадных кузнечиков ловил на дубовой полян-

[2] Да не подумают, что я так пренебрежительно отзываюсь о филателии или о науке энтомологии. Вздором это собирательство было у Шуреньки Бенуа тринадцати лет и оставалось вздором, впрочем чрезвычайно его поглощавшим, до пятнадцати.

ке. Как безжалостно я их и всяких жуков и бабочек нашпиливал на булавки, предварительно умертвив их эфиром (а однажды на берегу моря я словил и скорпиона, честное слово — то был скорпион!). Какие волшебные прогулки я совершал, бродя по тенистым, в лес переходящим аллеям Лейхтенбергского парка и добираясь по шоссе до Петергофа и вступая под сень Нижнего Сада или Английского Парка. И еще какое наслаждение — пожалуй наиболее сладкое и острое — купанье в море! Стоило сделать шагов тридцать от калитки альберовской дачи, перейти через береговую дорогу, спуститься по невысокому валу из крупного булыжника, и уж под босыми ногами ощущаешь плотный песок, а еще через пять-шесть шагов на пальцы ног начинает набегать нагретая солнцем волна! Любители и виртуозы купанья жаловались на то, что в Бобыльске приходится идти очень далеко, пока глубина воды не окажется достаточной для плавания, но я плавать не умел (так и не научился) и с меня было довольно того, что я, барахтаясь в теплой и всё же освежающей стихии или лежа на спине, ощущал ласковое прикосновение медленно скользящей по мне воды. В последующие годы у каждой дачи в Бобыльске были построены мостки, а на концах их раздевальные будочки (эти жиденькие постройки придавали под вечер что-то японское пейзажу), но в первое наше бобыльское лето (1883) такие мостки с купальней были только у дачи богатого фабриканта Сан-Галли и туда были приглашены купаться наши дамы — Маша и Соня и вообще взрослые из альберовской компании. Напротив, я всё еще пользовался «привилегией мальчика», хотя и перерос обоих своих родителей и многое познал такое, что «мальчику еще рано знать». Поэтому я позволял себе вольность, завернувшись в простыню на голое тело, подобно античному греку, шествовать до воды и, дойдя до нее, скинув свой гиматион, предоставлять все части тела беспрепятственному лобзанию солнца, во-

ды и зефиров. Немного позже, впрочем, у меня с Володей и Петей Кинд появилась манера выезжать на рыбацкой лодке подальше в море, там бросать якорь (необходимо однако было, чтобы я продолжал чувствовать дно под ногами) и спускаться в воду; но вылезать из воды обратно в лодку было довольно мучительно и потому этот способ не имел большого успеха у меня.

Никогда раньше я серьезно не пробовал своих сил в гребле (прогулки по каналам и прудам Кушелевки в счет не идут), а тут, движимый примером друга Володи, я как-то присоединился к нему, чтобы сдвинуть с места тяжелую рыбацкую лодку, и это показалось мне не столь уж трудным и чем-то даже очень занятным. Через неделю мы с ним уже плавали в этой лодке довольно далеко вдоль берега, забираясь в густые тростники, наезжая на те бесчисленные подводные камни, которыми усеяны берега Финского залива.

Альбер не мог оставить эти наши забавы без какой-то (шуточной) регламентации и без того, чтобы самому не принять в них участия. Очень быстро он образовал из мальчиков нашего возраста, сыновей соседних дачников (тут были представители фамилий Штейнер, Кротэ, Нэбо и др.) своего рода маленькую команду, нанял у рыбаков нужное количество лодок и сам возвел себя в чин адмирала. Он только что тогда научился ряду морских терминов, а мы — матросы — слушая его командные крики и боцманские свистки, выучились «класть весла на воду», «таранить», «брать весла на валёк» и т. д. Для себя Альбер неизменно брал лодку, в которой матросами были Володя и я, и мы в качестве «адмиральского судна» торжественно плыли впереди других, не допуская, чтоб лодки Нэбо или Штейнеров нас обгоняли. Чтоб особенно отличить нашу адмиралтейскую лодку от других, нам были сшиты особые красные костюмчики, на головы же мы получили тоже красные фуражки на подобие польских конфедераток. Наконец, на маленькой мачте

нашей лодки развевался какой-то фантастический «адмиралтейский» флаг, а с кормы к воде свешивался трехцветный национальный.

Альбер гордился своей флотилией и особенно он радовался, когда, в праздничные дни, мы гуськом плыли к Купеческой пристани Петергофа (верстах в двух от Бобыльска), дабы встретить и отвезти к нам на дачу прибывших на пароходе из Петербурга приглашенных к завтраку или к обеду[3]. Надлежало как можно ближе подойти к надвигавшейся громаде (о, как начинало тогда качать на волнах, образованных сочно чмокающими лопастями пароходных колес!) и поставив весла вертикально, кричать во всю мочь — ура! Пассажиры на пароходе едва-ли бывали особенно поражены такой демонстрацией, но нам, и особенно самому Альберу, казалось, что эффект получался колоссальный. Вслед затем, подъехав к сходу дамбы, мы принимали в лодки гостей и плыли обратно в Бобыльск. Вот этот обратный путь был гораздо утомительнее. Отяжелевшая наша ладья то и дело наезжала на мели или на подводные камни и в таких случаях приходилось нам, матросам, снимать обувь и, засучив штаны под самый живот, слезать в воду и изо всех сил толкать лодку, пока она не сдвинется с места. У бедной нашей мамочки при таких похождениях делалось такое лицо, точно мы и впрямь терпим

[3] Как раз с 1883 г. стали ходить между Петербургом и Петергофом два новых, в чужих странах построенных, парохода. Их кормовая половина (1-й класс) были снабжены верхней палубой и верхними каютами; под капитанским мостиком была устроена ванная (одно время я из мальчишеского снобизма брал такую ванну, что сокращало время пути). Превосходно был налажен ресторан-буфет и нередко я, обладая юной ненасытностью, пожирал в нем чудесные бифштексы по-гамбургски и т. п. В эту эпоху путешествие в Петергоф морем пользовалось популярностью, особенно среди придворных и василеостровских коммерческих людей, из которых многие имели в Петергофе свои собственные, часто роскошные дачи.

кораблекрушение, но Альбер, не теряя присутствия духа, продолжал отдавать распоряжения с классическим спокойствием морского волка. Несмотря на свои тридцать лет, на свое положение отца четырех детей, он забавлялся еще пуще нашего. Впрочем, он и не мучился так, как мы. Шутка сказать прогрести подряд две версты в один конец и две — в обратный, да еще получив значительную нагрузку! Немудрено, что мы с Володей доплывали до Бобыльска совершенно уморенные, обливаясь потом, с лицами не менее красными, нежели наши костюмы.

Одно событие, произошедшее среди лета 1883 года в нашей семье, способствовало тому, что Альбер, а за ним и я с Володей, «заделались моряками». В июле вернулся, после своего кругосветного плавания, наш брат Мишенька — мичман флота Михаил Николаевич. Пошли всякие чествования его и естественно, что это повело к сближению нас с рядом его товарищей по плаванию на клипере «Пластун». Из них особенно часто стали бывать у Альбера и Маши красавец Патрикеев, мягкий нежный князь М. С. Путятин, до смешного близорукий бородач Виноградов, строгий, малодоступный Полис. Но еще за несколько месяцев до того, один офицер с той же эскадры, получив официальное поручение, прервал кругосветное путешествие и прибыл в Петербург, привезя с собой от Мишеньки поклоны и кое-какие подарки. Дальше я расскажу, какую роль суждено было сыграть именно этому М. С. Истомину в семейной жизни Альбера; здесь же достаточно будет, если я скажу, что все эти господа, морские офицеры — то в белых летних кителях — на даче, то в темных с золотыми пуговицами сюртуках в городской обстановке, — стали года на два,

на три самым обычным у нас элементом и в частности придали альберовскому дому совершенно особый характер. Эта морская молодежь с своей стороны прямо влюбилась в моего брата, в его радушие, в ту радость, которую излучал Альбер. Некоторые стали совершенно своими людьми, другие оставались на несколько более официальной ноге.

Наконец, тому же странному преобладанию морского элемента в этот период жизни Альбера послужило то, что как раз тогда государь Александр III, через воспитателя своих детей, нашего свойственника Чарльза Хиса, познакомился с художеством Альбера, чрезвычайно оценил его и пожелал, чтоб сам художник лично сопутствовал ему во время летних плаваний по финским шхерам. Первое такое плавание произошло в том же году, и с тех пор Альбер каждое лето бывал удостоен высочайшего приглашения. Продолжались эти царские плавания несколько недель и происходили они в составе флотилии с большой царской яхтой «Царевна» во главе. Альбер, если память мне не изменяет, получил постоянную каюту на небольшой пароходной яхте «Славянке», но почти ежедневно бывал приглашаем к царскому столу и после обеда принимал участие в совершенно непринужденной беседе в кают-компании «Царевны», услаждая иногда слух августейших хозяев импровизациями на рояле и забавляя их музыкальными пародиями или фокусами, на которые он был большой мастер. Во время же частых остановок он участвовал в пикниках, до которых и Государь и Государыня были большими любителями, причем он тогда же фиксировал в акварели тот или другой живописный уголок, изумляя всех своей виртуозной быстротой и редкой верностью глаза. Многие такие акварели приобретались царской четой (уже в Петербурге) и часть их посылалась в дар родителям Императрицы в Данию. Возвращался Альбер с таких экскурсий в очень приподнятом настроении, и его рассказы обо всем ви-

денном, слышанном и пережитом знакомили нас с тем замкнутым и полным своеобразной прелести миром, куда он был допущен. Альбер с тех пор и в городе бывал в Аничковом дворце, куда ему был открыт доступ, помимо обычных правил придворного церемониала.

Знакомство, с оттенком дружбы, что завязалось у Альбера с командным составом яхты «Царевна», стоявшей всё лето на Петергофском рейде (грациозный силуэт ее был мне до того знаком, что и я мог нарисовать его наизусть), получило свое увенчание в той авантюре, о которой я сейчас расскажу. Уже несколько раз господа офицеры «Царевны» приглашали Альбера и его близких провести вечер у них, но на сей раз за нами должен был прибыть большой парусный бот, на нем мы совершили бы предварительную прогулку по морю до Кронштадта, а к 9 часам этот бот доставил бы нас на «Царевну», к ужину. Программа представлялась весьма соблазнительной, но выполнение ее представило неожиданные и весьма неприятные особенности. Как раз тогда, когда бот показался на траверсе Бобыльска, небо затянулось черными тучами, поднялся ветер и море покрылось «барашками». Однако было поздно отменять прогулку (ведь никаких радиопередач тогда не существовало) и пришлось-таки нам с Володей на нашей лодке отправиться к стоявшему в четверти версты от берега боту, не имевшему из-за недостаточной глубины возможности приблизиться к берегу. Дамы (Маша и Соня) стали было протестовать, но Альбер остался неумолим — нельзя же было нанести такую обиду милым, радушным офицерам. И вот, скрепя сердце, мы и поплыли — я и Володя на веслах, Альбер у руля, обе дамы рядом с ним. Плавание это оказалось далеко не столь простым и легким, как наши обычные прогулки. Ветер дул всё сильнее нам навстречу, волны становились всё выше, и нужно было напрягать особые усилия, чтобы их правильно перерезать! Плыли мы не десять минут, как рассчитывали, а целых полчаса.

Качало немилосердно, и обе наши дамы заболели, а мы совершенно выбились из сил. Когда же, наконец, мы подплыли к борту, то потребовалась вся сноровка бывших на нем двух офицеров и нескольких матросов, чтобы нас, одного за другим, пересадить, точнее перебросить, с одного судна на другое, причем надо было ловить момент, когда уровень крупного судна и уровень нашей утлой лодченки на секунду равнялись. И ловкие же парни были эти матросы! Двое из них спрыгнули к нам в лодку; схватывали нас и с кажущейся легкостью передавали с рук на руки!

Нечего было и думать продолжать намеченную прогулку, нечего было и рассчитывать на то, чтобы сдвинуться о места, ибо поднявшаяся буря не позволяла поднять ни одного паруса. Бот, стоя на якоре, плясал, как одержимый, палубу то и дело окатывала волна; дамы спустились в каюту, но оттуда преодолевая шум ветра и волн, доносились отчаянные их стоны и крики. Зажгли фальшфейеры, в ответ на них на «Царевне» (но не сразу) взвилась ракета; это значило, что нас увидали, что нам пришлют помощь. И, действительно, скоро по волнам заскакали огоньки приближающегося парового катера. О, как я оценил тогда преимущество Фультоновского изобретения перед самыми прекрасными благородными системами парусного плавания! В конце концов, всё обошлось благополучно. Нас снова «перебросили» с бота на пыхтевший рядом пароходик, а еще через несколько минут мы уже взбирались (бедные наши дамы, в каком они были виде!) на «Царевну». Там нас одели в сухие одежды (дамские платья отправили в кухонное отделение для просушки у очага, а пока они должны были довольствоваться, на маскарадный манер, одеждами матросов, что придало всему лишнюю пикантность. На том же катере мы были доставлены затем до «Купеческой гавани», но до дому пришлось добираться пешком, так как в столь ранний час нельзя было и думать об из-

возчиках. Это возвращение оставило, впрочем, во мне и в Володе неизгладимое и весьма пленительное воспоминание. Очевидно, действовал контраст со всеми пережитыми ужасами, а, может быть, и те несколько бокалов шампанского, которые были выпиты за взаимное здоровье. Солнце уже медленно поднималось по совершенно очищенной лазури. Из садов, лежащих вдоль шоссе, текли дивные запахи цветов, в деревьях Ольденбургского парка птицы неистово заливались на самые разнообразные лады; в радостных, розоватых утренних лучах всё казалось вымытым, точно покрытым свежим лаком. Лишь ветки, валявшиеся на дороге, говорили о только что пронесшейся буре.

Помянутый только что М. К. Истомин, тогда в чине лейтенанта, обладал характерно российской наружностью. Широкоскулое лицо, монгольские хитрые голубоватые глазки, не «очень отчетливо» обрисованный нос, белокурая, еще юная борода, стриженная с намеком на бакенбарды, не сходившая с пухлых губ не то насмешливая, не то приглашающая улыбка. При этом стройное сложение, раскачка в походке и сиплый, точно с перепоя, голос. В общем, определенный «сердцеед», обладавший большим остроумием. Он сознавал свою неотразимость, свой победительный шарм, но отнюдь не щеголял этим, а скорее прикидывался славным, беспечным простаком. Как уже упомянуто, он прибыл в Петербург еще зимой, и к лету, когда вернулся и наш Мишенька, Истомин был уже совершенно своим человеком в доме Альбера, который в нем души не чаял. Проводил он «наверху» целые дни, с завтрака до ужина, и то слонялся по комнатам, без церемонии заглядывая и в спальню, и в детские, то сидел под боком у работающего Альбера,

рассказывая ему свои путевые впечатления (рассказывать он был мастер), то пускался с Марией Карловной в споры на самые разнообразные темы, чаще всего обсуждая произведения литературы, преимущественно — русской. Вопрос о виновности друг перед другом героев Тургенева и Достоевского, Пушкина и Лермонтова, ожесточенные попытки *оправдать* или обвинить «его» или «ее», приводили между ними даже к чему-то вроде ссор. Истомин становился неприятным, бичующим с высоты какой-то им самим сочиненной морали, Маша обижалась за своих любимцев, — и всё это в освещении тогдашнего обязательного свободомыслия и «непризнания предрассудков».

Такое положение длилось в течение двух лет. Оно, видимо, не тревожило Альбера, который, со своей стороны, продолжал свои ухаживания за любой попавшейся ему на пути «юбкой». Но не так стали относиться к этому разные близкие люди и среди них жена брата Леонтия — «другая Машенька». Она являлась, несмотря на свои элегантные манеры и английский язык, типом, выхваченным из Островского или Мельникова-Печерского. Постепенно (особенно во время летних пребываний) войдя в доверие Марии Карловны, Мария Александровна окружила свою невестку целой сетью наблюдений, приведших ее к убеждению, что «дело с Истоминым» обстоит неладно, что под всем этим «что-то есть». Не обошлось и без характерно женской провокации и усилий добиться, «по дружбе», каких-то признаний. А там началось «наведение на подозрение» наших родителей и самого Альбера, который, вероятно, предпочел бы, чтоб его оставили в покое, чтобы ему не открывали глаз, считая, что поведение жены устраивает его собственные дела. Наконец, в 1885 году положение обострилось настолько и многое стало «до того очевидным», что Альбер с женой завели две спальни. А потом произошла размолвка и между Истоминым и Машей.

Истомин попытался было высказаться в художественной форме — он сочинил пьесу, которая была дана на сцене театра Неметти на Офицерской. Но пьеса (кажется, то была драма), прескверно сыгранная любителями, провалилась и эта неудача окончательно омрачила существование молодого человека; разнесся слух, что он пытался покончить с собой... А затем (около 1887 г.) Истомин и вовсе исчез и о дальнейшей его участи мне ничего не известно.

Мамочка сначала радовалась, что вот Шуренька нашел себе в доме старшего брата развлечение и отдых, но затем она стала всё менее одобрительно взирать на мои учащавшиеся посещения «верха» и на мою «дружбу» с Марией Карловной. Когда я впал в ту меланхолическую одурь, о которой я рассказал выше, то она охотно приписала это дурному влиянию своей невестки и даже имела с ней на этот счет объяснение, которое, естественно, ни к чему не привело. Бедная мамочка была на ложном пути — ведь Мария Карловна была совершенно не причем в этом моем кризисе. Вообще же я должен был в те годы безжалостно мучить свою обожаемую мать. Ее не могла не пугать моя скороспелость и то, что в четырнадцатилетнем мальчике появились повадки юноши, отведавшего всех соблазнов жизни. Однако не по вине Марии Карловны я стал таким, а благодаря чтению и своеобразному восприятию прочитанного. Было и много напускного, какого-то «театра для себя». Мне нравилось корчить из себя порочного, таинственного развратника. Я даже стал горбиться, волочить ноги, странно, с надрывом кашлять. На улице стал я появляться в довольно неожиданных нарядах, приставляя к глазу где-то найденную лорнетку, а однажды прогулялся по всей Морской

в образе патера, шествовавшего, уткнув нос в молитвенник. И в самом говоре моем появились тогда всякие «гримасы». Я вдруг принимался говорить фальцетом, подслушанным у актеров нашего французского театра. Единственная вина Марии Карловны (если только это можно назвать виной) заключалась в том, что она, как старшая, не только не удерживала меня, не журила, а скорее забавлялась моими выходками, находя в них много пикантного и пожалуй кое-что и талантливого. Не прочь во время часто импровизированных полнощных пирушек был я выпить (поощряемый Истоминым) лишнее, и тогда мое ломание переходило всякие границы; я нес безобразно циничную чепуху, мешая русскую речь с английской и с французской. Я переживал тогда, в полном смысле слов, неблагодарный возраст.

В дальнейшем я, вероятно еще не раз буду заглядывать в квартиру Альбера и Маши, так как именно в ней начался и получил свое первое развитие тот роман, которому было суждено стать моим «романом жизни», но здесь я хочу упомянуть про еще одно из любимых препровождений времени «наверху», а именно — об увлечении Марии Карловны спиритизмом!

Маша была вообще склонна придавать значение «общению с потусторонним». Так довольно часто она посещала профессиональных гадалок и слепо верила их вещаниям. Любила она слушать и разговоры про всякие чудеса, происходившие в обыденной обстановке, и всё это, невзирая на то, что, как верное дитя своей эпохи материализма, она должна была бы такие росказни презирать. Таким же уклонением от «разумных принципов, достойных просвещенного XIX века», являлась и ее страстишка к столоверчению и к прочим попыткам входить в контакт с миром «неведомых, но пребывающих вокруг нас духов». Спиритические сеансы особенно участились «наверху» с 1884 года — и это, вероятно, связано с тем, что сама Мария Карловна, после нескольких

лет довольно ровного супружеского счастья, как раз как-то запуталась, сбилась с толку. Альбер никогда участия в этих сеансах не принимал и относился к ним скептически. Напротив, я, усердный читатель Дюма-отца и немецких романтиков, помешанный на трагедии Грильпарцера «Праматерь», только что получивший глубочайшее впечатление от спектаклей Томазо Сальвини (особенно от сцен с привидениями в «Гамлете» и в «Макбете»), я стал верным участником этих радений. В компании Марии Карловны, ее сестры Сони, ее брата Володи и Истомина я просиживал часы в потемках за одноногим столиком, топчась, увлекаемый им, по комнате или прислушиваясь к тем ответам, которые «вселившийся дух» давал посредством ударов ножки столика по паркету.

И тут же я должен покаяться, что весьма часто это был я, кто толкал стол и кто его наклонял для получения ударов. В то же время я не сомневаюсь, что и все прочие участники, и в первую голову наша верховная жрица Мария Карловна, занимались такой же мистификацией. Спрашивается, что могло в таком случае нас побуждать продолжать заниматься обоюдным надувательством? Ведь не те заверения, которые слышались то от одного, то от другого, что он де или она не «жульничает». Получая такие заверения, каждый из нас знал, что и он не безгрешен в том же обоюдном обмане. Но вот таково прельщение, оказываемое на людей загадкой окружающей нас тайны, что даже ребячески-шаловливое и основанное на обмане решение этой загадки может не только тешить, но, в известной степени, и удовлетворять.

И вдруг наши радения за столиком получили совершенно неожиданное завершение, — тем более нас изумившее и напугавшее, что месяцами продолжался помянутый взаимный обман. Все обманщики оказались посрамленными чем-то таким, что «действительно за-

пахло жуткой тайной». Происходило это еще до перестройки альберовской квартиры, когда из большой залы (летом 1885 г.) были выкроены две комнаты. Именно в этой просторной, довольно пустоватой зале с большими зеркалами до полу в простенках и с белыми бюстами Моцарта и Бетховена по углам происходил тот сеанс, который оказался последним. Заседание за столиком длилось уже добрый час, ничего особенного не совершалось, всем становилось скучно, и тогда кто-то из нас, шутки ради, обратился к духу с вопросом: не пожелает ли он себя проявить в какой-либо материализации? Когда дух ответил утвердительно, я предложил ему, не сыграет ли он что-нибудь на рояле? И вот тут произошло нечто совершенно неожиданное: в ту же секунду прогремела дикая рулада снизу доверху по всем клавишам благородного инструмента стоявшего в совсем другом конце залы.

При слабом свете, проникавшем от уличных фонарей, мы еще успели разглядеть, что с клавиатуры соскочил большой кот, но вслед за тем поднялся такой визг, так все, сбивая друг друга с ног, ринулись к дверям, что осталось невыясненным ни откуда взялся, ни куда он затем девался: ведь Альбер не терпел у себя в квартире ни кошек, ни собак!

Под этим впечатлением спиритические сеансы у Марии Карловны тогда и прекратились, возобновились же они лишь около семи лет позже, когда она, уже разведенная с Альбером, жила отдельно в доме кн. Львова на Б. Морской. К этому времени мода на столоверчение была временно вытеснена модой на сеансы с блюдечком, которое двигалось по бумаге с написанными на ней буквами. И вот однажды дух через блюдечко открыл, что его зовут Ратаксяном и что он готов материализироваться особым образом. В назначенный вечер Маша, ее сестра Атя (тогда уже моя невеста), кузен Киндов Джон Вальштейн и еще какие-то знакомые уселись (так приказал

дух) перед камином в зале, готовясь к тому, чтобы произнести заклятие. Формула была тоже преподана через блюдечко и гласила: «Дух тьмы Ратаксян, восстань и явись перед нами!». Надлежало его произнести три раза. Никто из присутствующих не верил в то, что он, действительно, что-нибудь увидит, и Марии Карловне пришлось строго приструнить тех, кто продолжали болтать всякий вздор или с трудом удерживались от смеха. После первых двух возгласов ничего и не произошло, но после третьего произошло нечто, столь же неожиданно, как тогда с роялем и котом. А именно — из каминной трубы со страшным грохотом посыпались кирпичи! И опять это оказалось достаточным, чтобы нагнать на всех дикую панику. Все разбежались в разные стороны и всякий интерес к дальнейшей материализации исчез. «Блюдечная серия» сеансов у Марии Карловны тоже закончилась навсегда!

Чтобы исчерпать этот сюжет (весьма характерный для того времени — недаром Толстой счел нужным сочинить на ту же тему целую комедию), я расскажу тут же еще про один случай, произошедший года через два. Заразившись от друзей Сомовых, я сам стал тогда увлекаться блюдечной ворожбой. Эти сеансы происходили у приятеля Сомовых О. О. Преображенского (брата ставшей впоследствии знаменитой балериной Ольги Осиповны). Для этих сеансов я и посещал этого милого, но несколько вялого молодого человека — в компании с Сашей и Костей Сомовыми и с каким-то нашим дальним свойственником, студентом Бауэром. Надо признать, что ответы через блюдечко бывали иногда поразительны по остроумию и по глубине, однако, и эти умные речи внезапно сменялись дикими шутками, а то и просто ругательствами, причем Дух выказывал особую склонность к порнографии (дам, к счастью, среди нас не было). Однажды кому-то из нас пришла мысль положить на бумажку с азбукой маленький древний образок, но не

успели мы тогда коснуться пальцами опрокинутого блюдечка, как оно с какой то яростью налетело на образок и сбросило его со стола! Сила удара была такова, что медная иконка полетела в другой конец комнаты и ее насилу потом нашли под диваном. Стол же опрокинулся и сломался! Я тогда же решил, что с меня довольно, что я не буду больше предаваться таким богомерзким делам. Тем более, что такие опыты и даже разговоры на темы, связанные так или иначе с потусторонним миром, неизменно вызывают у меня в темени своеобразное тупое и довольно болезненное нытье, указывающее, что заведующий именно этим департаментом моего мозга не склонен поощрять подобное. Предлагаю сей феномен вниманию ученых френологов и психиатров, сам же я с тех пор дал себе зарок больше не пытаться входить в какие либо общения с духами[4].

[4] Не так отнесся к спиритизму мой приятель, знаменитый художник Н. К. Рёрих. С начала XX-го века он, вместе с женой, стал систематически заниматься общением с миром духов, а позже, в эмиграции, превратил это занятие в нечто как бы профессиональное, что, как говорят принесло ему немалую материальную пользу и всяческий почет.

Глава 16

ГИМНАЗИЯ МАЯ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Период в пять лет, между осенью 1885 и весной 1890 года, проходит у меня под знаком частной гимназии Мая. Не то, чтоб эта школа поглощала всё мое время, все мои думы и чувства, но всё же мое «общественное» положение означалось словами: ученик Майской гимназии, а затем, хотя я и учился с переменными успехами, однако всё же здесь я получал те более или менее прочные основы, на которых затем построилась моя «образованность». Наконец, в гимназии Мая я приобрел тех друзей, которые остались моими верными спутниками в течение значительной части жизни и с которыми мне удалось создать многое, что позволяет и их и меня причислить к «деятелям культуры». Наконец, я сохранил совершенно особое воспоминание о гимназии Мая — род сердечной благодарности. А это что-нибудь да значит!

Я уже рассказал, как весной 1885 г. я не был допущен к экзамену в казенной гимназии Человеколюбивого общества. Чтобы не терять год, я стал было добиваться, чтобы родители меня определили в Лицей, куда уже поступили два моих товарища — братья Княжевичи. Меня эта мысль о Лицее привлекала по нескольким причинам, но все они были одного характера — суетно-мальчишеского. Особенно меня соблазняло то, что я найду в Лицее среди товарищей «избранное аристократическое обще-

ство». Меня соблазняла и прелестная форма: черная с красным и с золотом, на голове треуголка, полагалась, кажется, и шпага. Движимый ребяческим честолюбием, я воображал, что, пройдя Лицей, я без труда достигну весьма высокого положения, именно на дипломатическом поприще. Так как я начитался всяких исторических романов (настоящих исторических трудов я не касался), то меня и манила перспектива попасть в разряд избранников, решающих судьбы государств: я бы сделался представителем своей страны и общался бы с чужими монархами почти как с равными! Мне казалось, что для этого я обладаю всеми нужными данными: незаурядным умом, необходимым лукавством и несомненным актерским талантом. Даже моя, тогда еще не изжитая склонность к лганью, — представлялась мне чем-то вроде профессионального дара, необходимого для данного ремесла. Однако, все мои мольбы и убеждения не подействовали на папу, и мечты о том, чтобы, благодаря Лицею, стать вторым Горчаковым, Бисмарком или Меттернихом, рассеялись как дым. Впрочем я очень скоро примирился с такой неудачей и даже забыл о ней.

Этому забвению способствовало и то, что, поступив к «Маю», я довольно скоро удостоверился, что эта новая школа мне по вкусу. Никакой формы в ней не полагалось, большинство товарищей принадлежало скорее к среднему кругу, никаких особенно блестящих путей гимназия не сулила... Зато я нашел в ней нечто очень ценное: я нашел известный уют, я нашел особенно мне полюбившуюся атмосферу, в которой дышалось легко и в которой имелось всё то, чего не было в казенном учреждении: умеренная свобода, известная теплота в общении педагогов с учениками, и какое-то «несомненное уважение к моей личности». Вообще в гимназии Мая не было и тени «казенщины».

Это было довольно своеобразное заведение.

С наружного виду это был самый обыденный безличный старый солидный петербургский дом в три этажа. От своих соседей этот дом ничем особенным не

отличался и выкрашен он был в такую же, как они, светло-сероватую краску. Построен он был вероятно (без какой-либо заботы о стиле) в начале XIX в. На 10-ую линию Васильевского острова он выходил половиной, которая сдавалась в наем под частные квартиры, и эта половина нас совсем не касалась, мы не интересовались, кто в ней живет и даже ни разу не полюбопытствовали заглянуть в подъезд.

Тон всему задавал основатель и директор гимназии, носящей его имя: Карл Иванович Май, человек — в момент моего поступления уже очень пожилой, но всё еще деятельный и достаточно подвижной. Только что помянутая атмосфера была целиком его созданием — как личных его душевных и сердечных качеств так и его принципов и целой теории, выработавшейся на основании этих качеств. Карл Иванович твердо верил в то, что от юного существа можно всего добиться посредством выказываемого к нему доверия. Понятно, что среди нас было не мало мальчиков, которые злоупотребляли добротой Карла Ивановича, и даже за спиной издевались над этой самой его доверчивостью. Но большинство учеников уважали и любили своего директора и это нежное чувство возникало почти сразу с момента первого контакта с ним самим. Во всяком случае я «Карлушу» полюбил именно в первый же день, а затем остался верен этому чувству до конца.

Мне сразу понравилась и вся его своеобразная, я бы даже сказал — курьезная внешность. Это был маленький, щупленький очень согбенный старичок, неизменно одетый в черный, долгополый сюртук. В своей старчески исхудалой, точно дряблой руке он всегда вертел табакерку, которой нередко пользовался, а из заднего кармана сюртука у него торчал большой красный с желтым платок, — что вообще полагалось всегда иметь нюхальщикам табака. Уже это одно «отодвигало» Карла Ивановича во времени куда-то далеко и придавало его облику какую-то поэтическую старинность. Но совершенно своеобразным было и всё лицо, вся голова Карла Ива-

новича: черные, как смоль, волосы (злые мальчики уверяли, что они крашены), «кокетливо» подстриженные прямой челкой, выдающийся до карикатурности острый, красный носик. Подбородок был «украшен» опять-таки совсем черной бородкой à la uncle Sam, тогда как щеки и всё вокруг рта было гладко выбрито. Подслеповатые, несколько воспаленные глаза были вооружены золотыми очками. Двигался Карл Иванович быстро, не совсем ровно семеня своим старческими ножками.

Этой смеси признаков глубокой старости, чуть ли не ветхости и сравнительной моложавости во внешности соответствовали и черты характера Мая. Нормальным состоянием Карла Ивановича было беспредельное благодушие. Его тонкие, еле заметные губы, вечно что-то не то жевавшие, не то посвистывавшие, охотно расплывались в приветливую улыбку. Но благодушие Карла Ивановича не было признаком слабости. Он мог при случае и гневаться, но только на то были всегда веские причины. В моменты огорчения он еще больше горбился, очки у него съезжали на кончик носа и он скорбно глядел поверх них своими слезившимися глазками на провинившегося. Это *уже* действовало. Действовало и то, что провинившийся мальчик не удостаивался того рукопожатия с Карлом Ивановичем, с чего начинался для всех каждый учебный день. Для этой церемонии Карл Иванович становился на верхней площадке лестницы, откуда мы попадали в рекреационный зал и в классы, а старческую свою, точно безжизненную руку он держал перед собой «для общего пользования». Торопливо проходили один за другим ученики мимо этой безучастной фигуры и, произнеся приветствие, скорее хватая эту руку, нежели пожимая ее. Но безучастность Карла Ивановича была только кажущейся; он отлично примечал, кто с ним здоровался и когда появлялся накануне в чем-то провинившийся (о чем успели донести Карлу Ивановичу) и очередь рукопожатия доходила до него, то ручка директора *отдергивалась*. Иногда при этом старческий рот шамкал: «мне нужно тебе сказать что-то» или «я должен поговорить с тобой», и это означало, что ди-

ректор чрезвычайно недоволен тобой и что с глазу на глаз произойдет головомойка.

Ученики считали, что Карл Иванович по происхождению «скандинав», не то швед, не то датчанин (с виду он, несмотря на черноту волос, больше всего походил — на финна, на чухонца); но на самом деле он был, кажется, чистокровным и очень даже типичным немцем. Природный его язык, во всяком случае, немецкий, тогда как по-русски он говорил, если и совершенно, даже безукоризненно правильно, то всё же с чуть заметным иностранным акцентом... Кроме своих директорских функций, он взял на себя преподавание географии и на этих уроках сказывался и настоящий учительский талант, и что-то, я бы сказал, поэтическое, что было в его натуре. Мы все любили уроки Карла Ивановича, и своеобразную систему их, и те описания природы, стран и городов, благодаря которым исчезала всякая сухость из его преподавания. Система же была основана на рисовании на доске самых упрощенных схем. Нарисует «Карлуша» три линии в известной комбинации и, полуобернувшись к классу, тыча мелом в одну из линий, спросит: «Что это?» Знакомые уже с системой мальчики отвечают: «Это Фихтельгебирге». — «А это?» — «Майн» и т. д. Постепенно эта голая схема разукрашивалась разными добавлениями, появлялись другие горные цепи, города, притоки рек. Мое знакомство с преподаванием Карла Ивановича именно с такого урока о центральной Европе и началось, но этот же урок я затем слышал не раз — и это благодаря «институту совместных уроков», когда ученики старшего класса оказывались в одном помещении с меньшими товарищами.

Эти совместные уроки входили в школьную систему Карла Ивановича. Под этим, вероятно, лежали экономические соображения, один и тот же учитель мог одновременно преподавать двум классам — а отсюда экономия во времени и в гонораре. Бывало, что такая комбинация получалась из-за того, что у данного учи-

теля, занятого в другом учебном заведении, не оставалось времени дважды посетить нашу школу. Совместные уроки получались и вследствие случайных обстоятельств (скажем, из-за болезни одного учителя его класс временно поручался другому). Всё это доставляло много забот Карлу Ивановичу. Перед доской с подвижными фишками, висевшей на стене в зале над фисгармонией, директор иной раз простаивал много минут, всё что-то бормоча себе под нос, переставляя фишки и снова и снова их всовывая в прежние рубрики. Некоторые совместные уроки носили постоянный характер, так например, Гомера читали одновременно и седьмой и восьмой класс и этот порядок был установлен навсегда. Кажется то же происходило с физикой, которую преподавал инспектор Ларинской гимназии элегантнейший Фохт.

Несколько преподавателей гимназии состояли при ней безотлучно и даже жили в том же доме, но большинство были приходящие. Постоянные, кроме преподавания, несли обязанности классных наставников. Их было трое — и все трое были немцами, по-русски даже не говорившими. Один из них к нам, ученикам старших классов, не имел отношения. Это был несколько обрюзгший пожилой человек с бритым и носатым лицом Полишинеля. Его звали герр Деглау. Он следил за порядком в младших классах, помещавшихся в нижнем этаже, и к нам наверх подымался редко. Деглау отличался беспредельной мягкостью и дети его обожали, но ходила молва, что он каждый вечер напивается в соседнем трактире «Белый медведь», служившем сборным пунктом для всех местных немцев. В общем, это была комическая и чуть жалкая фигура. Кроме того, за мальчиками до тринадцати-четырнадцати лет присматривала супруга Карла Ивановича — очень некрасивая, красноносая и не слишком приятная Агнеса Ивановна, которую полагалось величать tante Agnes; помощницей ее была родственница Мая, старенькая, такая же вся кругленькая, как ее фамилия, tante Lugebill, которую полагалось звать именно так, а не по имени.

Эти трое заведывали порядком в нижнем этаже

(они же там и учительствовали), мы же наших маленьких товарищей встречали только по утрам на общей молитве, происходившей в рекреационном зале, и в субботу в полдень, перед тем как всем разойтись по домам. Наш же «мир верхней сферы» управлялся, кроме директора К. И. Мая и его помощника «инспектора» Кракау, господином Эмилем Молем и господином Виндом.

К Эмилю Молю я сразу почувствовал особую симпатию. Это был огромный, несуразно сложенный и потому казавшийся тучным господин с «прекрасным» лицом Юпитера — на деле, вызывавшим, скорее, сравнение с бегемотом. Он недавно попал в Петербург, а родился в Швабии в городе Тюбингене (он произносил Тибинген). Один его швабский говор располагал к нему юные души. В нем была какая-то нежность, что-то сентиментально-уютное, типично-германское (в прежнем до Гитлеровском понимании этого слова). Уютность его выражалась и в том, что, восседанию на кафедре, он предпочитал сидение среди учеников чаще всего на одной из парт, причем он свои ножищи мастодонта с трудом укладывал на соединенную с пюпитром скамейку. И вот этот обыкновенно ласковый добряк мог внезапно обратиться в гневного и даже в яростного громовержца — в тех случаях, когда распущенные им же мальчики слишком далеко заходили за пределы позволительного. Тогда Моль вскакивал, становился в пространстве между рядами парт и кафедрой, и оттуда начинал метать взоры, которые он, вероятно, считал за уничтожающие, но которые были только смешными, так как Моль был ужасно близорук и в его взгляде, каком-то рассеянном и подслеповатом, это сказывалось даже тогда, когда он считал нужным превращаться в некое олицетворение гнева. Подобные проявления бешенства у Моля были чем-то обычным, в экстренных же случаях, когда его доводили до пароксизма гадкими, глупыми шалостями, гнев его получал уже совершенно дикое и какое-то плясовое выражение: он начинал кружиться на месте и даже подпрыгивать (прыгающий бегемот!), причем извергал «страшные» слова: «Все вы бессовестные», «Я вышвыр-

ну всех вас», и т. п. Но через секунду после такого извержения Моль уже снова сидел за одним из столиков, уткнув нос и правый глаз в грамматику или в Ксенофонта, или в Нибелунгов, и снова его швабская речь текла негромким уютным мурлыканьем.

Надо при этом прибавить, что Моль был очень образованный и начитанный человек — в особенности по части немецкой литературы, древней и новой; для пополнения же своего образования он пользовался каждой свободной минутой. Так и вижу его, как он сидит на деревянном диване в рекреационном зале с его нечесаной рыжей бородой, с лоснящейся плешью, с какой-либо книжкой в руках, по большей части это был томик общедоступной «Универсальной библиотеки». Вместо того, чтобы пойти в учительскую покурить и поболтать с коллегами, он предпочитал такое полезное одиночество.

Нас, учеников 5, 6 и 7 классов, Моль учил немецкой литературе и древним языкам. Вскоре после нашего окончания гимназии его переманили от Мая в Училище Правоведения, при котором, как я слышал, он находился затем многие годы. Лично я благодарен ему, во-первых, за те воспоминания, которые связаны с его живописным обликом, во-вторых, за те знания, которые я почерпнул из его уроков, чуть бестолковых и лишенных системы, но всегда исполненных жизни и увлекательных. Наконец, я косвенно обязан Молю тем, что я с тех самых пор заделался страстным собирателем книг. Однажды он принес в класс оба тома только что тогда вышедшей книги «История германской культуры», автором которой был Otto Henn am Rhyn. Это было одно из первых популярных исторических исследований, начиненное иллюстрациями, воспроизведениями старинных гравюр, изображениями всевозможных памятников, говорящих о нравах и обычаях прошлого. Книга эта так меня поразила и так мне понравилась, что, не откладывая, я упросил маму, чтоб она мне купила такую же, а в подражание мне ею же обзавелись и мои друзья Нувель и Философов. Начало нашим личным, серьезным библиотекам было таким образом по-

ложено, и с тех пор я не переставал предаваться благородной, но увы и очень разорительной страсти книгособирания.

Мой рассказ о г. Винде будет короче. В противоположность Молю этот уроженец Вены был человеком изящной наружности с хорошо причесанными волосами и такой же бородой. Винд был что называется красивый и даже элегантный господин; он никогда не гневался, не выходил из себя, но в нем не было и малой доли теплоты, и в общем он вполне заслуживал репутацию «сухаря». К своим урокам он относился с нескрываемой скукой и, хоть читали мы с ним самую занимательную книгу из всей классической литературы — «Метаморфозы» Овидия, однако на его уроках царило уныние и дремота. Учеников он не любил и скорее презирал. Единственный раз, когда я его видел веселым — это тогда, когда я его совершенно случайно встретил в его родном городе, т. е. на Ринге и когда мы зашли выпить чашку кофе в ближайшее кафе. Винд так тогда растаял, что даже стал зазывать меня к себе в Баден (под Веной), но мне, ввиду близкого отъезда, пришлось отказаться, и это, к моему большому удивлению его огорчило.

Названными двумя педагогами не исчерпывается та часть учительского состава, которая была занята преподаванием древних языков. Напротив, Винд и Моль только готовили нас к Парнасу, а на самой вершине Парнаса заседали господин Мальхин и господин Блумберг. Блумберг не оставил ни в ком из нас приятного впечатления. Правда, он выучил нас, посредством какой-то особой тренировки, читать без подготовки Гомера (в одном только чтении «Илиады» и «Одиссеи» и состояли его уроки), но человек он был неприятный, с виду, какой-то желтый, со светло желтой общипанной бородкой, с зелеными глазами, прятавшимися под очень

сильными стеклами очков, с дурным запахом изо рта. К тому же это был человек и довольно пошловатый и каверзный.

Пошлость Блумберга выражалась между прочим в том, что он заставлял нас исправлять Гомера — из соображений более утонченного вкуса. Известно, что некоторые очень картинные, но и очень несовременные выражения и особенно эпитеты у певца Троянской войны повторяются на каждом шагу. И вот надлежало такие шокировавшие Блумберга выражения или просто пропускать или же заменять другими. Например, ни в коем случае нельзя было оставить за Герой эпитет волоокой или про Аякса сказать, что он выступал, как бык. Блумберг готов был поставить дурной балл за такой (второпях сделанный) промах и, мало того, он дулся затем в течение всего продолжения урока на того, кто совершал рецидив в этом смысле.

Настоящая культурная пропасть разделяла этого «русского грека» с его германским коллегой с г. Мальхиным. О Моле у меня сохранилось воспоминание сентиментального порядка. Даже то, что в нем было глубоко комического, было в своем роде трогательным. Это был тип словно слетевший с картин Шпицвега или Швинда. Напротив, память которую я храню о Мальхине, полна глубокого уважения. Пожалуй, из всех педагогов, не исключая милого Томасова в казенной гимназии, я именно к Мальхину почувствовал наибольшую степень почтения и ученической преданности. Это был мой идеал профессора. И не только потому, что Мальхин умел хорошо учить (разбираться в тонкостях грамматик, разбираться в философии Платона), но и потому, что Мальхин подавал пример какого-то незыблемого чувства долга. Только под его руководством я понял, зачем вообще существует «классическое» воспитание, чему оно служит в жизни, как действуют на весь наш мыслительный строй и на наши критические способности упражнения в латыни и в греческом.

Появился Мальхин на нашем горизонте только тог-

да, когда мы перешли из шестого класса, или «сексты» — в седьмой, но так как я и мой ближайший друг Валечка Нувель были оставлены без экзамена, на второй год в этом предпоследнем классе, то нам посчастливилось «состоять под Мальхиным» целых три года, а не два, как это вообще полагалось. Тут же поясню, что наши «неуспехи», которые заставили доброго К. И. Мая (со скорбным сердцем) не допустить нас до конечного экзамена в 1889 году (о чем дальше), никак не зависели от нашего нерадения на уроках Мальхина. Наши успехи по древним языкам были вообще вполне приличными, а временами и отличными. Но неблагополучно у нас обстояло с математикой, со всякими тригонометриями и космографиями, а к тому же мы тогда оба уж очень увлекались театром, да и вообще слишком жили домашними и личными, а не школьными интересами. Мы просто вышли из школьного возраста. Того же отношения, которое мы встречали со стороны Мальхина, мы в других преподавателях, и даже в самом Мае, который к концу нашего учения очень постарел, не встречали.

Самым характерным во внешности Мальхина была его недлинная, но густая, огненного цвета борода, а также «злой», пронизывающий взгляд его зеленых, искрящихся глаз. Преподавал он обыкновенно по системе перипатетиков, расхаживая по классу, необычайно отчетливо и резко отчеканивая слова, как немецкие, так и латинские и греческие. Он страдал застарелым плевритом, причинявшим ему внезапные острые боли, но Мальхин и в такие моменты не переставал разгуливать и лишь хватался за бок, как-то мычал, а в глазах мелькало отражение испытываемых мучений. Когда же припадок кончался, то лекция продолжалась. Он именно читал нам лекции. В его преподавании не было ничего механического, тупого (это особенно сказывалось в его толковании Платона, мы прошли с ним «Протагора», «Фэдона» и «Пир»). Всё должно было пройти через сознание, всякое новое познание утверждалось в голове посредством его уразумения. На это я и мои друзья Нувель, Калин, Философов и Скалон шли охотно, и Маль-

хин поэтому относился к нам с особым благоволением.

Напротив, он не скрывал своего презрения к тупицам и бездарным зубрилам — хотя бы они отвечали на пять по заданному уроку. Некоторых же учеников он прямо ненавидел, одних за безнадежную глупость, других за лень и бездарность, прикрывавшихся подловатыми приёмами. К разряду первых, к его беспредельному огорчению, принадлежал его родной сын Ваня (Ванья — в произношении отца), среди вторых находился сын учителя русского языка Володя Доброписцев. На последнего, на этого вовсе не плохого, необычайно добродушного, но склонного к мужицкой лукавости веснущатого малого, Мальхин, такой всегда сдержанный, корректный, неоднократно набрасывался с криком, обзывая его бранными словами, совершенно не полагавшимися в устах культурного педагога. И мне кажется, что на этом примере с особой ясностью выражалась некая расовая непримиримость между типичным пруссаком и типичным россиянином. Пруссак никак не может понять и принять то, что в славянской душе скользкого, зыбкого, «складную русскую душу». Проявления ее выводят его из себя, он в них видит худшее, что может быть в человеке, и с этим он готов бороться огнем и мечом! При этом ярость его растет по мере того, как он под своими ударами ощущает нечто уступчивое, рыхлое, не противопоставляющее ударам сопротивление.

В самый год нашего окончания гимназии (1890) Мальхин принужден был подать в отставку (преподавание в гимназиях на немецком языке было запрещено правительственным распоряжением) и он предпочел оставить Россию и вернуться к себе, в свой родной Берлин. Там, движимый школьным сентиментализмом, я его посетил в 1894 г., но лучше было бы, если бы я этого не делал. Визит послужил только тому, что я не узнал «своего Мальхина». Вся обстановка ультра-буржуазная, точно выхваченная из какой-либо каррикатуры Т. Т. Гейне в «Симплицисимусе», была нисколько не похожа на

ту характерную обстановку «фанатика науки», в которой мы заставали нашего профессора, когда приходили к нему в Петербурге. Там обстановка нашего педагога, при огромном количестве книг, коими были сплошь покрыты стены его кабинета, состояла лишь из нескольких самых обыденных стульев и очень большого, сплошь заваленного книгами и бумагами стола. На одиноком окне никаких занавесок. Здесь же меня принимали в типичнейшей гостиной с гарнитурой, крытой красным репсом и с цветочным ковром на овальном столе. Кстати сказать, эти наши посещения Мальхина входили я бы сказал в своеобразную систему нашего общения с ним. Мы ходили к нему объясняться — или в тех случаях, когда чувствовали, что мы уж очень огорчили его каким-либо свидетельством нашего нерадения. Он это поощрял, принимал нас с ласковой строгостью, постепенно переходившей в ясно выраженное благорасположение; кончался же наш визит тем, что Мальхин нас провожал до входных дверей и, пропуская одного за другим, повторял по-немецки одно и то же: «Ничего, я на вас не сержусь!». После такого посещения на его уроках устанавливалась атмосфера прошедшей грозы.

Не могу не упомянуть здесь об еще нескольких лицах нашего педагогического синклита. Необычайно живописной и внушительной фигурой был г. Штрунке, черный-пречерный, горбоносый; густую свою бороду он стриг клином по образцу некоторых древнегреческих бюстов. Он с подчеркнутой отчетливостью произносил по-гречески имена древних деятелей. Когда Штрунке говорил о личности Пизистрата и называл его Пайзистратос, то мне чудилось, что передо мной стоит самый этот афинский тиран. Преподавал он древнюю историю всего еще год (мой первый год у Мая), после чего ему пришлось покинуть гимназию, так как вышло министерское распоряжение, потребовавшее, чтобы преподавание истории происходило на русском языке, которым Штрунке не владел вовсе. Большинство учеников очень жалело об этом уходе, так как Штрунке обладал даром необычайно ярко, картинно и выпукло передавать фак-

ты, а его характеристики производили впечатление какого-то портретного сходства. На смену ему явился тусклый, беспомощный Кракау, который с трудом, точно ученик, отвечающий заданный урок, говорил в тех же выражениях то, что стояло в учебнике...

Другой любопытной фигурой был Михаил Захарович Образцов, крошечный человек с длинной русой бородой. За ним у нас утвердилось изобретенное мной прозвище Зюзя, и действительно это слово очень подходило к милому доброму, но черезчур слабому человеку, абсолютно неспособному дисциплинировать порученную ему ватагу. Очаровательна была его манера улыбаться, точнее осклабляться; губы крошечного бородача широко раскрывались, открывая обе челюсти, причем усы как-то выпучивались в виде странных ворохов. Он считался весьма ученым математиком и даже ходила молва, что он состоит членом-корреспондентом каких-то знаменитых иностранных обществ или академий, но возможно, что именно потому учил плохо — не будучи в состоянии приноровиться к уровню наших мыслительных способностей. Образцов был первый, кто при поступлении в гимназию Мая меня экзаменовал — и то, как мило и осторожно, как благожелательно он это произвел, расположило меня к нему навсегда. Даже в период, когда я становился из рук вон плохим учеником как раз на его уроках и когда получал от него вполне заслуженные плохие баллы, я не переставал его любить и как-то при этом жалеть этого маленького, чуть смешного гнома. Такое мое отношение продолжалось и после гимназии; он был единственным учителем, бывавшим у меня на дому. Разглядывая мои художественные книги, он при этом обнаруживал удивительные запасы наивности и большую готовность всё узнать и понять. Если бы я тогда же не отбыл заграницу (это было в 1896 г.), то, вероятно, мы бы поменялись ролями. Образцов стал бы моим учеником по истории искусства, а я его учителем. Раз я его посетил на дому. Он жил у своего отца — священника при Смоленском кладбище, — и окна гостиной в этом деревянном двухэтажном доме выходили

прямо на тот своеобразный парк, в котором под березами покоятся, прижавшись друг к другу, несметные толпы мертвецов. Этот грустный пейзаж показался мне очень подходящим для доброго и чуть жалкого Зюзи.

Неважно мы учились у учителя русского языка и русской словесности Михаила Евграфовича Дописцева. Фамилия Добриписцева ничто иное, как перевод с греческого: Евграфос, из чего можно было заключить, что наш Михаил Евграфович был семинарского происхождения — ведь именно в семинариях было в ходу давать такие фамилии людям, поступавшим в них «без имени». Во всяком случае наш Доброписцев был типичным семинаристом, человеком, если и обладавшим нужными познаниями, то как-то плохо их усвоившим, а во всём своем облике не обнаруживавшем свою принадлежность к культурному и интеллигентному слою. Это был характерный пролетарий. Одень его в рясу, он явился бы идеальным натурщиком для изображения деревенского дьячка, одень его в армяк, повяжи его передником и он стал бы приказчиком какой-нибудь мелочной лавочки. У него был маленький, красный носик, длинная рыжая борода и пучки рыжих волос торчали над глазами. Вся его нескладная, какая-то длинная и тощая фигура выдавала простолюдина, и определенно крестьянским был его говор на ó и его жесты, удивительно угловатые и какие-то «прямоугольные». Учил он и русскую историю, строго придерживаясь учебника и, видимо, ничего не зная помимо него (впрочем у него был определенный, довольно личного оттенка культ Петра Великого, и за это я его жаловал). К русской же литературе он относился с большей самостоятельностью: он обожал и хорошо знал Пушкина, ценил и Гоголя и Лермонтова, а также некоторых мастеров слова более отдаленных эпох. Каждое свое предложение он начинал словечком «ны-те», сопровождаемым движением сапожника, тачающего сапог. Бедный Михаил Евграфович был обременен семьей, и поэтому должен был учить во всех классах, начиная с младших, да и не в одной нашей гимназии. Именно для того, чтобы позволить

ему получить лишние уроки, К. И. Май сделал для него отступление от общего учебного плана и назначил Доброписцеву два часа в неделю от 8 часов утра до 9-ти. Из-за них мне приходилось вставать в 7 часов и идти по городу, еще погруженному в тьму, причем часть пути лежала по льду (что несколько сокращало дорогу) и это было очень жутко, так как ходили слухи, что «на Неве грабят». Дружные протесты родителей учеников заставили, наконец, через два месяца такого опыта, отменить эти ранние уроки.

В качестве католика мне не надлежало пользоваться уроками Закона Божьего ни у дьякона церкви Академии Художеств Постникова, ни у лютеранского пастора Юргенса, но видел я их постоянно, а иногда и просиживал у них за уроками. Интересно было сравнивать обе манеры обучения. «Поп» был человек лет пятидесяти, довольно полный, ступавший животом вперед, кудрявый, с проседью, с тщательно расчесанной, не очень длинной бородой. Он был весь какой-то сочный, приветливый и веселый. Пастор тоже не производил аскетического впечатления; это был довольно высокого роста господин, гладко выбритый, что придавало его лицу сходство со старой и склонной к плаксивости женщиной. Сходство это усугублялось в минуты, когда он по понедельникам, за утренней молитвой, и по субботам, за полуденной (перед роспуском на воскресенье), переминаясь с ноги на ногу и воздев очи к потолку, произносил род коротенькой проповеди — каждый раз в выражениях, почти тождественных. Вслед за этим тетя Агнеса садилась за фисгармонию, и вся школа пела полагавшийся на данный день недели хорал. С такого же хорового пения начинался и всякий другой день, но не всегда в присутствии духовного лица. По средам гремел хорошо всем знакомый благодаря опере Мейербера, гугенотский гимн «Eine Feste Burg ist unser Gott»[1], и это меня каждый раз наполняло торжествен-

---

[1] «Господь — наша крепость».

ным настроением. Напротив, понедельник начинался с печальнейшего хорала: «Allein Dir Gott in der Höhe sei Ehre»[2], а в субботу мы с особым ликованием возглашали: «Segne uns behüte uns mit Deiner Güte»[3].

В общем жизнь в гимназии Мая протекала тихо, ровно и безмятежно, но раз в году — в день рождения директора — она отмечалась скромным празднеством. В нижнем этаже, где находилась квартира Мая, варился для всего училища шоколад и всех группами приглашали отведать этого праздничного напитка, разливкой которого заведывала супруга «Карлуши», его дочка и тетя Лугебиль. Однажды — это было осенью 1886 г., праздновали семидесятипятилетие Карла Ивановича — празднование получило несравненно более парадный характер, но уже вечером. Перед растроганным директором, сидевшим среди рекреационного зала в окружении всех педагогов и толпы приглашенных родителей, прошло «Шествие рек», в соответствующих костюмах и с произнесением каждой «рекой» уморительных немецких стишков, сочиненных известным академиком-этнографом Радловым. Я изображал Хуан-хэ, а мой друг — Гриша Калин — Ян-цы-цзян. Нам из этнографического музея были одолжены настоящие китайские халаты, нам привесили длинные косы и приклеили висячие усы; мы должны были держать указательные пальцы перед носом и произносить довольно длинное стихотворение. Перед выходом мне казалось, что я нисколько не волнуюсь, однако, к собственному удивлению, и тогда уже, когда я произносил свои реплики, я заметил что мои пальцы сами по себе и без всякого с моей стороны понуждения ритмично дергаются — точно метрономы. Это, вероятно, было сочтено за особенно изощренную китайскую стилистичность... Н. Р. Рерих, который был в младшем классе, вспоминает в своих мемуарах не без умиления об этом дебюте. К сожалению, что представлял он сам в «Шествии рек» я не помню,

[2] «Только Тебе в небесах воздадим честь».
[3] «Благослови нас и охрани милостью Твоей».

пожалуй он и не участвовал в нем, а сидел среди зрителей. В следующем 1887 году я на рождение Карлу Ивановичу поднес изготовленный мной альбом акварелей, изображавших каждая какую-либо из олицетворенных рек на фоне соответствующего пейзажа. За «Темзой» виднелся четырехконечный замок Тоуэра, за «Сеной» — Нотр Дам, за нами-китайцами какие-то пагоды и т. п. С этими акварельками я очень мучился и всё же, как я ни старался, сколько ни переделывал, а получилось нечто «позорно-ребячливое». Но дело было сделано, была заказана и шикарная папка, и я всё же свое изделие поднес (оно с тех пор покоилось в гостиной Мая на отдельном столике).

Осенью 1887 г. я вошел в более тесное соприкосновение с жизнью гимназии Мая. Это было время, когда я вздумал сочетать свое гимназическое учение с вечерними классами Академии художеств, куда я поступил в качестве «вольно приходящего». Занятия в гимназии кончались в 4 часа; дома мы обедали в 5 с половиной, в Академии вечерние классы начинались в 6. Таким образом у меня фактически нехватало бы времени поспеть домой и опять обратно на Васильевский остров. Поэтому мамочка сговорилась с Маем, чтобы я столовался в гимназии с пансионерами и дирекцией. Столовая помещалась в нижнем этаже; здесь в довольно просторной, но низкой сводчатой комнате стояли два стола. За одним председательствовал сам Карл Иванович и несколько учеников (я среди них), за другим восседала тетя Агнеса и с ней классные наставники и мадемуазель Май — девушка лет восемнадцати. Всем подавалось одно и то же. Прислуживали два сторожа, заведывавшие в течение дня раздевальней. Одного из них, полунемца по фамилии Швэбс, я, вероятно, потому и запомнил, что он оказывал нам разные услуги, а фамилия его своим звучанием как нельзя лучше выражала его расторопность и усердие. Мы все с симпатией относились к этому молодому и любезному парню и щедро награждали его по праздникам.

Запомнился мне один случай, связанный с этими

обедами в гимназии. В какой-то октябрьский вечер Карлуша, по окончании еды вдруг не без торжественности обратился ко всему собранию, заявив, что сегодня нам предстоит увидеть что-то особенное, и с этими словами повел нас на двор. И действительно то, что мы увидали, нас глубоко поразило. Всё небо, свободное от туч, было в движении. Мириады «падающих звезд» бороздили его в разных направлениях. Казалось: вот-вот весь небесный свод воспламенится, и тогда нам не сдобровать. Карлуша не уставал любоваться этим зрелищем, причем вид у него был такой, точно это он устроил весь этот фейерверк. Он самодовольно улыбался и старался в общедоступной форме объяснить, каким образом такой огненный дождь мог получиться. Признаюсь, именно с этого вечера я почувствовал «известное недоверие» к небу и впервые ощутил то специфическое сердечное сжатие, которое во мне повторяется каждый раз, когда я слышу о каких-либо тревожных для всего мироздания астрономических открытиях или сообщениях. Самой мучительной из таких тревог была та, которую я испытал в 1910 г. — в ожидании кометы Галея. Но мог ли добряк Карлуша предполагать, что приготовленный им тогда «сюрприз» получит значение какой-то душевной травмы для одного из его любимых учеников?

Глава 17

ГИМНАЗИЯ МАЯ. ТОВАРИЩИ

Только что я упомянул имя того моего товарища по гимназии Мая, который впоследствии приобрел наиболее распространенную славу — Н. К. Рерих. Но как раз в стенах нашей общей школы я общался с ним мало и моим другом он тогда не стал. На то причина простая: он был двумя классами ниже моего и встречались мы с ним лишь благодаря случайностям системы комбинированных уроков. Поэтому я и мало что о нем запомнил в те годы — разве только, что это был хорошенький мальчик, с розовыми щечками, очень ласковый, немного робевший перед старшими товарищами. Ни в малейшей степени он не подпал влиянию нашей группы, да и после окончания гимназии он многие годы оставался в стороне от нас.

Напротив, несколько человек из моих одноклассников сделались моими спутниками на значительную часть жизни, а один из них — как раз тот мальчик, с которым, поступив в 5 класс к Маю, я быстрее всего сошелся, с которым сидел на одной парте — тот до самой своей кончины в текущем году[1], остался, несмотря на наши частые ссоры, а временами и довольно серьезные раздоры — моим близким другом, — я говорю о Вальтере Федоровиче Нувеле.

---

[1] Это писано в 1949 году.

Естественно, что первое время я только «осматривался». Мне было конфузно, что я, как мне казалось, значительно старше всех прочих (у меня уже начинала пробиваться борода) и лишь немного позже я, к своему удивлению, узнал, что Костенька Сомов, несмотря на свой ребячливый вид, на целых семь месяцев появился на свет раньше меня. В те же первые недели я терпел обиды от другого моего будущего друга — от Димы Философова, который, несмотря на свое хорошенькое, «ангельское» личико, содержал в себе немало едкой злости. Он сразу высмеял мой действительно неуклюжий костюм (сшитый по чьему-то совету из плэда), и мою неряшливую прическу, и мои грязные ногти, но больнее всего меня кололи его «разоблачения», касавшиеся нашей семьи. Через мою кузину Нетиньку, дававшую и у Философовых уроки игры на фортепиано, Дима был хорошо осведомлен не только о настоящем, но и о прошлом семьи Бенуа, тогда как я считал нужным из мальчишеского желания придать своей персоне больший вес, нести всякую чепуху вплоть до того, что будто наши французские предки были маркизами, а мои венецианские деды — дожами и кардиналами. Я даже остро возненавидел тогда Диму. Раздражало меня в нем и то, что этот мальчик слишком откровенно выражает свое презрение ко всему классу, выделяя лишь своего соседа по парте — Костю Сомова. С ним зато он держал себя совсем, «как институтка», поминутно обнимаясь и чуть ли не целуясь. Впрочем, тогда я не усматривал в этом чего-либо специально предосудительного и мне эти излияния казались просто неуместными и мужскому полу неподобающими.

Валечка Нувель, напротив, хоть и шокировал меня претензией на щегольство в одежде и некоторыми своими манерами, например тем, что он курил для вящего форса сигары, — однако мне многое в нем и нравилось: больше всего его несомненное «западничество», нечто отличавшее его от характерно русских мальчиков. Впрочем, у нас в классе было два Нувеля. Старший Эдя (Эдуард) и младший Валечка (Вальтер), были по на-

ружности до того друг на друга похожи, что их можно было принять за близнецов, причем Эдя был на полголовы выше брата. Однако наружностью и исчерпывалось сходство между ними. Насколько Эдя был мальчишка из самых озорных, настолько Валя и тогда уже держался корректно и казался рассудительным, «культурным». Эдя, к великому общему удовольствию, был мастером на всякие шалости и изобретателем иной раз и очень хитрых шуток. Это он принес однажды в класс целую дюжину заводных лягушек и пустил их под ноги подслеповатому старичку Лебурдэ — учителю французского языка. Он же устроил сложную махинацию, посредством которой кусок мела взлетал по черной классной доске без того, чтобы было заметно, как это происходит. Мел был подвешен на черной же нитке, которая была проведена через весь класс к задним партам, где и восседал автор и «механик» фокуса. Вот собрался Зюзя Образцов взять мел, чтобы написать алгебраическую формулу, а мел вдруг полез по доске вверх! До чего же это было смешно, до чего оторопел наш крохотный педагог! И попало же тогда Эде за эту шалость! Был вызван сам Карл Иванович, грозно крикнувший ему, чтобы он немедленно убирался, на что отчаянный мальчишка так швырнул дверью, что она вся задребезжала своими многочисленными стеклами, а два из них даже выпали из рамы и разбились!

И вот мой Валечка представлял собой полный контраст со старшим братом. Не надо всё же думать, что он был образцовым тихоней, пай-мальчиком или скучным зубрилой. И он, как и Эдя, обладал значительным запасом лени и не прочь был подурачиться. Что касается учения, то отличная память и большая сметливость выручали его, позволяли Валечке нерадиво относиться к урокам без риска быть зачисленным в разряд «отменных бездельников». Та же память и та же сметливость, при вечно возбужденном любопытстве, делали Валю интересным собеседником. Он был таким же скороспелым юнцом, как и я, ему, как и мне, ничто человеческое не было чуждо, он был таким же страстным театралом и

таким же великим охотником до чтения, и естественно, что по всем этим причинам я вполне оценил общение с ним и очень быстро с ним сошелся. В общем Нувель был таким же «продуктом Немецкой слободы», как и я, и это одно располагало к нашему сближению. Но кроме того еще одно важное обстоятельство делало дружбу с Валечкой особенно ценной[2]. Он был серьёзным любителем музыки, он недурно играл на рояле и обладал завидной способностью быстро читать с листа. Подобно мне он тогда увлекался итальянской оперой (переживавшей в Петербурге на императорской сцене свою особенно блестящую пору), а под моим влиянием он стал, несколько позже, интересоваться и балетом — главным образом балетной музыкой. Единственно, что огорчало меня в моем новом друге — это известная его сухость мысли и склонность к готовым формулам. Это порождало между нами лютые споры, причем я не щадил Валечку и «движимый священным негодованием» поносил его самой отборной бранью. Он же сносил всё без протестов — не то по добродушию, не то по какой-то вялости и по отсутствию темперамента. Особенно же огорчало меня в Валечке его безразличие к пластическим художествам. На искоренение последнего дефекта я и направил свои главные усилия, и в конце концов мне удалось заразить Валечку своей страстью к живописи, обожанием архитектуры, наслаждением скульптурой. К сожалению, этот «искусственно привитый» интерес глу-

---

[2] Семья отца Валечки происходила от французских refugié, переселившихся еще в конце XVII века из Франции в Германию. Французский дух, однако, оставался в семье Нувелей господствующим и это несмотря даже на то, что мать Валечки была немкой. Отца Вали я не застал: он скончался года за два до моего поступления к Маю. По рассказам же это был очень зажиточный человек — директор не то какого-то банка, не то страхового общества. Получая крупное вознаграждение, он позволял себе вести довольно роскошный образ жизни, занимать большую и нарядную квартиру, держать лошадей и часто ездить заграницу. Но вот он скончался почти внезапно и матери Валечки — добрейшей и величественной Матильде Андреевне — пришлось сильно сократить весь образ жизни. Она переехала в сравнительно скромную квартиру, а лошади и экипаж были проданы. Всё же и тогда обстановка Нувелей сохраняла следы того, что французы называют cossu.

боких корней в Валечке не пустил, а в старости — мой друг даже как бы гордился тем, что «всё это его больше не интересует, всё это он перерос». Не лишним считаю здесь более обстоятельно познакомить читателя с семьей Нувель. У Вали было три брата и одна сестра. Старший брат Ричард Федорович обладал прекрасным голосом, что побудило его избрать карьеру оперного певца. Одно время он пел в каких-то заграничных антрепризах и имя Рикардо Норди (избранный им псевдоним) стало довольно известным, но затем, будучи человеком слишком мягким, вялым, а может быть и ленивым, он бросил сцену и заделался учителем пения. Второй брат Федор, являлся контрастом Риче. Это был настоящий герой из какого-нибудь романа Жоржа Онэ. Рослый, хорошо сложенный блондин, он являл вид необычайно холеный и всё-же мужественный. Он должен был иметь большой успех у женщин, любил пикантные анекдоты, коих знал баснословное количество, и держал себя с характерной для высших коммерческих и биржевых кругов развязностью. Он рано умер, не достигнув и сорока лет. Рано умер и знакомый уже читателю Эдя — типичный бездельник и, как водится, любимчик матери. Наконец, была у Валечки и сестра, писаная красавица Матильда, но ее я видел в свои юношеские годы всего раза два, так как, выйдя замуж за голландского дипломата барона ван Геккерна (родственника того Геккерна, который сыграл столь роковую роль в трагической дуэли Пушкина), она жила за границей.

Постепенно наша с Валечкой дружба, наши беседы и споры стали привлекать к себе и других юношей, и уже в шестом классе (1886-1887 гг.) я и ближайшие мои приятели сплотились в особый кружок, в нечто похожее на школьный клуб. Но не надо думать, что наше объединение представляло из себя нечто серьезное, и ученое. Даже несколько позже, когда мы назвали себя в шутку «Обществом самообразования» (это было уже в седьмом классе) и даже сочинили род устава, общение наше продолжало носить совершенно свободный характер с некоторым уклоном в шутовство и в потеху. Всякий намёк

на педантизм был изгнан и предан осмеянию. Изъята была и всякая цензура. Беседа шла о чем угодно и меньше всего о нашем ученье и о школьных делах. Не щадились и современные порядки, но только пересуды на темы, более или менее касавшиеся политической сферы, носили у нас чисто «академический» характер. Ни в ком из нас не жила склонность к какому-либо личному воздействию, к революционности, нам не был знаком соблазн вмешаться в общественную и политическую жизнь. Между тем именно этому соблазну поддавалось в те дни великое множество среди русской молодежи. Лишь один юноша в нашем классе явился исключением, то был Каррик, сын известного фотографа. Он был арестован в момент, когда собирался стрелять в министра Д. А. Толстого. При обыске выяснилось, что он забыл зарядить револьвер, что не помешало тому, чтобы он был сослан. Но этот Каррик держался в стороне от нас, а если и вступал в общий разговор, то не скрывал своего презрения к нам, балованным барчукам. Со своей стороны мы считали Каррика порядочным дураком. Пожалуй, в нашем отрицательном отношении к революционности действовало, очень сильно в нас говорившее отвращение от всего стадного, модного. Из того же инстинктивного противодействия против моды нас привлекали некоторые идеи консервативного порядка. В частности я и Валечка Нувель стали в эти годы чувствовать какую-то «симпатию» к личности государя Александра III. Положим, и мы иногда возмущались отдельными мероприятиями правительства, видя в них проявление бессмысленного ретроградства и обскурантизма, но при этом всё же крепло, какое-то наше тяготение к самому принципу монархического правления.

Начиная с седьмого класса, наши собеседования стали всё чаще происходить у меня на дому. Приманкой могло служить то, что у нас, точнее у меня, товарищи находили не мало всяких «наглядных пособий для просвещения», как в смысле предметов искусства, так и в смысле книг и журналов. Атмосфера нашего дома была насыщена художеством, чем-то таким, чего никто из

моих товарищей не находили у себя. Надо еще прибавить, что я очень рано стал ощущать в себе известное «педагогическое призвание» и потребность собирать вокруг себя единомышленников. И между прочим как раз моя способность вживаться в давно прошедшее оказывала свою притягательную силу даже на тех членов нашего кружка, которые сами по себе никакой склонности ни к истории, ни к искусству не имели.

Еще одна черта способствовала сплочению нашего «совершенно вольного единения», — это наше отношение к патриотизму. Мы все были в одинаковой степени плохими патриотами, если под этим подразумевать какую-то исключительность, какое-то априорное предпочитание своего чужому. Тут сказывалось нечто присущее не только всему русскому, сколько специфически петербургскому образованному обществу, тут, несомненно, сказывалось, что двое из нас, я и Валечка, были своего рода «воплощением космополитизма». Из этого нашего космополитизма мы тогда уже черпали силу определенной реакции против всё усиливавшейся в те дни тенденции, во имя идей национализма, натравлять друг на друга целые огромные группы человечества. Нам же была дорога идея какого-то объединенного человечества. Это особенно ярко сказывалось в нашем отношении к искусству. Раз какое-либо произведение носило «печать гения», оно было нам дорого — всё равно какая национальность его породила. При этом нас одинаково интересовало и пленяло как древнее, так и новое и новейшее искусство. Несомненно, в отдельных наших тогдашних суждениях было много незрелого и просто нелепого, но в общем наши тогдашние беседы и споры способствовали выработке нашего кредо. Мы безотчетно как бы готовились к чему-то, и когда много лет спустя настал нужный момент, то мы, наша группа (и как раз всё то же гимназическое ядро ее), оказалась готовой к действию.

Здесь следует остановиться на только что упомянутом выражении «новейшее искусство». Оно требует ряда оговорок. Надо сознаться, что многое из того, что мы, образованные юнцы «с берега Невы», считали за

«новейшее искусство», таковым уже не было. Не могли нас по-настоящему осведомить и те книги и журналы, которые я пудами выписывал из заграницы. Почти всё, что тогда издавалось и во Франции, и в Англии, и в Германии игнорировало как раз то, что творилось под боком в каждой из этих стран, то, что было затем объявлено «достойным занять прочное место в истории». И не только мы, Майские гимназисты, «не были тогда в курсе», но и весь тогдашний образованный мир обнаруживал удивительную с теперешней точки зрения «отсталость». Так, например, ныне твердо усвоено всеми, кто мнит себя что-то понимающим в искусстве, что в 1860-х и в 1870-х годах во Франции господствовал импрессионизм, что то было движение, если еще и не официально вполне признанное, то всё же «очевидное», происходившее на глазах у всех. На самом же деле это было совсем не так. Импрессионизм вплоть до 1890-х годов был явлением скорее «подпольным», известным лишь тесному кругу. Еще более тесный круг не только знал о существовании каких-то художников, назвавшихся импрессионистами, но и оценивал их искусство, считал его чем-то интересным и прекрасным. Большие массы лишь изредка, урывками узнавали о существовании таких художников как Манэ, Дега, Моне, Ренуар, а если эти имена и произносились или печатались в каких-либо критических статьях, то всегда с оттенком иронии. Эти нынешние неоспоримые представители «славы Франции» казались громадному большинству безумцами, если не шарлатанами. Напротив несомненной «славой Франции» почитались Жером, Бенжамен Констан, Ж. П. Лоранс, Эннер, Мейссонне, Бонна, Бугеро, Руабэ, Жюль Лефевр. Передовыми смельчаками могли себя считать те, кто «шел дальше» и с уважением, с интересом или даже с восторгом относились к Пюви де Шаванн, к Гюставу Моро, к Бастиен-Лепажу, к Каролюсу Дюрану, к Даньяну Бувэрэ, к Карриеру, и уже самые отважные любовались Бэнаром... Что же касается до ежегодного парижского Салона, то там напрасно стали бы искать картины хотя бы только похожие на импрессионистов. Особенно характерным явлением для этих публичных художествен-

ных базаров были гигантские картины с историческими потрясающими сюжетами. Больше всех других по формату были и более всех других возбуждали интерес масс — полотнища Рошгросса.

В сущности, выражение импрессионизм стало известно широкой публике только по выходе в свет нашумевшего романа Золя — «Труд», но большинство его читателей оставалось каким-то недоступным для общего ознакомления — даже в самом Париже. Единственным местом, где постоянно выставлялись картины импрессионистов была галлерея Дюран-Рюэля, но существование этого, довольно скромного магазина далеко не всем было известно. Замечательно, что когда государство решилось принять дар Кайботта в 1895 роду, состоявший из картин импрессионистов, то это возбудило в художественном мире настоящий скандал, и раскаты того негодования, которым воспылало французское общество во имя здравого смысла, благоразумия, вкуса и даже «чести Франции» — слышались еще многие многие годы спустя. Посетители залы Кайботта в Люксембургском музее долго еще покатывались со смеха и держались за животики перед такими ныне ставшими классическими картинами, как «Олимпия» Манэ, как «Bal du Moulin de la Galette» Ренуара, как некоторые пейзажи Моне и Сислея. Можно ли после этого удивляться, что в Петербурге 1880-х годов никто об импрессионистах просто ничего не знал. Даже среди художников. Даже наш самый выдающийся художник И. Е. Репин, несколько лет проживший в Париже как раз в эпоху расцвета импрессионистов, имел о них очень слабое представление и относился к ним с пренебрежением.

В главе о зрелищах я упомянул о моем игнорировании русской музыки, но не в меньшей степени был невежествен в этом смысле тогда и Валечка. Еще кое-что нам было знакомо из Глинки, но остальное было для нас чем-то просто несуществующим, неведомым и абсолютно не интересным. Нас тогда очень удивил бы тот, кто бы напророчил, что недалек день, когда мы же станем предпочитать отечественных композиторов всем остальным и

что даже мы оценим (да еще как оценим) тех самых «кучкистов», на которых обрушивались почти поголовно все критики,

И вот как раз в последние годы моего пребывания в гимназии во мне обозначился поворот в отношении русской музыки. Дальше я расскажу, какое потрясающее впечатление произвела на меня «Спящая красавица» Чайковского, здесь же, в связи с моими школьными воспоминаниями, я ограничусь лишь этим упоминанием вскользь. Тогда же я впал (на время) в другую крайность — в какое-то исключительное приятие одной только русской музыки. Впоследствии всё это утряслось. Полюбив и поняв то, что заключало в себе прекрасного русское художественное творчество (как в живописи так и в музыке) я всё же не стал каким-то тупым фанатиком-руссофилом. Подобную эволюцию проделали и мои ближайшие друзья: Нувель, Философов, Сомов. Напротив, я остался ненавистником всего, что носит характер какого-то ограниченного предпочтения своего перед чужим — будь то в духе французского шовинизма или немецкого «Deutchland über Alles».

Мое сближение с Н. Скалоном и с Г. Калиным началось в седьмом классе (с осени 1887 года). Оба эти юноши (наши сверстники) были необычайно для своих лет развитыми и начитанными. С ними можно было беседовать на всевозможные темы — в особенности на литературные, получая при этом не одно удовольствие, но и пользу. Как личности, как характеры наши новые друзья были мало между собой схожи. Совсем не похожи они были и в своем внешнем облике. Коля Скалон, несмотря на французскую фамилию, принадлежал к тем типично русским людям, к которым приложима поговорка: «Поскребите русского и вы найдете в нем татарина», причем остается под сомнением действительно ли то окажется татарин или иной какой-нибудь монгол — морд-

вин, вотяк или чухонец. Во всяком случае под оболочкой вполне прирученного культурного человека оказывается некое коренное дикое начало. Да и в «оболочке» это коренное начало часто просвечивает, как в чертах лица иногда очень приятных, но всё же грубоватых или как-то «не совсем оформленных», так, в особенности, в жестах, в какой-то неуклюжей походке, в совершенном отсутствии грации.

Таким типичным русаком был Скалон, причем он как брат на брата был похож на других подобных же «татар» среди моих друзей и близких людей — на Владимира Княжевича, на моего репетитора В. А. Соловьева, на моего издателя Всеволода Протопопова, хотя вообще все эти господа ничего не имели между собой общего, ни в смысле деятельности и общественного положения, ни даже в смысле характера. Очень похож был Коля Скалон особенно в сложении, в том, как он сколочен на своего отца — известного земского деятеля либерального толка, очень умного, очень любезного и приятного человека, которого я всегда заставал за письменным столом, погруженным в вороха бумаг. По отцу наш Скалон мог бы быть отнесен к цвету русской передовой интеллигенции определенно демократического уклона. Напротив, мать Коли сочла бы себя обиженной от такой классификации. Это была дама такого же «скифского» облика, как муж и оба сына, однако она не мало кичилась своей аристократической породой и своими высокопоставленными родственниками, особенно же гордилась своим дядей — адмиралом Шварцем. У Коли была младшая сестра Варя; из нее мать (в общем милейшая женщина) старалась сделать совсем светскую барышню с манерами, годными для представления ко двору. Однако, эти старанья матери, эти вечные замечания только раздражали Вареньку и еще больше они раздражали ее братьев, нашего Колю и его меньшого брата Сашу (будущего художника и довольно влиятельного художественного критика), у которых, пожалуй, именно из-за одного чувства протеста против такого «калечения» могли развиться и утвердиться их типично пролетарские ухватки.

При других бытовых условиях, не обладай Коля

Скалон душой нежной, чуть женственной, он мог бы, пожалуй, выработаться в какого-либо героя нигилиста, народника как того требовала от юношей тогдашняя политическая мода. Он в интеллектуальном отношении обладал в достаточной степени предрасположением к анализу, причем надо отдать ему справедливость, что его логические выкладки обладали необычайной, довольно даже убийственной последовательностью. Это был очень умный юноша, пожалуй, самый умный из всех нас. Взгляды его отличались большой чистотой, прямотой и абсолютной искренностью. Он был мастером спорить и в два мига припирал к стене оппонента, даже и очень убежденного. Почти всегда, при этом, он переходил к какой-то моральной проповеди в духе властителя тогдашних дум — Льва Толстого. Всё это скорее нравилось мне, за это я готов был любить Скалона, но, к сожалению, в тоже время меня раздражала, как уже помянутая нескладность всей его манеры, так и типично российская прямолинейность и однобокость его взглядов, его неспособность считаться с оттенками, нюансами и его отказ находить в них красоту. Несомненно, мешало нашему единению и то, что, если в литературе, особенно в русской, он и был на редкость для своих лет сведущ, то в сфере пластического художества он выказывал полную и притом безнадежную ограниченность и даже тупость. Он страдал полным отсутствием музыкального слуха (ах! до чего он врал, когда мы хором в шутку певали Gaudeamus igitur), картины и скульптуры он разбирал не иначе как с точки зрения их общественной полезности, касаясь одной сюжетной стороны, а архитектура для него просто не существовала.

Надо еще прибавить, что Скалон был легко уязвим в своем самолюбии. При первом же подобии какого-либо пренебрежения к его особе, он обижался и подолгу затем дулся. Не мудрено, что наша дружба продлилась не долее пяти-шести лет и что уже на третьем курсе университета охлаждение в наших отношениях стало клонить к разрыву. Он всё чаще стал «манкировать» нашими собраниями, а там, по окончании университета, и начисто исчез с горизонта. Уже стороной до нас дошли слухи, что

Скалон, к безграничному огорчению своей матери женился на ее прислуге, простой деревенской девушке, и удалился в какое-то захолустье на Волге, где его «толстовство» (лишенное всякой религиозной основы) выразилось не только в приятии облика настоящего мужика, но и в том, что он стал питаться одним только черным хлебом и простоквашей. Мне думается, впрочем, что в основе такой судьбы Скалона, разделенной тысячами подобных ему, чистых и хороших душ, лежали не столько «Толстовские убеждения», сколько стихийный зов сквозь толщу культурных наслоений — начал степного кочевника.

Гриша Калин представлял собой другую категорию типично-российских людей. По своему происхождению он был чистокровный пролетарий. Его отец служил швейцаром в доме, стоявшем на углу 10-ой линии и Большого проспекта Васильевского острова — следовательно, в самом близком соседстве с нашей гимназией. И ютился этот привратник с женой и детьми в тесной, душной и темной швейцарской. Но вот колесо фортуны сделало оборот и получилась полная, совершенно театральная метаморфоза. Швейцар Емельян выигрывает в лотерею сто тысяч рублей (что, пожалуй, равняется сотне миллионов нынешних франков) и сразу из «холопа» превращается в «барина». Однако, ни сам Емельян, ни его жена не оказались на высоте положения. На радостях оба супруга предались столь беспутной жизни, что уже через три-четыре года их обоих не стало — оба скончались от белой горячки. К счастью, свалившееся на них богатство не было еще к этому моменту целиком растрачено и пропито. Оставался, купленный на сумму, отложенную по совету одного доброго человека — дом, тот самый дом, в котором Калин швейцарствовал, и благодаря доходу, получаемому с этого дома — опекун, назначенный над сиротами, смог дать им приличное вос-

питание и вывести их в люди. Я подружился со старшим из этих сыновей Емельяна Калина, с другими же только встречался в их общей квартире. Впрочем, одного брата Гриши — Александра я застал здесь в Париже в 1930-х годах — он служил чем-то вроде привратника при «Архивах по истории танца».

Если я привожу всю эту генеалогическую справку, то не потому, что считал будто какая-либо печать такого «низкого» происхождения лежала на Грише Калине, а скорее для того, чтобы констатировать как раз обратное. Ничего ни в наружности, ни в манерах, ни в мышлении не выдавали того, что Гриша принадлежит к разряду «выскочек из низов». С виду это был благообразный, хорошо сложенный юноша с длинным тонким носом, сообщавшим ему (также, как Н. Н. Томасову) некоторое сходство с Гоголем, с близорукими щурящимися глазами, красиво нарисованным ртом под едва пробивавшимися усиками. В противоположность манере держаться Скалона, Калин отличался свободой движений и даже некоторой грацией. Таким, несомненно, его уже создала природа, но кроме того он поддерживал и развивал гибкость тела своей страстью к гимнастическим упражнениям, дошедшей у него до того, что он одно время возмечтал посвятить себя карьере акробата. В виду этого Гриша построил в садике своего дома целое сооружение, отвечавшее техническим требованиям акробатического искусства и тут можно было видеть в теплые светлые вечера Гришу в цирковом наряде, в трико с поясом, украшенным блестками, вертящимся, взлетающим, прыгающем, пользуясь трапециями, барами, кобылкой и т. п. Как раз через улицу (через Большой проспект) находилось воспитательное заведение Патриотического института, ученицы которого, сидя по окнам, с большим интересом глядели на упражнения этого полуголого юноши, и в свою очередь эта публика подстрекала нашего гимнаста не щадить себя. Принимали участие в этих спектаклях и два младших брата Гриши, тоже в розовых трико и в коротких расшитых блестками трусиках. Но вот надзирательницы Института, наконец, до-

гадались, почему девицам так полюбилось сидеть у открытых окон, и это им было запрещено.

Разумеется, не эта страсть Гриши Калина к акробатике послужила основой к нашему сближению; напротив, мы относились к ней неодобрительно, смеялись над ним и чуть даже презирали нашего приятеля за такое неумное препровождение времени. Нравилось же нам в Калине то, что он отличался редким остроумием, что он отлично и самостоятельно изучил великое множество литературных произведений как русских, так и в переводе, иностранных. У него была исключительная память и он знал бесконечную массу стихов наизусть. Увлекаясь тем или другим произведением литературы, он любил знакомиться и с биографиями их авторов. Влекло Калина к более углубленному знакомству с литературой и личные творческие побуждения. Он обладал несомненным даром излагать свои мысли и серьезно готовился стать писателем. Его юношеские произведения (почти всегда в прозе) очаровывали нас своим своеобразным стилем и сверканием тонкого юмора. Я пророчил Грише блестящее будущее и твердо верил, что когда-нибудь мне будет лестно вспомнить про свою дружбу с таким замечательным человеком. Но таким пророчествам моим не суждено было сбыться. Еще студентом третьего курса юридического факультета Калин женился на миловидной, но пустенькой барышне и с этого момента он буквально погряз в мелко-мещанском быту. Когда я встречался с ним впоследствии, он каждый раз «каялся» и уверял, что заботы о семье не дают ему ни минуты времени для какого-либо творчества, а над своими юношескими опытами он посмеивался, как над ребяческой блажью. В последний раз я застал Гришу в здании бывшей Городской думы (в том самом здании, которое когда-то было местом службы моего отца). Это было уже при большевиках. Он занимал какой-то начальнический пост по снабжению населения «пищевыми продуктами» — не то картофелем, не то капустой, и мне пришлось прибегнуть к его покровительству, чтобы ускорить получение чего-то, что выдавалось по карточкам. Калин с величай-

шей готовностью помог мне тогда пройти через ряд бюрократических инстанций и я проводил его затем до его квартиры (где-то в Коломне), болтая с той же милой и причудливой непринужденностью, с какой мы болтали когда-то у «Мая» или во время наших собраний у меня. Я очень в свое время ценил дружбу с Калиным, но мне помнится, что он был довольно равнодушен к художеству и едва ли мои рефераты в нашем Обществе самообразования о Дюрере, Гольбейне, Кранахе и французских художниках времен Наполеона, которые Гриша выслушивал с примерным вниманием, могли его побудить взглянуть несколько внимательней на то, чем я и другие мои друзья интересовались больше всего.

Моя дружба с Костей Сомовым так же, как и моя дружба с Валечкой Нувелем продолжалась до самой их смерти. Одно время эта дружба с Сомовым сделалась особенно тесной, нежной, но возникла она вовсе не сразу и не в стенах гимназии. Этот тихий замкнутый мальчик с «неправильными» чертами лица[3] казался мне в течение трех лет, что мы пробыли вместе в одном классе, совсем неинтересным. Его слегка вздернутый нос, его всегда плохо причесанные волосы (всё же лучше причесанные, нежели мои), его карие, какие-то женские глазки, его пухлые губки и даже неизменная коричневая куртка и бантом повязанный черный галстух — всё это, вместе взятое, составляло очень уж ребячливый облик — без всякой прелести подлинной детскости. Я был уверен, что Сомов года на два моложе меня, и был очень изумлен, когда выяснилось, что он на несколько месяцев старше! Совершенным ребячеством было и всё его поведение в

[3] Зинаиде Гиппиус Сомов, напротив, напоминал какое-то божество, виданное в Неаполитанском музее. Правда, она познакомилась с ним несколько позже, около 1895 года.

гимназии, его манера держаться — особенно выражение его дружеских чувств к Диме Философову: непрерывные между обоими перешептыванья, смешки продолжались даже и тогда, когда Костя достиг восемнадцати, а Дима шестнадцати лет. Да и с виду Костя мало менялся и оставался всё тем же «мальчуганом», каким я его застал, когда поступил в гимназию. Кстати сказать, эти «институтские» нежности между ним и Димой не имели в себе ничего милого и трогательного, однако я был тогда далек от того, чтобы видеть в этих излияниях что-либо предосудительное. Иначе относились к этому другие мальчики, а наш товарищ Федя Рейс тот даже не скрывал своего брезгливого негодования с точки зрения известных моральных принципов. Меньше всего я мог тогда подозревать, что Сомов станет когда-нибудь художником, да еще к тому знаменитым художником и что его слава как бы затмит ту, которая мне иногда мерещилась в моей карьере. Я знал, что он сын известного историка искусства, редактора художественного сборника «Вестник изящных искусств», который получал мой папа, но этот «Вестник» представлялся мне чем-то небычайно мертвым и скучным, а потому и к редактору его во мне выработалось полное недоверие, которое как-то распространилось и на его сына. Мой отец также не очень жаловал старика Сомова, с которым он часто встречался на разных заседаниях и в составе каких-то комитетов. Папа считал его придирчивым сухарем и мелочным каверзником, лишь «контрабандой» проникшим в царство Аполлона. Однако, познакомившись лично с Андреем Ивановичем Сомовым, я постепенно во многом изменил свое первоначальное, заочное мнение о нем.

Совсем не одобрял я те рисунки, которыми Костя (подобно мне) испещрял свои школьные черновики. Уже одним своим однообразием они меня отталкивали. Это были почти исключительно женские профили, в которых Костя пытался воспроизвести черты актрисы французского театра Жанны Брендо, пользовавшейся тогда, наряду с Люсьеном Гитри, большим успехом благодаря своей красоте и таланту. Он увлекался этой статной брюнет-

кой и особенно нравился Косте ее действительно прелестный профиль. И вот вариации на этот профил и покрывали все страницы его учебных тетрадей, лишь изредка чередуясь с совершенно ребяческими и вовсе не меткими каррикатурами. Нигде не появлялось проблеска того, чем впоследствии пленил Константин Сомов — тут не было ни фантазии ни острой наблюдательности. Другой связующей чертой между мной и Костей могла бы быть наша страсть к театру, но и из обмена театральными впечатлениями с Сомовым в гимназии тоже ничего не выходило. Он как-то конфузливо замыкался и отделывался самыми бесцветными ответами; если же я приставал, он окончательно уходил в свою скорлупу и дулся. То ли дело — наши беседы с Валечкой, нередко (в ожидании учителя или в большую перемену) переходившие в целые представления. У наших товарищей долго оставалось в памяти, как мы однажды изобразили ряд сцен из «Кармен» и между прочим — шествие контрабандистов, ступая по столам и скамейкам и распевая во всю глотку знаменитый хоровой марш. Представлены были и сцены из Рюи Блаза и Марион Делорм. Несколько товарищей охотно помогали нам, но всякие попытки вовлечь и Костю в такие «действа» встречали с его стороны отпор. Он густо краснел и, чуть не плача, замыкался.

А затем Костя, не предупредив никого из товарищей, покинул гимназию, в которой, кстати сказать он еще менее преуспевал, нежели мы. Некоторые предметы ему не давались вовсе, успех в других — доставлял ему величайшие муки. При этом он был убежден, что только он один — такой недоучка и бездарность. Когда, после летних каникул 1888 года, мы узнали, что в новом для нас седьмом классе Сомова не будет, то в общем мы не были особенно удивлены этим, однако моему изумлению не было пределов, когда я узнал, что Костя для того покинул гимназию, чтоб поступить в Академию Художеств! Костя со своими профилями Брендо и ребяческими каракулями — и вдруг теперь оказался в стенах Академии Художеств, той самой Академии, в которой год назад я потерпел довольно постыдную неудачу (об этом

будет рассказано в своем месте). С этого момента и на некоторое время я почти совершенно теряю Костю из виду. Лишь изредка, встречаясь на улице, мы обменивались несколькими фразами, но каждый раз он с грустью жалуется, что его рисование в Академии не подвигается и что его продолжает мучить сознание своей полной неспособности. Из известного чувства жалости (и еще потому, что как раз за самые последние месяцы в гимназии весной он успел-таки занять скромненькое место в моем сердце), я старался утешить Костю, подбодрить, вызвать в нем большую в себе уверенность. Делал я это однако без полного убеждения. Забегая вперед, — я тут же прибавлю — что в такой же роли утешителя и ободрителя я продолжал пребывать и впоследствии — тогда, когда уже сам исполнился восхищения от пробудившегося таланта Кости, и когда уже мы стали неразлучными друзьями. Но это сам Костя провоцировал меня на подобное участие в нем, хотя я и сознавал, что он в нем по существу совсем больше не нуждается. Мало того, даже тогда, когда его талант и мастерство стали очевидными широкому кругу ценителей, когда фантазии, возникавшие в его мозгу, одна за другой ложились во всём очаровании совершенно своеобразной красоты на бумагу или на холст, он сам продолжал считать, что ему «ничего не дается» и искать во мне моральную поддержку, от которой, посмеиваясь, я не отказывался, хотя временами бывал склонен требовать, в своих творческих сомнениях и в своей борьбе с техническими трудностями, поддержку с его стороны. Впрочем, Сомов в дальнейшем занял слишком значительное место в моей жизни, чтоб я мог исчерпать всё, что имею сказать о нем, в главе, посвященной школьным товарищам.

Глава 18

ФИЛОСОФОВЫ

Я только что упомянул о том, что между мной и Сомовым, еще в гимназии, но под самый конец его в ней пребывания, стало намечаться нечто вроде дружбы. Возможно, что этому способствовало то, что кончились его, вызывавшие во мне известное отвращение, «институтские припадки», в которых выражались те нежные чувства, какие испытывали друг к другу оба мальчика — Сомов и Философов. Кончились же они потому, что Дима Философов перестал бывать в гимназии. Он всё чаще болел и очень плохо выглядел. Родители видели причину этого в школьном переутомлении и его даже отправили заграницу, кажется на Ривьеру; он не был в Петербурге в течение нескольких месяцев. Таким образом, Дима пропустил целый год учения и отстал от нас. Я не жалел о нем, так как всё еще продолжал остерегаться его злословия, его едких и подчас очень обидных сарказмов. Вздохнули свободно и другие наши товарищи, особенно подвергавшиеся его насмешкам. Однако, по прошествии года, Дима снова оказался среди нас, и это случилось потому, что я и друг Валечка остались на второй год без экзамена в восьмом классе. Дима таким образом нас, отставших, догнал. К этому времени ядро нашего кружка успело уже вполне окрепнуть, и тогда же возник вопрос, включить ли в него и Диму. Большинство было против, и особенно ратовали за недопущение

Философова Скалон и Калин, которые бывали возмущены надменными манерами Димы. Во мне же проснулся какой-то задор, мне захотелось покорить гордеца; он пленил меня своим умом, да и самим его аристократизмом. Сначала я убедил Валечку, а затем и прочих в том, что Дима «нам нужен». И, странное дело, гордец сразу поддался, — вероятно, его томила изоляция (Сомова уже не было в гимназии) и он пошел нам навстречу.

Через несколько недель я стал встречаться с Димой не только в школе. Как-то я его привел к себе, увлекшись беседой с ним на пути из гимназии, а через дня два он, в свою очередь, затащил меня на Галерную (д. № 12), где проживал, но в другом конце ее, — и Валечка. Эти домашние посещения стали затем учащаться, и постепенно я совсем вошел в семью Философовых, в которой меня приняли с необыкновенным радушием. Тут, между прочим, сразу выяснилось, что Димины горделивые манеры вовсе не являются отражением воспитавшей его среды, что, напротив, он и в этой среде представляет собой исключение. Некоторое время спустя, стало сказываться и мое влияние на Диму; он оказался несравненно более мягким и податливым, нежели это казалось раньше. Он, видимо, привязался ко мне (и к Валечке), в его тоне неожиданно проявились сентиментальные нотки; шутки его остались такими же острыми, но теперь они бывали направлены на других, а не на нас. Совершенно же очевидным стало то, что он подвергся моему влиянию в отношении к художеству, до которого (даже до музыки) ему до тех пор было мало дела. Выразилось это между прочим в том, что и он стал покупать книги по искусству. Будучи человеком чрезвычайно одаренным, с умом пытливым и исполненным какого-то пиетета к самой идее культурности, он быстро освоился с этой совершенно новой для него сферой. Прибавлю впрочем, что он, в эти годы какой-то «подготовки к дальнейшему», на всё глядел моими глазами и был во всём согласен со мной. Можно сказать, что он стал моим совершенно верным учеником по вопросам живописи и других пластических художеств; он никогда

со мной не спорил, чего нельзя сказать про Валечку, у которого то и дело прорывались попытки выявить какую-то независимость и «индивидуальность». Но у Валечки это было в натуре. Он «протестовал», потому что без протеста не мог существовать. Однако мне не стоило большого труда «эти вспышки мятежа подавлять».

Диме, видимо нравилось, что он вошел в какой-то совершенно новый мир. Но, в свою очередь, и мне очень нравился весь быт Философовых, нравился мне и каждый член семьи в отдельности. Состояла эта семья из отца и матери Димы, Владимира Дмитриевича и Анны Павловны (урожденной Дягилевой), из сестер Марии и Зинаиды, и из братьев Владимира и Павла. Все они, каждый в своем роде, были довольно характерные фигуры. Владимир Дмитриевич был уже очень старый человек[1], высокий, худой, слегка сутуловатый; черты лица его, особенно его припухшие глаза, носили явно монгольский характер, а борода, усы и брови придавали ему что-то типично российское, простонародное. В комнате Димы висела фотография Владимира Дмитриевича в облачении коронационного герольда с двуглавым орлом на далматике, и нужно сознаться, что этот костюм вовсе не подходил ни к его лицу, ни к его фигуре. С тех пор (с 1850-х годов) В. Д. Философов успел сделать, если не блестящую, то всё же очень видную карьеру. Состоя прокурором в Военном суде, он даже стяжал себе славу сурового, неумолимого блюстителя закона. За последние годы он более не занимал столь ответственного поста и «заседал на покое» в Государственном Совете. Как раз в те же годы начала моей дружбы с Димой состоялся юбилей Владимира Дмитриевича, и поговаривали о том, что он за свои заслуги будет возведен в графское достоинство; однако этой чести он не удостоился, зато был награжден особенно почетным орденом — Св. Владимира 1-й степени. Как-никак Владимир Дмитриевич был «весьма высокопоставленной» персоной, однако в его

[1] Любопытно, что все наши родители были старыми: мой отец, отец Сомова, отец Философова, матушка Нувеля.

манерах это не сказывалось, ни в отношениях с родными, ни даже с такими двумя юнцами, какими были мы оба, друзья его сына. Напротив он проявлял в отношении нас какую-то изысканную любезность, охотно с нами шутил, а то, что он слегка заикался, придавало его речи какую-то, я бы сказал, своеобразную уютность. Нравилось мне в нем и то, что в его спальне, в комнате обширной, но лишенной окон, вечно горела лампада перед большим образом Нерукотворного Спаса (копия с Корреджио) и что его кот Васька был чем-то вроде ближайшего его друга. Надо при этом пояснить, что я сам — страстный поклонник кошачьей породы и что для меня человечество делится на две половины — одна мне особенно близка потому именно, что она чтит Кота-мурлыку, а другая мне несколько чужда именно потому, что она не признает сверх-естественной прелести этих очаровательных существ и относится к ним с пренебрежением, а то и с отвращением. Кот Васька Владимира Дмитриевича пользовался в доме необычайными привилегиями; он то и дело вскакивал на колени своего сановного хозяина-друга и устраивался на них, как дома, а любимым местом его более обстоятельного отдыха служили полки богатой, но очень скучной юридической библиотеки Владимира Дмитриевича.

Владимир Дмитриевич был известен и почитаем в специальной среде, принадлежавшей к высоким рангам бюрократии, напротив, мать Димы была поистине знаменитой на всю Россию дамой и имя ее пользовалось чрезвычайной популярностью — особенно среди передовой интеллигенции. О ней ходили всякие слухи, в значительной степени обоснованные. Говорили об ее увлечениях различными революционерами, но еще более об ее *служении делу* революции. Между прочим, тогда очень распространен был анекдот — будто на двух концах той казенной квартиры, которую Философовы занимали до их переезда на Галерную, находились кабинет Владимира Дмитриевича и гостиная Анны Павловны, и вот в кабинете страшный прокурор, не покладая пера, подписывал один приговор за другим: «к расстрелу», «к рас-

стрелу», тем временем, как в гостиной, Анна Павловна принимала самых отъявленных террористов, кокетничая с ними, восхищаясь их доблестью. Разумеется, этот анекдот не более, как грубая лубочная картинка, однако всё же он в известной степени соответствовал истине — в отношении Анны Павловны. Никогда в России XIX века, даже в дни самой темной реакции и «борьбы с крамолой», человеческая жизнь не зависела от произвола какого-либо одного административного лица. Зато вполне достоверно было то, что Анна Павловна, увлекающаяся, горячая, со всей страстностью своей натуры отдавалась тому делу, которое она считала абсолютно правым. Она даже до того ревностно относилась к своему «служению», что вовлекла в него и своего старшего сына Володеньку, и свою старшую дочь — Марию, которым она давала иногда и весьма рискованные поручения, заставляя их передавать, кому нужно, всякие подпольные инструкции и документы, или укрывая и всячески спасая от полиции лиц, опаснейших для существующего порядка. Эта деятельность Анны Павловны привела, наконец, к тому, что не только ее «попросили» покинуть пределы России, но и достижение Владимиром Дмитриевичем того министерского поста, до которого оставалось сделать всего несколько шагов, стало навсегда невозможным. Тогда-то его и определили в Государственный Совет, считавшийся не без основания чем-то вроде богадельни для престарелых сановников.

Всё это, когда я вошел в семью Философовых, было уже делом прошлым, но, впрочем, не очень давним. Анне Павловне уже снова было разрешено жить в России — в столицах, да и в ней самой и в ее делах от прежних опасных революционных увлечений оставались лишь воспоминания. Зато Анна Павловна, и прежде посвящавшая немало своей энергии благотворительности и делу женского образования, теперь всецело отдалась именно этим задачам. Почти всё ее время уходило на заседания, комиссии, на беседы с профессорами, с делегациями курсисток, на слушание докладов и т. д. Должен при этом сознаться, что насколько Владимир Дмитриевич

мне нравился своим величаво-ласковым спокойствием, настолько меня скорее раздражала суетливость и вечная взволнованность Анны Павловны. Она нередко заходила в комнату Димы, где происходили наши, часами длившиеся беседы, и каждое такое посещение носило будоражащий характер. Она то являлась (точнее «врывалась») с сияющим лицом и, захлебываясь от счастья, сообщала нам о какой-либо победе на «фронте просвещения», то, напротив, войдя, валилась на диван и, заливаясь слезами (настоящими слезами!), негодовала на какие-либо новые репрессивные меры, или ужасалась по поводу гибели тысяч людей от повальных болезней и от голода. Казалось бы, что эти излияния должны были бы трогать наши юные сердца, однако в них всегда звучала та нотка истеричности и в то же время та характерная барская безалаберность, которые лишали эти излияния своей действенности. Дима, при своей нежности к матери, не мог скрыть в таких случаях своего конфуза, а я, не показывая вида, что меня эти восторги или ламентации шокируют, всё же весь как-то сжимался. Было еще в этих жалобах и восторгах и нечто от «вечно-женственного». Когда-то Анна Павловна была одной из пяти самых красивых дам петербургского общества (одной из этих пяти была жена моего дяди Сезара, о чем любила вспоминать матушка Валечки — Матильда Андреевна) и подобные излияния могли служить в сильной степени ее чисто женскому обаянию, ими она и пленяла своих бесчисленных поклонников, часть которых была прототипами Тургеневских героев. Но в 1889 году Анна Павловна утратила и последние следы своей красоты и прелести. Ей еще не было шестидесяти лет, однако ее сильно отяжелевшая фигура получила какую-то почти старушечью рыхлость, а черты ее лица заплыли и потеряли всякую «чеканность». Вечная ее ажитация — смех, плач, возмущения, ликования — углубили складки у ее полного, не слишком отчетливо сформированного рта, и особенно ее старил двойной подбородок.

Я не стану в подробности говорить о других членах семьи Философовых, скажу только, что брат Поленька (Павел), бывший года на три старше Димы, был типичным военным (он служил в Конногренадерах). Это был славный, приятный, несколько простоватый малый: в семье Философовых он представлял такой же декоративный элемент, какой в нашей представлял мой брат Николай. Что же касается до сестры Димы (бывшей на год или два старше его), то это была пикантная, высокая с маленькой головой брюнетка, большая хохотунья и дразнила. То была эпоха, когда в моем «романе жизни» произошел разрыв (точнее «перерыв» — о чем дальше) и возможно, что я серьезно увлекся бы этой, очень мне нравившейся девицей, если бы она не была уже невестой. Женихом же ее был наш давнишний знакомый Саша (Александр Николаевич Ратьков-Рожнов), друг моего кузена Жени Кавоса. Было время в начале 1880-х годов, когда я чуть ли не ежедневно видел Сашу в компании с другим Сашей (Панаевым) — на даче дяди Сезара в Петергофе, где оба считались возможными женихами моих кузин. Бывали оба Саши и у брата Альбера. Они произвели сенсацию на одном маскараде, явившись в виде испанских иезуитов — иначе говоря, «двух» Дон-Базилио. Саша Ратьков был очень высокого роста, Саша Панаев был почти что карликом. У обоих были саженные черные шляпы и черные мантии, которые волочились по полу.

Лишь крайне редко я видел у Димы его старшего брата Володеньку. Он занимал в это время пост вице-губернатора Псковской губернии. Дима был лет на двадцать моложе его и несколько чуждался брата. Определенно же он ненавидел его первую жену, урожденную (или в первом браке бывшую) княжну (или княгиню) Шаховскую, про которую рассказывали, что она, влюбившись в В. В. Философова, насильно женила его на себе. С Володенькой и его второй женой мы с Анной Карловной очень подружились, когда в 1924-1926 гг. жили в Версале. Это оказался самый милый, добрый и необычайно скромный человек. Он лицом походил на отца,

но был гораздо меньше его ростом. Еще реже бывала в Петербурге старшая сестра Димы Мария Владимировна, которая, как и брат Владимир, совершенно отреклась от прежнего «революционного дилетантизма». Она была замужем за генералом Каменецким и проживала далеко в провинции, где ее муж командовал какой-то частью. Мария Владимировна была статной, красивой, но не очень симпатичной дамой. К нам она относилась чуть свысока — как к мальчишкам, друзьям ее «маленького» брата.

Приятнейшее впечатление производил двоюродный брат Димы, тоже Дима (Дмитрий Александрович), носивший, однако, среди своих вполне заслуженное прозвище «толстого» Димы. Считалось, что перед ним открыта блестящая карьера и, действительно, он дослужился после «первой революции» до министерского поста (Государственных имуществ); однако судьба не дала ему пробыть долго на этом посту. Он скончался от разрыва сердца во время какого-то торжественного спектакля в Мариинском театре. Мне он чрезвычайно нравился всей своей подлинно барской манерой и своим тонким юмором. Мне нравилась и его жена (они были молодоженами) — Мария Алексеевна, в первом браке Бибикова. У них на квартире (тоже на Галерной) в 1890 г. были затеяны нами уроки фехтовального искусства; это было довольно весело, но и очень утомительно.

Был еще один «член семьи» Философовых, к которому я сразу почувствовал большое расположение. То была ключница Дуняша. За недосугом у Анны Павловны заниматься домашними делами, всё ведение хозяйства лежало на этой толковой, спокойной и безгранично преданной своим господам, уже довольно пожилой женщине. Зато все Философовы и относились к Дуняше не как к прислуге, а как к родной, как к другу. Это выражалось уже в том, что Дуняша, бывшая крепостная, занимала за обедом председательское место во главе стола и она разливала суп, тогда как Анна Павловна садилась «куда попало». Самый стол у Философовых не отличался

изысканностью и был самый что ни на есть домашний; даже наши меню, тоже незатейливые, могли казаться утонченными рядом с тем, что случалось мне едать на частых семейных пиршествах у Философовых. Но всё было очень вкусно и подавалось в чрезвычайном обилии. Особенно я ценил те угощения, которые Дуняша ставила к вечернему чаю и которые были ее изготовления. Будучи вообще лакомкой и сластёной, я особенно ценил Дуняшины засахаренные «дули» (маленькие груши). Вполне домашним диктатором Авдотья Егоровна становилась во время летних месяцев, проводимых в родовом имении Философовых — Богдановском, Псковской губернии. Там, в смысле всяческого варенья, соленья, маринования плодов и овощей, она развивала чрезвычайную деятельность, доставлявшую ей массу забот, но и немало наслаждения.

Именно то, что у Философовых было родовое имение, что они были «люди от земли», что в основе это были помещики, что еще совсем недавно, до 19-го февраля 1861 года, они владели крепостными, иначе говоря, были рабовладельцами, что об этом самом Богдановском то и дело вспоминалось в беседах, о жизни же в Богдановском говорили, как о каком-то Эльдорадо, — всё это сообщало в моих глазах особый колорит всему Философовскому быту. В этом лежала, если и не сразу мной тогда осознанная, но всё же глубокая разница между их домом и нашим. Ведь мы, Бенуа, были чисто городскими людьми; мои родители не владели ни единым клочком земли, если не считать территории под нашим домом. Помещичья же природа Философовых давала всему их быту своеобразную прелесть. Несмотря на давность своего рода (считалось, что родословная их доходит до времен Владимира Святого и до Крещения Руси), несмотря на то, что многие предки их занимали высокопочетные места при древних князьях и царях, их нельзя было причислить к аристократии придворного круга. И вместе с тем это не была и буржуазия. Это был тот самый класс, к которому принадлежали все главнейшие деятели русской культуры XVIII и XIX столетий, создав-

шие прелесть характерного русского быта. Это класс, из которого вышли герои и героини романов Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Толстого. Этот же класс выработал всё, что было в русской жизни спокойного, достойного, добротного, казавшегося утвержденным навсегда. Он выработал самый темп русской жизни, его самосознание и систему взаимоотношений между членами одного семейного «клана». Всякие тонкости русской психологии, извилины типично русского морального чувства возникли и созрели именно в этой среде. Бывая у Философовых, я проникся особого уважения ко всему этому, столь своеобразному и до той поры мне ведомому лишь через книжки и «вымыслы» поэтов. С внешней стороны этот быт мало чем отличался от нашего, но по существу то были всё же миры различные. И для ознакомления с этим бытом вовсе не требовалось какое-то «наведение справок», какие-либо объяснения. Бывая в доме Философовых, я постепенно и незаметно для себя познавал его природу и, через это познание, стал лучше понимать и любить самую суть русской жизни. Мне кажется, что главная причина, почему я сошелся с Димой, а через него и с Сережей Дягилевым, лежала именно в этой атмосфере, через которую я открывал пресловутую «русскую душу».

Эта атмосфера Философовского дома особым образом действовала и на самого Диму. Находясь в ней, он терял свою природную колючесть, вернее — она смягчалась, сглаживалась. Он становился проще, доступнее. Да и позже кузен Димы, Сережа Дягилев, попадая в нее, заметно менялся. Он переставал быть заносчивым, он терял значительную часть своего провинциального дурного тона. В этом доме, несмотря на полную непринужденность, на царившее в нем почти непрерывно веселое настроение, на массу молодежи, на временами очень разношерстное сборище людей, всегда царил «хороший тон», который не надо смешивать с рецептами светского приличия, а который естественно рождался и процветал. И во мне действие этого хорошего тона выражалось, между прочим, в том, что я, не переставая

веселиться у Философовых, не корчил из себя шута, не ломался и не фиглярничал — чем я грешил (из вящего самолюбия, из желания обращать на себя внимание) с раннего детства.

Веселились же у Философовых часто и по всякому поводу. Собиралась масса народу — старого и молодого; какие-то генералы, адмиралы и сановники засаживались за карты с почтенными дамами; кузены и кузены кузенов (а то и дяди помоложе) тут же дурачились, как малые дети, играли в «маленькие игры», спорили, разыгрывали шарады. Почти всегда всё это переходило в танцы и в таких случаях в самой просторной комнате квартиры, в почтенном, чуть мрачном кабинете члена Государственного Совета, ставилось пианино (обыкновенно находившееся в Диминой комнате), и я или Валечка лихо разыгрывали наш «салонный репертуар»: вальсы, польки, мазурки, кадрили. Меньше мы любили, когда Анна Павловна заставляла знаменитого адвоката Герарда говорить стихи. Его специальностью был Альфред де Мюссе, но то, как он, не без аффектации, произносил французские слова, вызывало в нас — слушателях — мучительные припадки едва подавляемого смеха.

Из отдельных фигур дома Философовых мне еще припоминается родственник Димы: Сергей Неклюдов — человек уже не молодой и, может быть, по своему служебному положению и важный, предпочитавший однако наше общество своей зрелой и перезрелой компании. Это был тоже характерный русский барин — большой остряк, балагур и «бонмотист». Он чудесно рассказывал анекдоты — подчас и очень рискованные, но подносил их в формах, абсолютно корректных. Несколько обрюзгший, заплывший, с неряшливо содержавшейся желтоватой бородкой, одетый по-домашнему, Неклюдов, всё же сохранял облик настоящего барина и этим своим барством очаровывал.

Из наших же сверстников я особенно выделял у Философовых двоюродных братьев Димы — Павла Георгиевича Коребут-Кубитовича и Николая Ивановича Дя-

гилева. Оба они в то время жили на одной квартире и почти никогда не разлучались. Коля Дягилев учился игре на виолончели; он был скромным, застенчивым, молчаливым молодым человеком. С виду это был красивый, статный блондин, с бородкой Генриха IV, однако по существу он являлся чем-то тусклым и в обществе не обращал на себя внимания. Но как раз тусклость Коли Дягилева еще более выдвигала выдержанную характерность его друга Павки Коребута, представлявшего собой еще одну разновидность русского «средне-высшего» сословия. Если обаяние С. Неклюдова было скорее довольно понятного свойства, то Павка являл собой некую загадку.

В разные эпохи жизни я сближался с Павкой и даже дружил с ним. В его ласковости, в его готовности соглашаться и вместе веселиться, а, когда нужно, то соболезновать и сокрушаться, — была масса прелести. Этим «духовным» чарам соответствовала и его типичная российская наружность — вся его круглота, его окладистая «боярская», почти белая от белокурости борода, его столь охотно расплывавшийся в широкую улыбку или грустно сжимавшийся рот, его розовые пухлые щеки, наконец, его по-детски захлебывавшийся дискантовый говор. Недаром Сережа Дягилев, выписав его в 1923 г. на свой счет из Советской России и устроив его без всякого определенного дела «при своей особе», говаривал, что он это сделал для того, чтобы иметь под рукой какое-то подобие валериановых капель. При всём том с Павкой было трудно сойтись по-настоящему. Не то он как-то не допускал до последних тайников своего я, не то он не внушал к себе полного доверия. С особой строгостью случалось в этом обвинять Павку Диме, и не раз такие обвинения принимали бурный характер. Павка же сносил эти нападки с «чисто христианским» смирением, трогательно оправдывался, чуть что не плакал! Надо при этом заметить, что этот «отпрыск Гедиминовичей» был далеко не глупым человеком, а когда нужно было, то он умел себя показать и с деловой стороны. Так, говорят, он не без достоинства, в течение

нескольких лет, исполнял в провинции должность официального опекуна, а во время Первой мировой войны он обнаруживал большое и толковое усердие в заведывании лазаретом.

Еще несколько слов о жилище и об обстановке Философовых. Незадолго до моего знакомства с ними они еще занимали огромную казенную квартиру у Поцелуева моста, но я этого великолепия не застал. С момента же постигшей Владимира Дмитриевича опалы (в начале 1880-х годов), обрушившейся на него вследствие уж чересчур «нелойяльного» поведения его супруги, Философовы занимали целый (второй по русскому счету) этаж в доме № 12 по Галерной улице — в двух шагах от Синода и Сената. В этот же дом, с другого конца той же улицы, перебрались около 1891 г. и Нувели, в квартиру как раз над Философовыми, но занимавшую лишь часть площади последней. Дом был старинный и обладал как некоторыми преимуществами, так и значительными недостатками таких домов. Комнаты были просторные, но целых две (у Нувелей — одна) были темные. Комната Димы, длинная и узкая, тоже была наполовину темная, что, однако, не отнимало у нее приятности. Обстановка Философовых не отличалась роскошью и не содержала, кроме нескольких картин, художественных редкостей, но это была добротная и вполне комфортабельная обстановка на старомодный лад. Кресла, диваны и стулья в кабинете Владимира Дмитриевича и в комнате Димы были крыты зеленым репсом; мебель в гостиной и в спальне Анны Павловны — голубым и темносиним штофом. Единственным свидетелем прежнего великолепия у Философовых был десяток старинных картин — остатки собрания деда Димы, и несколько фамильных портретов. Среди последних особенно примечательны были портреты Дмитрия (Ивановича?) писанный О. Кипренским и изображающий этого круглолицего, в бачках, курчавого брюнета с затейливым чубуком в руке, и другой, работы А. Венецианова, портрет бабушки Димы, дамы уже не совсем молодой, в чепце, томно склонившей голову набок. Меня еще более, нежели эти два

портрета, притягивал большой портрет самого Владимира Дмитриевича — ребенком трех лет, висевший в простенке между окнами Диминой комнаты. Тихенький паймальчик в красной русской рубашке был изображен сидящим на высоком детском стуле, на фоне деревьев сада под колоннадой домовой террасы. Он был занят своими, лежащими на полочке, прилаженной к стулу, игрушками, среди которых особенно обращала на себя внимание вырезанная из игральных карт карета, запряженная парой лошадей. Самое замечательное в этой очень старательно и не без мастерства исполненной картине было то, что она являлась произведением крепостного художника Философовых, который был и автором каретки и других разбросанных игрушек. Этому же ученику Венецианова принадлежали и два интерьера того бревенчатого дома, который был наспех домашними средствами построен в Богдановском после того, как сгорел великолепный прежний, украшенный колоннами дом. Меня самый факт существования такого собрата по искусству, «еще совсем недавно» (всего лишь лет сорок до моего рождения) пребывавшего в рабском состоянии и в таком же состоянии кончившего свой печальный век, — озадачивал и изумлял, а на портрет деда Димы я поглядывал с недоброжелательством, как на жуткого жестокого крепостника. В то же время о просвещенности этого деспота свидетельствовало как то, что он создал из холопа художника, так и те очень недурные старинные картины, которые, спасенные от пожара, всё еще украшали стены гостиной Анны Павловны. Среди этих картин была большая «Клеопатра» во вкусе Гвидо Реню и несколько «маленьких голландцев»; я не уставал любоваться «Пирушкой» в духе Дирка Чальса, которую я охотно приписываю мастеру более изысканному и интересному — Бейтевеху. К большой моей досаде, мне не удалось впоследствии пристроить эту картину в Эрмитаж (ее пожелал продать Дима после смерти матери), и картина ушла заграницу. В кабинете висел еще один портрет Дмитрия Философова, писанный художником Гольпейном и изображавший его уже в старости, стоящим спи-

ной к зрителю, но отражающимся лицом в зеркале. Кроме того, там же висела прелестная картина одного из лучших учеников Венецианова — Крылова, изображавшая деревенскую кухню и в ней сидящую прямо на полу перед топящейся плитой кухарку. Этот перл раннего русского реализма был впоследствии, при моем посредстве, приобретен Русским музеем Александра III, где, вероятно, он находится и по сей день.

Глава 19

ОКОНЧАНИЕ ГИМНАЗИИ

Однако пора вернуться к самой гимназии Мая, рассказать как мы ее окончили — весной 1890 года. Нормально я должен был бы покинуть школу годом раньше, но я и Валечка за последнее время так нерадиво относились к нашему учению, мы до того оба были поглощены своими разными внешкольными интересами и переживаниями, что, несмотря на успехи у Мальхина и у Блумберга, мы оказались последними в классе. Уже задолго до Пасхи стал ходить слух, что, пожалуй, нас обоих и вовсе не допустят до выпускных экзаменов, и поэтому я не был особенно удивлен, когда увидел, утром 25 марта, входившим к нам в залу (я как раз сидел за роялем) самого Карла Ивановича. Вышедшей к нему навстречу мамочке он без обиняков, но в очень «грациозной» форме, объяснил причину своего, столь неожиданного визита: «Сегодня Благовещение, однако я не с благой вестью к вам, Камилла Альбертовна, прихожу. Ваш сынок, к крайнему сожалению, не может в этом году держать экзамены, он слишком запустил свое учение» и т. д. С той же игрой слов на счет Благовещения и с той же речью (но уже по-немецки) Май предстал затем перед Валечкиной матушкой. Родители были очень огорчены такой новостью, особенно папа, для которого она была полной неожиданностью (за последние годы он как-то

вообще «потерял меня из виду»), напротив мы с Валечкой встретили не благую весть почти с ликованием. Ведь перед нами открывалась весна, совершенно освобожденная от сопряженной с этим временем года пыткой экзаменов. Первым нашим делом и было убрать подальше с глаз ненавистные учебники и тетради!

Ужас перед экзаменами возобновился однако через год — весной 1890 года. Сидение второй год в восьмом классе облегчило нам отчасти задачу и мы благополучно одолели эти страшные выпускные испытания; тому не помешало даже то, что наша театромания приняла еще более страстный характер. С января 1890 года, благодаря «Спящей красавице», возобновилось с удвоенной силой мое, совсем было за последние годы остывшее увлечение балетом, а тут еще во время Великого поста снова после пяти лет приехали «Мейненгенцы» и я стал каждый вечер пропадать на их спектаклях. При этом со мной произошло и нечто непредвиденное. После пятилетнего промежутка (и благодаря моим же собственным рассказам) впечатления от этих представлений успели приобрести в моей памяти какой-то легендарный характер; я поверил в собственные преувеличения и когда теперь стало возможным проверить эти мои собственные рассказы, то я увидел, до чего многое в них присочинено. Отсюда внутреннее разочарование, что, однако, я тщательно скрывал даже от себя, стараясь уверить себя, что я и на сей раз наслаждаюсь в той же мере, как то было в их первый приезд. Мало того, я даже вздумал на сей раз сам поступить в Мейнингенскую труппу, чему способствовало то, что мы свели с Валечкой личное знакомство с главными артистами; кроме того мне очень нравилась одна совсем юная, прехорошенькая сотрудница фрейлейн Клара Маркварт, знакомство с которой ограничилось лишь тем, что, дождавшись ее выхода из артистического подъезда Александринского театра, я помог ей сесть в казенную карету, за что получил при очаровательной улыбке, благодарность в двух словах: «Спасибо, сударь!».

Наше знакомство с другими актерами произошло

благодаря тому, что Валечка узнал в одном из них, в комике Пауле Линке того курортника, с которым он встречался лет пять назад на водах не то в Баден-Бадене, не то в Висбадене. Этот «профессиональный весельчак» вовсе нам не был симпатичен, а его пошловатые уловки смешить публику были безвкусны, но стоило ли обращать внимание на такие пустяки, когда этот же господин мог нас приблизить к самому Юлию Цезарю — маститому Паулю Рихарду, к самому Бруту — к Карлу Вейзеру или к хорошенькой Жанне д'Арк Елизабет Хруби. У нас завелся тогда обычай после каждого спектакля ходить с этими господами ужинать в скромный ресторанчик на Малой Садовой, — и вот, за одним из таких ужинов, состоявших обыкновенно из яичницы с ветчиной или из бёф-Строганов, я и решился открыть Паулю Рихарду, что мечтаю к ним присоединиться, для какой цели я уже выучил наизусть комическую «Проповедь капуцина» из «Валенштейна» и негодующую речь графа Дюнца из первого акта «Орлеанской Девы», начинающуюся со слов: «Нет, я это больше не могу терпеть, я отказываюсь от этого короля!» Мало того, считая себя уже актером, я поспешил сбрить бороду и усы, которые покрывали щеки, губы и подбородок с густотой, не соответствовавшей моим годам. Но милый старый Рихард, к которому я воспылал тогда каким-то подобием «сыновней нежности», счел своим долгом меня разубедить. Он указал и на трудности их кочевой жизни и на скудное вознаграждение и особенно на то, что мне пришлось бы много упражняться, чтобы отделаться от моего не совсем правильного произношения немецкого языка. Я смирился и на этом кончилось то, что я тогда был склонен считать своим «основным призванием».

Заключительным проявлением нашего поклонения Мейнингенцам было поднесение труппе адреса, украшенного моим рисунком в старо-германском стиле и содержавшего двадцать строк самой выспренной немецкой прозы. Всё это было сущим ребячеством, но в своем роде и чем-то трогательным. Большого труда стоило нам собрать подписи после того как мы трое —

— Нувель, Философов и я — поставили свои необычайно размашистые росчерки. Дядя Миша Кавос, хоть и был поклонником Мейненгенцев, наотрез отказался, а кузен Сережа Зарудный, хоть и поставил свою подпись, но предварительно жестоко высмеял нашу затею. Зато нам удалось подцепить одного «титулованного», а именно — некоего князя Аматуни, приятеля моего приятеля (еще со времен Цукки), Мити Пыпина. Этот Аматуни случайно оказался в театре на последнем спектакле Мейнингенцев и, будучи любезным человеком, не воспротивился нашей просьбе. Но едва ли сами Мейнингенцы обратили должное внимание на наше подношение; возможно даже, что наш пергамент, порученный Линку, оказался в отельной корзине для бумаг...

С момента отбытия Мейнингенцев и до первых наших экзаменов оставалось не более двух месяцев, и теперь, за эти шестьдесят дней, надлежало приложить «сверхчеловеческие» усилия, чтобы, без позора для себя и для гимназии завершить свое «среднее» образование. И на сей раз древние языки и несколько других предметов нас с Валечкой не тревожили, зато мы продолжали быть отвратительными математиками, и пришлось снова обратиться к помощи лица, обладавшего в нашей семье репутацией прямо-таки гениального чудодея в смысле подготовки и самых отсталых учеников. Три года до того появилась в нашем доме эта фигура — одна из самых живописных когда-либо мне встречавшихся. Теперь же Иван Дмитриевич Дмитриев был снова призван, дабы в ускоренном порядке приняться за нашу тренировку в математике. Задачу он исполнил с обычной удачей и благодаря этому мы не опозорились.

Рекомендован нам был Иван Дмитриевич милым Обером. Однако, советуя обратиться к И. Д. Дмитриеву, он несколько смутил мамочку, сообщив об одном уж очень оригинальном условии, которое его протеже ставило относительно гонорара. Это условие заключалось в том, чтобы к каждому уроку ставились две бутылки пива! Не предупреди заранее Обер о такой причуде, ма-

мочка, наверное, остерегалась бы доверить сынка какому-то пьянчуге. Но Иван Дмитриевич не был пьяницей; хоть и выпивал он за день, бывая на разных уроках, полдюжины, а то и больше, — «шампанского для пролетариев». Преподавание его неизменно отличалось совершенно исключительной ясностью мысли; просто его натура требовала такого подкрепления!

Самый облик Ивана Дмитриевича был в своем роде замечательным. Не будучи вовсе тучным, он всё же производил впечатление толстяка, чему способствовало, как добродушное, луноподобное, гладко выбритое лицо с двойным подбородком, так и необычайно широкие плечи и манера держаться «пузом вперед». Ноги же у Ивана Дмитриевича были скорее тонкие, — но покоились они опять-таки на колоссальных ступнях. Иван Дмитриевич брил бороду и напоминал тех приверженцев скопческой ереси, которые заседали в меняльных лавках, но густой бас доказывал, что это сходство обманчиво и что он — мужчина в полном смысле слова. Басом своим Иван Дмитриевич гордился и, состоя в хоре своей приходской церкви, зычностью своего голоса он покрывал да́же громоподобные возгласы дьякона. Опять-таки в противоречии с этим «величественным» голосом находился в нашем учителе совершенно детский взор его глаз и его светлые, наивно завивающиеся волосы, а также его визгливое, чисто бабье хихиканье. Мне этот его смех (и то как при этом бантиком складывались его губы, как вздрагивали его щеки, как заплывали глаза и как всего его начинало качать и трясти) доставлял такое удовольствие, что я всячески старался его рассмешить, не щадя подчас и его девственного целомудрия. Зальется Иван Дмитриевич и вдруг вспомнит о своей высокой миссии, хлебнет пенистой влаги, густо крякнет, приосанится и со строгим видом проговорит всегда одну и ту же фразу: «Ладно, ладно, а теперь давайте решим еще одну задачку по алгебре». Вернувшись к исполнению долга, он и ученика заставлял снова напречь всё свое внимание.

Судьба Ивана Дмитриевича выдалась не из сча-

стливых. При других обстоятельствах из этого типичного российского самородка мог бы, пожалуй, выработаться второй Ломоносов (он и был, судя по портретам, похож на него), но именно «других» обстоятельств не случилось, и этот человек с мозгом превосходного математика, этот рожденный профессор весь свой век провозился с лентяями, вроде нас, а то и с круглыми бездарностями, стараясь их уберечь от провалов или добавить к их образованию то, чего не давала казенная школа. Получилось же это так потому, что Иван Дмитриевич, рано потеряв отца, должен был, еще совсем юным, зарабатывать свой хлеб и кормить мать и сестру. Бедность помешала ему окончить гимназию и получить права на поступление в университет. А в сущности, в каком еще «аттестате» нуждался человек, который и труднейшую задачу решал сразу, «на глаз», который и самую сложную теорему мог объяснить так, точно это сущие пустяки!

Впрочем, не одно отсутствие диплома обусловило род существования и образ жизни Ивана Дмитриевича, а и то, что он был до какого-то юродства скромный, незлобивый и бескорыстный человек, к тому же — и ревностный христианин. Одет он был всегда в неизменный старомодный, долгополый сюртук с широко раскрытым жилетом. Отложной воротничок безупречно белой рубашки только еще подчеркивал то, что было в нем детского. Таким он явился к нам в первый раз, когда ему было не более двадцати пяти лет и совсем таким же я его видел тридцать лет спустя, уже в качестве учителя-репетитора, дававшего уроки моему сыну. За эти годы он успел просветить мозги многочисленным нашим племянницам и племянникам. Дальнейшая судьба И. Д. Дмитриева мне не известна, но едва ли он мог почитать за счастье, если дожил до эры большевизма...

Наконец, подошли и грозные дни выпускных экзаменов! Как нарочно за несколько дней до их начала распространился слух, что на них будет присутствовать какой-то необычайно свирепый попечитель Учебного

округа и это для того, чтобы проверить, происходит ли в нашей частной гимназии преподавание согласно с последними предписаниями Министерства народного просвещения. Этот слух порядком нас напугал и деморализировал, однако после первого же испытания мы убедились, что особенных бед нам не грозит со стороны этого господина со звездой на груди, а вскоре нашлось и правдоподобное объяснение его снисходительности...

Дело в том, что среди нас уже года два или три как находился юноша не без основания считавшийся за полу-идиота. Каким чудом он дошел до последнего класса, оставалось невыясненным, но факт был на-лицо; он был среди нас, восьмиклассников, и ему всё прощалось; учителя его всячески «тащили». Даже гордый и независимый Мальхин и тот как-то по особенному относился к нему и никогда его не вызывал, не желая отягощать свою профессиональную совесть предписанным кем-то снисхождением. Такое ультра привиллегированное положение нашего товарища объяснялось тем, что Митя Куломзин был сыном одного из важнейших персонажей Империи Российской — управляющего делами Комитета Министров, и что этот сановный родитель, если и не мог питать иллюзий насчет достойной карьеры своего сына, всё-же желал доставить ему кое-какие права. Получив аттестат зрелости, Дмитрий Куломзин не поступил бы в университет, где уже на отличном счету состоял его брат, а был бы назначен куда-нибудь в провинцию, где он и прокоротал бы свой век как всякий другой не «особенно далекий», но одаренный связями русский гражданин.

У меня в юности была болезненная жалость ко всякого рода калекам и убогеньким; я и к Мите Куломзину относился с бóльшим участием, нежели остальные товарищи. Мне хотелось найти доступ до потемок его души и попробовать вывести его сознание из того полудремотного состояния, в котором он пребывал. Выучили же Митю читать и писать, умел же он, с грехом пополам, решать простейшие арифметические задачи, а также

«делать вид» что он *понимает* то, что на уроках геометрии и алгебры толкует учитель. Митя даже знал сотню две латинских и греческих слов и имел некоторое (правда очень смутное) представление о законах грамматики древних языков. Почему бы не попробовать продвинуть его и дальше? Дразнила мечта — а вдруг окажется, что под этой оболочкой кроется нечто и весьма ценное, скажем, вроде того — чем меня как раз тогда пленил князь Мышкин Достоевского? Митю, видимо, трогало мое внимание, и он перестал меня дичиться, а вскоре он и совсем освоился и стал проявлять черты навязчивости и докучливости. Так у него завелось обыкновение меня провожать из гимназии до самого дома и, мало того, он без особого с моей стороны приглашения следовал за мной и дальше в мой кабинет. Тут он располагался на диване, болтая отчаянную чепуху или предлагая мне самые нелепые вопросы. Во всём этом было нечто жуткое, но однажды он даже не на шутку напугал меня, так как вдруг вскочил, подошел к камину, схватил один из стоявших на нем бронзовых подсвечников и стал его, с каким-то странным выражением, вертеть в руках, медленно подвигаясь ко мне. Какой-то хитростью я отвлек его внимание в другую сторону и, взяв его под руку, «деликатно» вынул у него тяжелый предмет. После этого я уже стал определенно бегать от Мити Куломзина, а прислуге был дан строгий наказ его не принимать, если бы он явился невзначай...

Еще более курьезный случай запомнился мне в связи с Куломзиным. Жил он не в своей семье, а у какого-то частного лица, взявшегося за его воспитание, — вероятно, в надежде что удастся пробудить в юноше, пребывающий в дремотном состоянии мозг и тем самым заслужить признательность влиятельного отца. Этот воспитатель относился к Мите гуманно (тут действовал и контроль нашего доброго Карла Ивановича), но всё же Митя боялся его, как только может бояться дикий звереныш своего укротителя. Получив однажды уж очень плохую отметку, он побоялся вернуться домой, прослонялся весь остальной день по городу

и даже ночь провел (уже стояло весеннее тепло) на одной из скамеек, расставленных по Среднему Проспекту. Можно себе представить, какой получился переполох и в доме воспитателя, и в доме отца-сановника. И вот, к большому удивлению моего отца, часов около десяти утра, — к нему является сам управляющий делами Комитета министров в виц-мундире, украшенном звездой чуть ли не Андрея Первозванного. Откуда-то ему стало известно, что Митя бывает у меня. Вот он и пожаловал, чтобы лично выяснить вопрос. Получилась довольно комичная сцена. Долгое время папа просто не мог понять, что́ от него хочет этот важный и церемонный, совершенно ему незнакомый господин, со своей стороны не решавшийся просто высказать предположение, что его слабоумный сын скрывается у нас. Папа же никогда до того не слыхал имени этого моего товарища (мало ли юношей тогда бывало у меня; все они смешивались в папином представлении в одну массу). К счастью, во время этого разговора, начавшего принимать несколько неприятный тон, примчался курьер с новостью, что Митя нашелся и что он уже водворился обратно к своему воспитателю. Вот из-за этого жалкого мальчика и сам Май и весь педагогический состав были предуведомлены, что на сей раз не следует быть строгими, а, напротив, рекомендуется проявить особенную снисходительность. Страшный же ревизор-попечитель оказался на страже именно того, как бы экзаменаторы не упустили из виду этого предписания. Именно благодаря Мите Куломзину наши выпускные экзамены прошли с меньшей, нежели обыкновенно тревогой и никто не провалился. Мы же трое — я, Валечка и Дима — несомненно сдали бы экзамены и при более строгом отношении, но, вероятно, мы бы их сдали с меньшим блеском и натерпевшись бо́льших мук[1].

---

[1] Во время письменных испытаний Куломзин старался устроиться позади меня и то и дело раздавался шопот: «Бенуа, Бенуа! У меня ничего не выходит, скажи что надо делать». Я на бумажке писал ответ заданной задачи, бумажка падала на пол, он ее подбирал и в точности списывал то, что на ней стояло.

Вспоминаю еще: пока мы не подозревали, что среди нас находится лицо, служащее чем-то вроде громоотвода, мы готовились с величайшим усердием и моментами до полной одури. О том, как Иван Дмитриевич начинял наши головы логарифмами и биномами, я уже рассказал, но мы и над другими предметами проводили целые дни и часть ночей в зубрежке. Во избежание того, чтобы как нибудь во время этого не заснуть над учебником, мы собирались вдвоем, втроем, читали и заучивали читанное вслух или предлагали друг другу самые каверзные вопросы. И подумать, всё это с таким трудом приобретенное было тут же забыто, а через два месяца мы уже наверно провалились бы по тем самым предметам, которые сдали вполне удовлетворительно.

Окончание гимназии было отпраздновано у меня по всем традиционным правилам, т. е. полунощным пиром при великом поглощении всяких яств и особенно питий, начиная с обязательного пунша. Но я не скажу, чтобы эта оргия оставила бы во мне приятное воспоминание. Правда, мы всячески и в самых бурных тонах старались изобразить нашу радость, правда, мы с неистовством горланили, не будучи еще студентами[2] студенческое «Гвадеамус игитур», правда, мы обнимались и клялись в вечной нерушимой дружеской верности, но всё это носило характер чего-то нарочитого, какого-то представления, точно мы все сговорились сыграть какие-то роли из пьесы, к тому же очень глупые и вовсе нам не свойственные. Кончилось же пиршество для меня и для

Но не всегда эта процедура удавалась и на двух письменных экзаменах Куломзин подал лист с одним только списанным с черной доски заданием. А дальше — ничего. Сошло и это.

[2] Двое из нас уже были студентами: то были Скалон и Калин. Сережа Дягилев на пиру не был: он по какой-то причине держал государственный экзамен в следующем 1891 году и блестяще его выдержал, хотя почти не готовился к нему.

Димы плачевно. Мы оба почувствовали себя дурно; Дима тут же изверг всё выпитое и съеденное из окна парадной лестницы на наш двор, меня же Валечка, сам шатаясь, увлек почти в беспамятстве в мою красную комнату (пир происходил в бывшей «чертежной») и уложил охающего и стонущего на постель. От пьяного усердия он затем так дернул одну из оконных занавесок (на дворе уже настал день), что содрал самый деревянный карниз, на котором она держалась, и вся тяжелая масса с грохотом свалилась на пол, чуть было не задев его самого. На шум прибежала мамочка, вслед за ней папа и прислуги. Я же в ужасных муках метался по кровати и вопил о помощи. Появились ведра, чаши, компрессы, запахло уксусом, одеколоном и крепким кофе. И всё же, между двумя приступами рвоты, я хохотал до слез, глядя с каким неуклюжим старанием, тоже совсем пьяный Нувельчик исполняет то, что он считал своим дружеским долгом. Только тогда, когда я, уже совершенно выпотрошенный, заснул, мой верный друг поехал к себе домой, где, весьма вероятно, повторилась подобная же сцена — к великому ужасу величественной Матильды Андреевны.

Глава 20

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ

Мои добрые родители не удовольствовались тем, что дали мне возможность устроить сей пир, но они пожелали меня наградить за успешное окончание гимназии и более роскошным образом — снабдив меня средствами, дабы я смог осуществить свою мечту снова побывать заграницей. Это была, если и не очень заслуженная, то весьма приятная награда. Я получил возможность увидать в действительности многое из того, что до тех пор знал только по воспроизведениям в книгах и фотографиях. Меня манили грандиозные романские и готические соборы, таинственные замки, сказочные резиденции эпохи рококо, стриженные сады, полные романтической прелести старинные города. Но сначала надо было выработать план, куда именно ехать и в каком порядке знакомиться с разными диковинами. Тут я сразу остановился на том, что мне особенно полюбилось благодаря довольно основательному знакомству с немецкой литературой, и что я в особенном изобилии встречал в тех прекрасных изданиях, которыми обогатилась за последние два года моя личная библиотека. Наконец, покидая милую Майскую гимназию, насыщенную характерно германским духом и какой-то своеобразной уютностью, я захотел еще раз «с головой» окунуться в ту же атмосферу. При этом я, несмотря на советы родных и друзей, решил ограничиться Германией, включая сюда

и германскую Австрию. Напротив, я решительно отказался распространить свою поездку на Францию и на Италию. Правда, то были две родины моих дедов, однако они мне казались в тот момент почему-то более чуждыми и менее заманчивыми. Что же касается до Парижа, то он меня просто пугал. Я и его изучил заочно довольно основательно по всяким изданиям в папиной библиотеке, однако, разделяя в этом предрассудки моих соотечественников, я представлял себе столицу Франции не иначе, как неким пагубным и опасным инферно. Пугала и Италия в целом своими чрезмерными сокровищами. Я ведь не мог бы, побывав во Флоренции, отказаться от Рима и Неаполя, или, заехав в Милан, не отправиться в Падую, Мантую, в «родную Венецию». Но на подобные разъезды уже никак нехватило бы ассигнованной суммы. Наконец, и времени до начала занятий в университете (куда я и мои друзья сразу записались), оставалось не так уже много — всего каких-нибудь шесть недель...

Итак, отпраздновав 1-го июля папин день рождения (последний раз папа его проводил в обществе обожаемой им жены), я 2-го или 3-го отправился в путь. О, как при расставании встревожилась мамочка, сколько она и папа надавали мне советов, братья шутливо предостерегали, чтобы я не подпал под шарм хорошеньких немок, а Степанида заливалась горькими слезами и чуть ли не причитала как над покойником. Я же только блаженствовал. Уложив ручной багаж в сетку своего отделения, поставив рядом с собой объемистую корзину со всякой снедью, я удобно внедрился в бархатный диван, взял в руки накануне купленный Бэдекер, и, с видом опытного путешественника, стал изучать его планы и карты. В первую очередь надо было, прибыв в Берлин, сходить в Бюро путешествий и заказать круговой билет по выработанному маршруту. Этим маршрутом я и занялся, но сразу запутался, ибо слишком разыгралось любопытство — слишком многое захотелось увидать и повсюду побывать...

Окончательно установленная программа заключала

следующие города: Берлин, Лейпциг (где я навестил своего дорогого друга Володю Кинда, отбывавшего воинскую повинность), затем через Хёхст и Бамберг, я бы проехал в Нюренберг, откуда через Вюрцбург и Франкфурт в Майнц; там я бы снова сел на пароход и совершил классическую поездку по Рейну до Кельна; потом снова Майнц, и далее Гейдельберг, Штуттгарт, Ульм, Мюнхен, Обераммергау (как раз в том году шли знаменитые «Страсти Господни»), Зальцбург, Вена и, через Прагу, Дрезден, — снова Берлин. В специальную задачу входило увидать на этом пути елико возможно больше картин любимых художников с Беклиным во главе, услыхать несколько опер Вагнера (и вообще побывать в разных прославленных театрах), наконец, посетить особенно меня интересовавшие места — отчасти потому, что в них живали и творили любимые писатели: Гёте, Шиллер, Гофман, Грильпарцер, отчасти потому, что в них разыгрывались сцены особенно меня пленивших романов и пьес. Почти вся эта программа и была выполнена, лишь от некоторых намеченных городов пришлось отказаться и очень сократить пребывание в других. Тут действовали и соображения времени и ограниченность средств (уже в Мюнхене пришлось просить о подкреплении), к тому же, посетив неимоверное количество музеев, церквей, руин, живописных уголков, я довел себя до полного изнеможения и почувствовал настоящее пресыщение. Особенно досадно было, что я из-за спешки пробыл всего шесть часов в Бамберге, всего четыре — в Вюрцбурге, столько же в Ульме, совсем не заглянул в замок Лихтенштейна (маниваший меня благодаря роману Гауфа) и не решился проехать в Обераммергау. Последний пропуск не помешал мне, по возвращении в Петербург, с величайшими подробностями и даже с энтузиазмом рассказывать «в качестве очевидца», про знаменитые религиозные действа, повторяющиеся каждое десятилетие при участии жителей этой горной деревни. Моими рассказами я особенно возбудил зависть Валечки Нувеля. И надо признать, что я до того основательно успел подготовиться к этой мистификации, про-

читав несколько брошюр и одну книжку, что я и сам поверил будто я там побывал, ночевал и даже промок, сидя в театре под открытым небом.

В таких хвастливых привираниях, от которых я в те времена еще не отделался, было много глупого ребячества; впрочем, на самом деле, несмотря на свой очень возмужалый вид, на снова подросшую бороду и на то, что я мнил себя серьезным знатоком искусства, — я был во многих отношениях настоящим мальчишкой. Разве не мальчишеством было например то, что, попав в Гейдельберг, я обзавелся двумя студенческими фуражками, из которых одна попроще была для каждого дня, а другая парадная, расшитая золотом и с буквой «V» (корпорации «Вандалия», в которую записывались русские). Я даже рискнул, напялив ее, пройтись по всему знаменитому университетскому городу, примкнув к какой-то очередной манифестации; в ней же я щеголял несколько раз в Петербурге и на Петергофской музыке. Мальчишеством было и то, что я считал своим долгом влезать (по рекомендации Бэдекера), на все башни, колокольни и возвышенности, чтобы оттуда любоваться прекрасными далями. Не пропускал я также ни одного паноптикума и ни одной панорамы. Совершенным ребячеством, наконец, было то, что в самом начале своего странствования, в Берлине, я накупил на 140 марок фотографий (среди них одну большого формата «Елисейских полей» Беклина и его же «В игре волн»), истратив таким образом сразу одну десятую моего бюджета.

Коснусь попутно моих художественных предпочтений и увлечений того времени. Многое в этом может показаться смешным и от многого я с тех пор отказался, однако, я не сказал бы, что всё мое тогдашнее восприятие искусства представляется мне сейчас ложным и таким, за что приходилось бы краснеть. Напротив, именно тогда стал складываться и крепнуть во мне тот фундамент на котором затем построилось, в течение моей долгой жизни, всё здание моего художественного «Символа веры». В основе его лежало требование абсолютной искренности; ничего просто на веру не принималось, всё

проверялось посредством какого-то «инстинкта подлинности». В то же время во мне с особой силой сказывалось отвращение ко всяким проявлениям стадности и велениям моды — к тому, что позже получило кличку снобизма. Всё, в чем резко означалось какое-либо направление, как таковое, было мне тоже чуждо и противно. Если же художественное произведение, будь то живопись, скульптура, архитектура, музыка или литература содержало в себе подлинную непосредственную прелесть поэзии или то, что принято называть «душой художника», то это притягивало меня к себе, к какому бы направлению оно ни принадлежало. Требовалась еще и наличность мастерства. Всякий дилетантизм был мне особенно ненавистен. Отчасти оттого, что я в собственном творчестве, не без основания, усматривал значительную долю любительства, я был невысокого мнения о нем. Своими взглядами я постепенно заразил своих товарищей. В моей сравнительной зрелости и уверенности находилась и причина моего воздействия на них; я оказался в отношении их в роли какого-то ментора и вождя. Впоследствии и орган нашей группы «Мир искусства» получил определенное отражение именно моего «кредо» — иначе говоря, самого широкого, но отнюдь не холодного, рассудочного (и еще меньше — модного) эклектизма. Иногда такое всеприятие приводило меня к ошибкам, к увлечению чем-либо недостойным, или к отвержению явлений неизмеримо более значительных, нежели то, чем в данный момент я увлекался. Но иначе не могло быть в двадцатилетнем юноше и, как никак, «провинциале». Ведь художественный Петербург того времени представлял собой нечто во многом весьма отсталое. Прибавлю тут же, что некоторые из этих ошибок были и благотворны. Через всякие такие «отклонения» и блуждания лежал путь к «свету» — и этот свет казался тем ярче, чем темнее были иные из этих, ведших к нему закоулков...

Если теперь попробовать установить какой-то перечень моих увлечений в начале 1890-х годов и, в частности, в эпоху моего первого самостоятельного путеше-

ствия по Европе, то нужно подчеркнуть среди современников иностранцев имена Беклина, Менцеля, Ленбаха, Кнауса. Среди художников более отдаленных во времени, я особенно выделял немецких романтиков, — Швинда, Людвига Рихтера, Ретеля, отчасти Шнорра и Шинкеля. Кроме того, на меня большое впечатление произвели в Берлинской Национальной галлерее и картины поздних романтиков Генненберга и Гертериха. Великой моей симпатией пользовались также английские «прерафаэлисты» (менее всего — Д. Г. Розетти, более всего — Дж. Э. Миллэ и Г. Гонт), а также Тёрнер и вся его школа. Среди французов я продолжаю нежно любить классиков начала XIX века: Давида, Жиродэ, Прюдона, Жерара, Энгра; из позднейших мастеров я продолжал питать особенный интерес к историческим картинам Поля Делароша и ему подобных, и меня всё еще коробил (моя большая вина) Делакруа; в чрезвычайной степени меня пленили всякие «рисовальщики»: Густав Дорэ, Домиэ, Гранвиль, А. Деверия и такие колористы и виртуозы, как Декан, Е. Изабэ, Лепуатвен и Лами. Любовался я (разумеется в фотографиях) и теми мастерами, которые в 1880 и 1890 годах, перед лицом всего мира, представляли «славную французскую школу». То были Анри Рено, Ж. П. Лоранс, Бонна, Мейсонье, Жером, а также целые плеяды звезд второй и третьей величины. Пределом смелости в эти годы считалось признавать за нечто значительное искусство Альбэра Бэнара. Если же покажется странным, что я здесь не упомянул ни Манэ, ни Монэ, ни Дега, ни Ренуара, то ведь, о них я в те годы просто не имел (и не я один) ни малейшего представления. Об этих «импрессионистах» заговорили только после появления романа Золя — «Труд», но и этот роман познакомил только с теориями и с принципами новой французской школы, самые же произведения их, даже в репродукциях, знал лишь самый тесный круг в Париже. Потребовался «мировой» успех книги Мутера «История живописи в XIX веке», вышедшей (по-немецки) в 1893 году, чтобы названные художники получили бы более широкую известность...

Особенную пользу мне принесло во время путешествия в 1890 г. посещение двух картинных галлерей Берлинского Старого Музея и Мюнхенской Старой пинакотеки. И не только самый осмотр их, но и то, что при изучении их я пользовался теми толковыми путеводителями, которые за год или за два до того были изданы Георгом Гиртом. Я познакомился с этими книжками еще в Петербурге, я их уже там основательно изучил и почти всё сказанное в них запомнил, и теперь, при обзоре самих коллекций, меня как бы сопровождал какой-то удивительно тонкий и толковый комментатор, точнее такой же любитель прекрасного, каким был я, но несравненно более сведующий. В некоторых своих частях эти «чичероне» ныне устарели (немецкая художественная наука сделала с тех пор столько открытий, столько исправила ошибок), однако для тех времен, о которых я рассказываю, это было, что называется, последним словом, к тому же изложенным без всякого педантизма, необычайно просто и убедительно. Я благодарил судьбу, что они достались мне в руки так необычайно кстати. На примерах, что содержат оба эти прекрасных музея, я и вступил в своем изучении старой живописи на путь, с которого я уже затем не сходил. Тогда обозначились мои главные симпатии, мои главные мерила.

Изучая эти две книжки, а также монументальный увраж, «Kulturgeschichtliches Bilderbuch», который я приобрел в конце 1888 года, я заочно преисполнился своего рода пиететом к их издателю — мюнхенцу Георгу Гирту. Вот почему, попав в Мюнхен, я счел своим долгом отправиться к нему на поклон. Это посещение представляло для меня великий соблазн и потому, что я знал по репродукциям, что дом Гирта представляет собой настоящий музей прикладного художества. Гирт принял меня, совершенно незнакомого юношу, с удивившим меня вниманием и сразу стал развивать мне свою теорию художественного воспитания, находившуюся в полном противоречии с академической. Он как раз тогда готовил книгу, в которой, как на образец до-

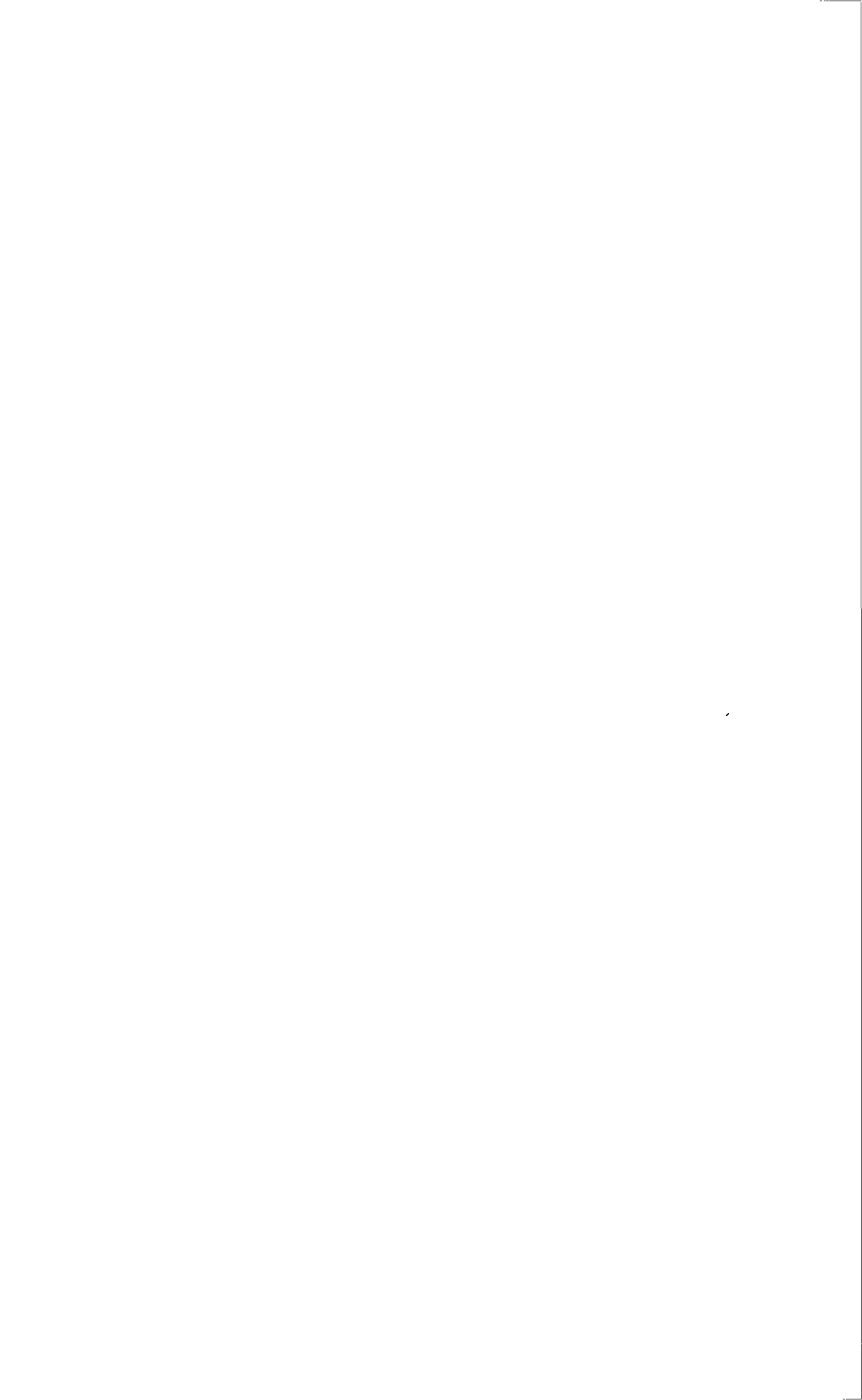
стойный подражания, указывал на гравюры и рисунки японцев. Вслед затем он провел меня по всем комнатам своего трехэтажного особняка, построенного у самых «Пропилей», под личным его, Гирта руководством. Несметные коллекции были сгруппированы в прелестных декоративных подборах и не мало среди них было вещей, которым могли бы позавидовать и первоклассные музеи. В то же время многие редкостные вещи продолжали служить своему назначению. Особенно мне запомнились комнаты, посвященные немецкому барокко и рококо. Всё это Гирт, несколько угрюмый с виду уже немолодой господин с черными усами, показывал, сопровождая демонстрации пространными и интереснейшими пояснениями, давая мне в руки самые вещи (особенно фарфоровые статуэтки и итальянские бронзы), обращая внимание на их глазурь, раскраску, патину, а также на грацию и жизненность их поз и жестов. Визит мой затянулся часа на три, и я покинул Гирта в состоянии какого-то восторженного опьянения... Я уже говорил выше, что во мне жила доставшаяся мне по наследству от деда Кавоса склонность к собирательству, но после посещения Гирта меня стала преследовать мечта о том, чтобы современем обзавестись самому таким «домашним музеем» и жить в нем. Лично мне так и не удалось осуществить вполне эту мечту; того не позволяли ни мои средства, ни моя непоседливая жизнь, ни, в особенности, внешние обстоятельства «мирового значения». Однако, скольких я заразил ею, сколько у меня одно время было богатых друзей, которые старались устроиться по-Гиртовски, не имея никакого понятия о самом Гирте. Впрочем, как раз — сам Гирт через несколько лет разочаровался в собирательстве и пустил всё содержимое своего дома с молотка. Каталог его знаменитой распродажи занимает несколько томов.

Из других особенно сильных впечатлений, полученных во время моего путешествия, отмечу еще те, которые я испытал в Германском музее в Нюрнберге. Музей был только что тогда отстроен; в основе его лежал средневековый монастырь и коллекции были располо-

жены частью по капитулярным залам, по галлереям и переходам, частью по заново построенным помещениям. Последние казались, рядом с подлинно старинными, несколько новенькими и чистенькими, зато некоторые дворики (в последующие времена перестроенные или запущенные) поразили меня своей поэтической затейливостью. И в этом богатейшем музее (а также в Гейдельберге) я снова разорился на фотографии: накупая их, я заранее радовался тому, как я буду показывать их в Петербурге, как буду просвещать с их помощью друзей, какое одобрение я встречу со стороны дяди Миши Кавоса. Вернувшись во-свояси, я поспешил наклеить эти сокровища по специально заказанным альбомам большого формата и на этих фотографиях затем действительно учились и Костя Сомов, и Валечка Нувель, и Бакст, и оба Лансере, и Дима Философов, и Сережа Дягилев. К сожалению, громоздкость этих альбомов не позволила мне взять их с собой в эмиграцию, и что с ними сделалось, кому они, «бесхозные», достались, я не ведаю так же, как я не знаю, что вообще сталось со всеми моими коллекциями, картинами, книгами, брошенными на произвол судьбы. Продолжают ли эти сокровища служить своему благородному назначению или всё пошло прахом?

КОНЕЦ ВТОРОГО ТОМА


ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА



Александр Николаевич Бенуа, художник, историк искусства, художественный и театральный критик, два тома своей автобиографии посвящает повести о своем детстве и юности, протекавших на фоне того старого Петербурга и его знаменитых окрестностей, которые позже, в зрелый период его жизни, стали источниками его творческого вдохновения и обеспечили ему одно из первых мест среди представителей русского дореволюционного искусства.

Сын известного архитектора, Николая Леонтьевича Бенуа, А. Н., еще будучи в гимназии, начал посещать классы Академии художеств. Впервые он выставил свои композиции «Пастораль» и «Монастырь» на акварельной выставке 1893 года. Эти композиции написаны были под впечатлением поездки по Германии и Австрии в 1890 году. Своей свежестью и новизной восприятия обе вещи были сразу замечены среди экспонатов выставки. Уже в этих обеих композициях наметился будущий путь художника. Окончательно этот путь определился в серии картин и этюдов, выставленных Бенуа в 1897 году. Эти работы явились результатом второго путешествия художника заграницу, осуществленного в 1894 году, и после посещения им Парижа и Версаля в 1896 году. Из выставленных работ три картины — «Огород», «Кладбище» и «Замок» — были тогда же приобретены П. М. Третьяковым для его

галереи. Но лучшие картины Третьяков не успел тогда приобрести и они долго находились в частных коллекциях. Среди этих лучших работ были картины из цикла «Прогулки Людовика XIV в Версальском парке».

Знакомство с жизнью Запада заставило Бенуа особенно остро почувствовать недостаточность художественной культуры России. Чувство это возникло в Бенуа еще в ранней юности, задолго до непосредственного знакомства с художественной жизнью Западной Европы. Но об этом Бенуа сам рассказывает в своей автобиографии.

Интимное знание жизни Запада, возникшее благодаря стечению многих счастливых обстоятельств, еще в раннем детстве и позже закрепленное непосредственными наблюдениями во время путешествий по Италии, Франции, Швейцарии и т. д., подсказали молодому Бенуа идею организовать кружок друзей, которые так же, как и он, прислушивались к новым течениям в искусстве, намечавшимся на Западе. Этот кружок Бенуа явился провозвестником новой «западной струи» в русском искусстве. К кружку примкнули наиболее даровитые силы, известные по передвижным выставкам, как Серов, Левитан, Нестеров, Врубель. Близок кружку стал и Репин. Кружок решил организовать собственные выставки. Для популяризации идей кружка понадобился и собственный журнал. В 1898 году Дягилев выпустил первый номер нового журнала «Мир искусства». Журнал издавался до 1904 года. Его название было присвоено и самому объединению петербургских художников, возглавленному Бенуа и Дягилевым. Основное ядро «Мира искусства» составили помимо этих двух художников — К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансере, М. Добужинский. За ними шли такие видные художники Москвы и Петербурга, как В. Серов, Н. Рерих. В сфере их влияния оказались также Билибин, Нарбут, Кустодиев. Среди писателей, сотрудников журнала бы-

ли Брюсов, Белый, Мережковский, Минский, Розанов, Философов и др.

Деятельное участие в этом новом журнале принял А. Н. Бенуа. Наряду с пропагандой нового искусства, А. Н. много места уделял пропаганде подлинного старого искусства, писал о красоте «старого Петербурга», о забытых русских художниках, о сокровищах западного искусства, собранных в России. Отсюда было уже близко до возникновения журнала «Сокровища России», задуманного и осуществленного Бенуа в 1901 году. Сам Бенуа, однако, вовсе не ограничивался пропагандой «старины» и даже поддержал «живописный бунт» против старины, возникший среди молодых художников Москвы.

Из знаменитых вещей, созданных Бенуа, нужно упомянуть серию иллюстраций к «Медному всаднику» (1903 г.), справедливо считающейся самым замечательным, что создано в области художественной графики.

Одновременно с этими произведениями Бенуа начал работать и для театра. Его первые работы в этой области были декорации к балету «Сильвия» для Мариинского театра (1901 г.). Позже он перешел к постановке и собственного балета «Павильон Армиды» (1907 г.) и постепенно превратился в режиссера. Памятны Мольеровские и Пушкинские спектакли Московского Художественного театра в 1912 и 1914 годах. Из наиболее прославивших Бенуа постановок нужно отметить «Петрушку» (1911 г.) и «Соловья» (1914 г.) Стравинского для Дягилевских спектаклей в Париже и его «Пиковую даму» для Мариинского театра (1921 г.).

Большая декоративная работа была выполнена Бенуа для Московского Казанского вокзала — эскизы «Азия» и «Европа» (1916 г.).

Одновременно Бенуа успевает работать в области

научных исследований. Из этих работ следует упомянуть «Царское село» (1910 г.) и «История живописи всех времен и народов» (1912-1917 г.). Вскоре после революции 1917 г. Бенуа был поставлен во главе картинной галереи «Эрмитаж».

В 1924 г. Бенуа эмигрировал во Францию. Здесь он продолжал свою художественную и театральную деятельность. Он много писал для оперы Монте Карло и для оперы кн. Церетелли и этой своей деятельности не прерывал до последнего времени. Из его работ художника-иллюстратора хочется назвать «Пушкинского гусара» («Временник», 1938 г.) и иллюстрации к книге Ал. Попова «Григорий Орлов» (1946). В Париже написаны и воспоминания «Жизнь художника». В 1955 году А. Н. Бенуа отпраздновал в Париже день своего 85-летия.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

ИЗДАТЕЛЬСТВО РЕКОМЕНДУЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ЕЩЕ РЯД ИНТЕРЕСНЫХ И ЦЕННЫХ МЕМУАРОВ

Цена
в долл.

МАРК ВИШНЯК — Дань прошлому. 409 стр. .. 3.00

Воспоминания Марка Вишняка охватывают период от конца девятнадцатого века до разгона Учредительного Собрания. Большая часть воспоминаний связана с общественной, политической и научной жизнью Москвы. Еще в университетские годы Вишняк примкнул к партии социалистов-революционеров; после Февральской революции он был избран во Всероссийскую комиссию по выборам в Учредительное Собрание. Убежденный противник большевиков, Вишняк после 1919 года эмигрировал заграницу.

Великий Князь ГАВРИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ — В Мраморном дворце. 412 стр. 3.00

Автор воспоминаний — сын великого князя Константина Константиновича, поэта, известного под псевдонимом «К. Р.». Книга «В мраморном дворце» посвящена описанию жизни придворных и высших военных кругов в России в конце 19-го и в начале 20-го века. В заключительной части воспоминаний автор рисует жуткую картину расправы большевиков с представителями русской аристократии и императорской семьи, и дает незабываемый портрет Урицкого и окружавших его чекистов.

А. И. ДЕНИКИН — Путь русского офицера. 382 стр. 2.75

В этой книге генерал Деникин рассказывает о годах своей жизни, предшествовавших гражданской войне. Сын крепостного крестьянина, А. И. Деникин, знакомит читателя с той суровой школой жизни, которую ему пришлось пройти: безотрадное детство, школа, военное училище, военная академия, гарнизонная служба, японская война, революция девятьсот пятого года, Первая мировая война. Написанные с той простотой, искренностью и прямотой, которые всегда отличали вождя Белого Движения, эти воспоминания свидетельствуют о большом литературном даровании их автора.

Цена
в долл

Ю. ЕЛАГИН — Укрощение искусств. 434 стр. 3.00

Книга эта, вышедшая также по-английски, удостоилась очень лестных отзывов в американской печати. Написанная в форме воспоминаний молодого советского музыканта, она дает яркое представление об условиях жизни музыкантов, работников сцены и писателей, лишенных в СССР основного условия для творчества — свободы.

В. ЗЕНЗИНОВ — Пережитое. 414 стр. 3.00

Воспоминания Зензинова, скончавшегося 20 октября 1953 г. в Нью-Йорке, охватывают период нарастания широкого народного революционного движения, начавшегося в России в конце 19 века и закончившегося разгромом революции девятьсот пятого года. Начав еще в гимназические годы с мечтаний о равенстве и свободе, Зензинов прошел весь путь революционера, став в конце концов участником Боевой Организации и членом Центрального Комитета партии социалистов-революционеров. Воспоминания написаны с заражающей искренностью; книга проникнута глубокой верой в справедливость и страстным протестом против всякого притеснения и подавления человеческой личности.

ЗИЛОТИ — В доме Третьякова. 347 стр. 2.75

Мемуары дочери П. М. Третьякова, создателя знаменитой Третьяковской галереи, переносят читателя в Москву конца прошлого века. На глазах Веры Павловны создавалась и росла Третьяковская галерея. Автор делится своими воспоминаниями о русских художниках — Репине, Васнецове, Сурикове, Перове, писателях — Толстом, Тургеневе, и музыкантах — Чайковском, Скрябине, Рубинштейне, молодом Рахманинове. Книга Зилоти будет интересна для каждого русского читателя, а для людей, любящих Москву — особенно. Предисловие к этим воспоминаниям написано профессором М. М. Карповичем.

Цена
в долл.

В. А. МАКЛАКОВ — Из воспоминаний. 410 стр. .. 3.00

«Громадность происшедших в России перемен превратила «недавнее прошлое» в «историю». Это нам помогает беспристрастнее отнестись к нашим прежним оценкам». Эти слова из предисловия автора определяют основное значение книги. На фоне личных воспоминаний В. А. Маклаков дает оценку исторического пути, пройденного Россией после эпохи Великих Реформ и завершившегося революцией семнадцатого года. Блестящий адвокат и видный общественный деятель В. А. Маклаков был свидетелем, а часто и активным участником событий, описанных им в его воспоминаниях. Большой интерес представляет анализ современного конфликта между демократией и тоталитаризмом.

М. М. НОВИКОВ — От Москвы до Нью-Йорка. 405 стр. 3.00

Автор книги — последний свободно избранный ректор Московского Университета, известный русский ученый. Всю свою долгую жизнь проф. М. М. Новиков посвятил науке, служению России и борьбе за ее свободу. Труд проф. Новикова — повествование вдумчивого наблюдателя и участника событий, предшествовавших захвату власти большевиками. Эта книга — свидетельство борьбы русских ученых против порабощения науки тоталитарным режимом.

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ — Отец (жизнь Льва Толстого). Том I — 416 стр. 2.75

Том II — 416 стр. 2.75

В двух томах воспоминаний о своем отце младшая дочь Льва Толстого, Александра, дает подробную биографию великого русского писателя. В своей книге Александра Толстая рассказывает о личной жизни Толстого, о его семейной драме, его исканиях правды и справедливости. «Отец» вводит читателя в «творческую лабораторию» Толстого. На многих конкретных примерах А. Толстая

Цена
в долл.

показывает, как Лев Толстой перековывал свои наблюдения, переживания и впечатления в художественные образы необычайной убедительности. «Отец», без сомнения, одна из самых авторитетных и полных биографий великого русского романиста и мыслителя.

Кн. О. Н. ТРУБЕЦКАЯ — Князь С. Н. Трубецкой. Воспоминания сестры. 269 стр. 2.25

Князь С. Н. Трубецкой был одним из самых блестящих представителей русской философской науки в конце прошлого и начале нынешнего столетия. Либеральный общественный деятель и христианский мыслитель, князь Трубецкой верил в возможность мирного разрешения политических проблем царской России. Судьба сделала его свидетелем и участником крупных событий в истории политической и общественной жизни его родины. В воспоминаниях его сестры кн. О. Н. Трубецкой личность князя С. Н. Трубецкого и события, к которым он был причастен, нашли живое, яркое и убедительное отражение.

А. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС — На путях к свободе. 429 стр. 3.00

А. В. Тыркова-Вильямс выросла в скромном дворянском гнезде Новгородской губернии. Душой многочисленной и дружной семьи была мать, духовный облик которой сложился под влиянием идеалов шестидесятников. А. В. Тыркова-Вильямс продолжала путь матери: она рано примкнула к освободительному движению 90-х годов. Мемуары Тырковой пронизаны широкой терпимостью к людям и непоколебимой верой в право народа бороться за свое счастье и свободу.

В. М. ЧЕРНОВ — Перед бурей. 412 стр. 3.00

Воспоминания одного из основателей и долголетнего лидера партии социалистов-революционеров, В. М. Чернова, охватывают период от конца прошлого века до

отъезда автора из России в двадцатом году. Воспоминания, собранные в книгу уже после смерти Чернова, рисуют драматическую картину нарастания революционного движения в России, его победу в феврале семнадцатого года, и разгром демократической революции большевиками под руководством Ленина.

ВИНСТОН ЧЕРЧИЛЬ — От войны до войны (1919 — 1939). Вторая мировая война: Книга I. Перевод с английского. 418 стр. 2.75

Первая книга воспоминаний Черчилля, посвященных Второй мировой войне, охватывает период между Первой и Второй мировой войной: от Версальского мира до вторжения Гитлера в Польшу. Выделяя существенное из массы событий и деталей, Черчилль показывает как безрассудство победителей и растущее озлобление побежденных привели человечество к новой трагедии. В мировой литертуре нет более полного, яркого и авторитетного изображения событий недавнего прошлого, имеющего огромное влияние и на теперешние судьбы мира.

Сумерки войны. Вторая мировая война: Книга II. Перевод с английского. 312 стр. 2.75

Это вторая книга первого тома мемуаров Черчилля о Второй мировой войне. «Сумерки войны» охватывают период между падением Польши и вторжением немцев в Голландию. С суровой сдержанностью описывает Черчилль драматические месяцы, пережитые Великобританией с предельным нервным напряжением. Он не скрывает заблуждений французских и британских государственных деятелей, ошибочные суждения которых привели Западные демократии чуть ли не на край гибели.

Падение Франции. Вторая мировая война: Книга III. Перевод с английского. 350 стр. 2.75

Третья книга воспоминаний Винстона Черчилля охватывает наиболее драматический период в истории Вто-

Цена
в долл.

рой мировой войны: разгром Франции и апогей могущества нацистской Германии. С присущим ему мастерством и простотой, Черчилль описывает нарастание военной драмы, эвакуацию английского экспедиционного корпуса в Дюнкерке, капитуляцию Франции и грозные месяцы, когда неподготовленная к войне Англия боролась одна против противника, имевшего подавляющее военное превосходство.

О. ГЕОРГИЙ ШАВЕЛЬСКИЙ — Воспоминания последнего протопресвитера Русской Армии и Флота. Том I — 415 стр. 3.00

Том II — 413 стр. 3.00

Два тома Воспоминаний протопресвитера Георгия Шавельского охватывают период времени с 1910-го года до разгрома Добровольческой Армии. Наибольшее внимание автор уделяет годам Первой мировой войны. Занимая должность протопресвитера военного и морского ведомства, автор мог следить за настроениями армии и флота во всех концах огромной Российской империи; в то же время близость к правящим кругам и к царской семье давала ему возможность видеть, какую пагубную роль для России играли некоторые из советников государя. Читатель видит Россию в самую драматическую эпоху ее истории.

Printed in U. S. A.
by RAUSEN BROS.
142 E. 32nd Street
New York 16, N. Y.
85